



ЮНОСТЬ

2

1970

1870 - 1924



Плакат художника А. Страхова. 1937 г.

ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР



2

(177)

ФЕВРАЛЬ

1970

Журнал основан в 1955 году

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА

• В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ •

● К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

- Юстинас МАРЦИНКЯВИЧЮС. Сегодняшний Ленин. Цикл стихов. Перевод с литовского Семена Ботвинника 2
- Назначение. Рассказ в документах. Составил Егор Яковлев 60
- Эдуард ВЕПРИКОВ. Ленин в советском плакате. (К нашей вкладке) 64
- А. ШПАЕР. Первая командировка 80

● ПРОЗА

- Алексей ЧУПРОВ. На перепутьях зимы. Повесть 4
- Геннадий КАЛИНОВСКИЙ. Закон стального ключа. Повесть. (Окончание) 31

● ПОЭЗИЯ

- Владислав БЕЛКИН. Полдень. «Вначале было Дело...». «Глина. Камни. Лопата. Лом...». «Ручей до дна...» 28
- Алексей ШЛЫГИН. Весна на границе. Мои товарищи 29
- Николай ДОБРОНРАВОВ. «Он под Минском в лесах партизанил...». «К чему нам богатства и моды!..» 29
- Мансур ВЕКИЛОВ. Азиз дияр. Мугам. Осенний полет 30
- Константин ВАНШЕНКИН. Умирают друзья. Осенний рейс. «На рассвете его расстреляли...». «Легко под самым берегом стою...». Ослепление. «Чтобы на гребень выносило...». «Сосны рушатся в клубах пыли...» 83
- Александр БАЛИН. Детский рисунок 84

- Татьяна КУЗОВЛЕВА. «Билет на поезд я держу в руке...». «Тоскую по трепетной пластинке...». «На грани сумрака и света...» 85

● ПУБЛИЦИСТИКА

- С. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ. Еще о «Молодой гвардии» 65
- ...Высокий романтизм большевистских традиций (Переписка В. В. Ерилова и А. А. Фадеева) 76
- П. ЛЮБОМИРОВ. Дороги фронтовые... 86
- М. МИХАЙЛОВ. Человеку — человеческое 92

● ДЕБЮТЫ

- Екатерина ГРАДОВА: «прийти в роль из сегодняшней своей жизни» 96

● ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

- * Г. ХАЧКОВАНЯН. На Капри — там, где жил Ильич. * А. ФЕДОРОВ. Мост через Березину. * Б. ХОЛОПОВ. Бабочка Дарвина прилетела в Ухту 98

● СПОРТ

- Василий ЧИЧКОВ. Как добывают золото... 102

● «ЗЕЛЕНый ПОРТФЕЛЬ»

- Андрей КУЧАЕВ. Борька Гуняев и друзья (Из дневника сына своих родителей) 109

На 1-й и 4-й страницах обложки рисунок Л. КАРТАШЕВА.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Первый заместитель главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: А. Г. АЛЕКСИН, В. И. АМЛИНСКИЙ,
В. И. ВОРОНОВ (зам. главного редактора), В. Н. ГОРЯЕВ, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь),
К. Ш. КУЛИЕВ, Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА.

Художественный редактор Ю. А. Цишевский. Технический редактор Л. К. Зябкина.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52. Тел. 291-62-47. Рукописи не возвращаются.

Сдано в набор 4/XII 1969 г. А 01006. Подп. к печати 23/I—1970 г. Формат бумаги 84×108¹/₁₆.
Объем 12,18 усл. печ. л., 17,62 учетно-изд. л. Тираж 1 535 000 экз. Изд. № 247. Заказ № 3341

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, А-47, ул. «Правды», 24.



**Юстинас
Марцинкявичюс**

СЕГОДНЯШНИЙ ЛЕНИН

1. Ленин работает

Сравненья наши — словно пьедесталы,
чтоб вознести, воспеть велеречиво.
А он в пальто распахнутом, усталый,
из зала в ночь идет неторопливо.

Закрылась дверь. И вовсе не в былое —
в грядущее шаги его уходят.
Он в мыслях весь. И, как всегда, смешною
он страсть иных к парадности находит.

Кто надвое переломил эпоху
и создавал, неистов, как Бетховен,
тот выправляет сделанное плохо
и с будущим вставать умеет вровень.

И некогда стоять на пьедестале,
не время отдыхать на книжной полке —
он должен спорить: яростнее стали
дебаты о рутине и о долге.

Он разбивал и ныне разбивает
вас, слуги лжи, буржуазии слуги.
Попытки извратить его бывают,
но это только жалкие потуги.

Велит поправить, если ошибется.
Он весь в работе, дышит полной грудью.
Он с нами строит, думает. Он бьется.
И ныне прав — не буквою, а сутью.

2. Ленин говорит

Сжал он мысль, как сжал в ладони шапку, —
кажется, сейчас с трибуны бросит.
Сердцу в этот век сомнений забко —
и оно такой вот правды просит.



Ленину в себе, в одежде тесно,
с шара говорить ему земного:
взвешено, нацелено чудесно
в наши души брошенное слово.

А в груди, как лава, неослабно
страсть клокочет — строя, сокрушая.
И сейчас огромно и масштабно
мыслит голова его большая!

Все в нем ныне стало говорящим:
обувь и глаза, лицо и кепка.
Смело управляет настоящим,
руки держат будущее крепко.

Мысль свою он подкрепляет жестом,
с обликом своим ее сливая.
Путь, что был нам прежде неизвестен,
Освещает речь его живая.

Словно шапку, новый тезис речи
сжали руки, ум его и слово.
Объясняет век противоречий.
Это мы — трибуна Ильичева.

3. Размышления у памятника

За всю-то жизнь не разберут иные,
куда влекла их времени река.
А он — смотрите — впереди и ныне,
в грядущее протянута рука.

И, может быть, уже привычной стала
рука вождя, простертая вперед.
Но ведь такую тяжесть поднимала!
По ней твой ток, столетие, идет.

Нам путь она бесстрашно открывала,
и слышал

голос Ленина
народ:
— Я — только старт.
Я — новых дней начало,
а вам веками двигаться вперед!

Он видит все, что лживо и двулично,
он фальшь полней вовек не прикрывал.
Готов он отмахнуться энергично
от всяческих пройдох и прилипал.

Поэтому и в памятнике даже
не догма он. Он жив, пока народ
его заветы, его бесстрашие,
огонь его души
несет вперед.



4. Аппассионата

Звуки кипят, клокочут,
как под мостами реки...
В строй становясь, рокочут,
падают вниз — навеки.

Каждый могуч тут — всеми,
все тут — одним могучи.
Кровью из вены время —
неумолимей, круче.

Гимн ли победный это,
гроб ли в открытой яме?
Зов ли к добру и свету,
истины нашей знамя!

Смысл обретают вещи,
сердце слова находит,
звуки взлетают резче,
падают вновь, уходят.

Свет замирает бледный,
вскрыта земли утроба...
Вот и аккорд последний —
комья о крышку гроба.

5. Сегодня, в день рождения Ленина

Сегодня,
в ленинский день рождения,
буду о нем я думать:

читая утреннюю газету,
буду о нем я думать;

хлеба ломоть отрезая утром,
буду о нем я думать;

дочку свою провожая в школу,
буду о нем я думать;

и, на работу идя неспешно,
буду о нем я думать.

Видя,
как новое строят зданье,
буду о нем я думать;

как самолет реактивный мчится,
буду о нем я думать;

как новоселы переезжают,
и на машине
женщина держит фикус рукою —
колышет ветер
листья большие, словно знамена, —
буду о нем я думать;

глядя, как в двери универмага
входят люди
и как выходят,
буду о нем я думать.

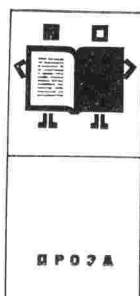
Слыша
простое «Доброе утро!»,
«Как хороша сегодня погода!»,
буду о нем я думать.

Слыша:
звучит «Аппассионата», —
буду о нем я думать.

Ночью, склонясь над страницей белой,
буду о нем я думать;

в завтрашний день раскрывая окна,
буду о нем я думать.

Перевел Семен БОТВИННИК.



Алексей Чупров



НА ПЕРЕПУТЬЯХ ЗИМЫ

ПОВЕСТЬ

Рисунки Р. Вольского

I

1 Положение становилось глупым: уже, верно, час пробирались они по оврагу, а конца не было видно. Сергей слышал за спиной ругательства и вздохи своего товарища и злился. Кажется, все было правильно. Он прекрасно помнил карту и тот путь, который указал ему командир роты: миновав два оврага, зайти в третий, самый глубокий, пройти по дну его на юго-запад, примерно с километр, до просеки линии электропередачи, затем подняться наверх и по просеке выйти к деревне, где и ждать роту к рассвету.

2 Учения шли уже третьи сутки. Начались они необычно. За все время службы, а служил он уже третий год, ефрейтор взвода связи Сергей Сметанин не помнил, чтобы полк за несколько дней до праздников (приближался Новый год) поднимали по тревоге, везли на аэродром, сажали в самолеты и десантировали на незнакомую местность. Сергея раздражала эта необычность. В самолете перед взлетом, поудобнее усаживаясь на холодном алюминиевом сиденье и поправляя запасной парашют, он говорил соседу:

— Одурели совсем. Наверное, там у кого-нибудь тема диссертации «Ведение боевых действий десантными войсками в условиях суровой зимы и предпраздничного настроения», — вот и решили проверить,

Сосед не расслышал его из-за внезапно начавшегося грохота двигателей, но тоже сказал с досадой, уже ни к кому не обращаясь:

— А я с девчонкой договорился, вот ерунда какая...

Однако в первые сутки все было отлично. Прыгали в почти полное безветрие. Пушистыми синими горстями лежали внизу на холмах леса. Деревни дымили, словно долины гейзеров где-нибудь на Камчатке. В люк, открытый по желтому сигналу «приготовиться», с упругой силой врвался морозный воздух.

Сергей неожиданно почувствовал, что смотрит на себя со стороны, и подумал о себе и товарищах словами восхищенного постороннего человека: «Вот так ребята! Орлы!»

Приземление было удачным для него: он ловко управлял парашютом и упал в снег почти рядом с пунктом сбора, в то время как иным пришлось тащить километра два по глубокому снегу парашюты и оружие.

Рота, в которую он был назначен, еще до вылета оказалась в резерве. За день прошли всего километров тридцать. Погода была почти апрельской; дул медленный, тяжелый южный ветер. Скольжение было отличным. На правах старослужащего и знакомца он и раньше придавался этой парашютнодесантной роте. Сергей сказал командиру роты:

— Прогулочка, товарищ капитан.

Он никогда прежде не думал, что армейская субординация так въестся в него, что нарушение ее — разговор, начатый им самим со старшим по званию и поддержанный, — будет доставлять ему удовольствие именно своей неустанностью.

— Посмотрим, Сметанин, посмотрим. Рация-то у вас не откажет?

— Ну, что вы, товарищ капитан!

Единственное, что досаждало, — это назначение к нему помощником молодого солдата Щербы. Сергей знал его плохо, но чем-то он ему не нравился. И хотя это назначение состоялось в некоторой суете внезапной тревоги, он досадовал на замкомвзвода сержанта Матвеева. Сергей считал, что сержант, оставшись за командира, пытается унижить его независимость и доказать, что даже старослужащие не властны делать во взводе то, что им заблагорассудится.

Если бы Сметанин был плохим солдатом, не знающим ремесла связиста, если бы, зная ремесло, он бегал в самовольные отлучки или дерзил, то есть тоже был бы плохим солдатом, хотя и другого типа, то сержанту Матвееву, имеющему слабость к безграничному властвованию, было бы легко поставить его на место. Но ефрейтор Сергей Сметанин был солдатом того особого сорта, который, придя в армию по обычному призыву, вдруг обнаруживает в себе качества истинно военного человека. У него была военная жилка, то есть абсолютное признание и понимание всех условностей службы. Единственное, чего он делать не умел и вкуса к чему не чувствовал, было командование. Если его назначали старшим в отделении, то он забывал все команды, которые знал назубок, и перед тем, как что-то сказать этим немногим людям, он испытывал мучительный стыд, словно в чем-то был виноват перед ними. Но иногда он в мечтах представлял себя военачальником, придумывал различные ситуации, в которые попадали его войска, терял робость, сковывающую его в обращении с людьми, становясь в эти мгновения решительным и властным. Сергей даже думал поступать в офицерское училище, но привычка к гражданской жизни удерживала его.

На вторые сутки роту, в которой находились Сергей и его напарник, назначили в разведку. Это означало быстрое и почти непрерывное движение, кажущаяся бессмыслица которого за отсутствием реального противника обычно скоро утомляет и раздражает солдат. Но Сергей понимал ход игры. Он ценил ту независимость, которую получала рота, и то значение, которое приобретал он — радист. Он с почти физическим удовольствием ощущал себя той единственной ниточкой, которая связывала роту со штабом дивизии. В его понимании обстановка складывалась так: часть десантировалась в тыл «противника» для уничтожения его ракетной группировки; после выполнения задачи предстоял выход к своим через линию фронта; для этого надо было найти в ней и преодолеть с боем наиболее уязвимый участок где-нибудь на стыке частей «противника». Провести разведку и должна была седьмая, или, как ее звали сами солдаты, «сёмая», рота.

Утром ветер изменил направление, похолодало. И теперь они быстро остывали, когда, разгоряченные и усталые, на коротких привалах валились на снег. Рация работала безотказно. Приятели из роты допрашивали Сергея вопросами, с которыми обычно пристают к радисту: когда выйдем к кухне, когда дадут отбой учениям? Он не знал и отвечал: «Не знаю», — но приставали снова и снова, словно то, что Сергей тащил на спине зеленый ящик радиции, делало его в глазах окружающих провидцем.

Между тем в наушниках он время от времени слышал бесстрастный голос радиста начштаба:

— Антей, Антей, я Разборный, передайте десятому: 124, 157, 374, 1724. Я — Разборный. Прием.—

Цифры означали: к четырнадцати ноль-ноль выйти в район 1724.

Раздражаясь от одних звуков этого голоса, в самом тоне которого Сергей чувствовал дремотное тепло машины, горячий плов с тушенкой и хорошие сигареты, он вытаскивал из-за пазухи микрофон (обмотанный марлей, чтобы не замерз) и говорил, немного задыхаясь на ходу от ветра:

— Понял, 124, 157, 374, 1724. Я — Антей. Прием.

Шли в две лыжни, оставляя в стороне деревни с размашистыми дымами и березами на сизом закатном снегу, с жадностью вдыхая иногда доносящийся вдруг теплый запах коровников.

К исходу вторых суток «намотали», как с удовольствием сказал комроты, около 150 километров. Оглядываясь, Сергей теперь видел позади себя усталые, серые, заострившиеся лица. Привалы стали делать реже, но длиннее. Ложиться в снег капитан запретил, и отдыхали, опираясь на лыжные палки, или в лесу, привалившись к стволам. В лесу ветер терял свою власть и лишь изредка, словно стая белок, пробегал по вершинам елей и сосен, осыпая на головы снег.

К вечеру рация вышла из строя: сели аккумуляторы. Учение потеряло для Сергея интерес. Перестав быть в центре событий, он сразу почувствовал, как устал.

— Слушай-ка, Сметанин, — сказал капитан, — бери своего напарника и двигайтесь напрямик в расположение батальона; учения, судя по всему, к концу; что эту бандуру вам таскать без толку. Смотри карту...

3 По карте все было просто: миновать два оврага, спуститься в третий, повернуть в нем на юго-запад, налево по ходу движения, дойти до просеки и прямо по ней километров через шесть выйти к деревне.

Третий овраг был скорее похож на ущелье. Склоны его заросли соснами, кое-где вода подмыла их корни, и бурые у основания и нежно-желтые к вершине подсыхающие стволы лежали, образовав завалы. Летом по дну оврага, верно, текла речка. И Сергей, проваливаясь на лыжах в глубокий снег, представлял себе летнюю благодать этих мест: знойный смоляной запах сосен, синее небо, светлые струи речушки, мальков, мечущихся стайками по песчаному дну, синих стрекоз над белыми пахучими зонтиками цикуты.

Млечный Путь — батыева дорога — шел над оврагом, словно слабое отражение его снегов.

Позади Сергей услышал вскрик, стон и ругательство. Он обернулся. Спутник его, отстав, упал на снег и, загребая его руками, растирал лицо.

— Ну, что там у тебя? — негромко спросил Сергей.

— Лыжи, — отвечал тот и закашлялся.

— Встань, простынешь.

— Хрен с ним. Давай отдышимся. Я, кажись, ногу сломал.

«Вот салага, — подумал Сергей, — недаром я не хотел связываться. Устал, филонит». Он с трудом развернулся на лыжах и подошел к товарищу.

— Вставай, — сказал он ему коротко, наклоняясь и подавая руку.

— Не могу, заклинило.

— Давай, давай... Не могу... Подъем! Здесь немного осталось. Я уже, кажется, просек вижу, — соврал Сергей.

— Не могу...

«Так его не поднять», — подумал Сергей. И вдруг закричал, срывая голос:

— Рядовой Щерба, встать!

Щерба молчал.

«Ведь так и замерзнуть можно», — растерялся Сергей.

Он ударил Щербу сперва слабо, а потом сильнее.

— Встать!

— Чего дерешься? — жалобно сказал Щерба. — Чего дерешься? Я ногу, кажись, сломал.

«Если он действительно сломал ногу, как же выбраться отсюда? — подумал Сергей. — Как я его вытащу, лося такого? Пойти искать кого-нибудь? Долго. Да и где найдешь?»

— Обожди стонать, — стараясь успокоиться и сосредоточиться, сказал Сергей. — Как-нибудь вылезем.

Он снял рацию, поставил ее на лыжи, сделал шаг в сторону без лыжни и сразу провалился в снег.

Решили сделать из трех целых лыж волокушу. Сергей добрался по склону до поваленной засыхающей ели и десантным ножом срезал несколько крупных веток. Лыжи соединили креплениями и настелили ветки поперек. Сняли ремни с брюк, противогозов и автоматов, крепко связали их — получилась хорошая шлея.

— С богом, — пробормотал Сергей, впрягаясь.

С трудом двинулись вперед. Щерба лежал, в такт движению Сергея отталкиваясь лыжной палкой.

Среди окрестной тишины со дна оврага явственно доносились тяжелое дыхание и хриплая брань человека.

4 Они лежали рядом на просеке, на ребристой и твердой колее тракторного следа. Склон здесь был отлогим. Провиснув над оврагом, звенели заиндевевшие, тяжелые провода линии электропередачи.

— Вот и вылезли, — сказал Сергей и толкнул Щербу. — Не спи, замерзнешь. «Замерзнешь», — повторил он про себя, чувствуя, как дремотное тепло волной идет по всему телу и захлестывает сознание.

Мысли истончались. Легкие видения, почти сны, кружили перед глазами. Ветер швырнул ему в лицо колючую поземку. Сергей открыл глаза.

«А ведь так действительно замерзают, — подумал он, начиная сквозь дрему соображать, у кого он это вычитал. — Наверное, Лондон. Джек Лондон. Лондон Джек. Сперва холодно, потом холод уходит, теплеет, сны, человек засыпает, и — крышка... Надо встать!» Сергей ущипнул себя за щеку, не почувствовал ее и испугался: «Обморозил...» Испуг заставил его встать. Он растормошил Щербу, поднял его.

— А ты, дурочка, боялся, — сказал он, пихая его кулаком в бок. — Вершина покорена, браток! — хрипло крикнул он, называя Щербу так, как называл солдат комбат и как называть считалось высшей иронией обращения. — Ты оставайся здесь; только двигайся, шевелись! — Сергей снова толкнул его. — Снег не жрать. Я за рацией. А потом к деревне, к печкам, к картошке. Рубать охота, жуть...

— Ты пошутнее.

— Ишь ты, пошутнее, — усмехнулся Сергей, окончательно приходя в себя от сонной мороки. — Твоей матери надо написать, что зря она такого борову раскормила. Тебя таскать замучаешься.

Надев лыжи и чувствуя необыкновенную легкость, какую обычно чувствуют люди, сбросив тяжелый груз, Сергей быстро спустился в овраг. На ходу он

не удержался, зачерпнул горсть снега, растер лицо, маленький безвкусный комок положил в рот и быстро проглотил.

Уже немного пройдя по глубокой колее их следа, он услышал вдруг сверху слабый голос Щеры: — Сметанин! Назад! Волки! Сметаанин!

Бегом, почти не отталкиваясь палками, бросился Сергей назад, вытаскивая из тугих ножен нож. Прыгая «елочкой», одним махом он взлетел по склону и бросился на снег рядом со Щербой.

— Где?!

— Там! — указал Щерба в сторону редкого сосняка, который просматривался сквозь сеть кустарника. Над далекими светлыми снегами, как созвездие на краю горизонта, часто и тепло мигали желтые огоньки деревни.

Сергей встал и сплюнул:

— Одурил ты. Во-о-олки, — протянул он зло, передразнивая. — Давай разводи костер и грейся.

Он снова спустился в овраг и, теперь уже особенно ощущая усталость, озноб и досаду, прошел до места, где они оставили рацию.

Он быстро вытащил из гнезда антенну, похожую на позвоночник; нажал на замок натяжения, и она, щелкнув, сразу потеряла упругость и превратилась в тоненькую змейку. Сергей вспомнил, что в школе они делали из деревяшек змеек, чтобы пугать девочек. Он ясно представил себе день, когда первый раз принес в школу одну такую змейку, раскрашенную им под цвет гадюки; он специально ходил в зоопарк, чтобы посмотреть гадюку и понатуральнее раскрасить деревяшки, наклеенные на брезентовую ленту. Тот день был весенним и теплым, и горьковато пахло тополиными почками. И когда его выгнали из класса, потому что девочки завизжали так, что его нельзя было не выгнать, он долго и бесцельно бродил по переулкам, глядя, как в палисадниках жгут старые листья, ветки и мусор. Размышляя о том, что теперь его непременно исключат, он считал, что жизнь кончена, и жалел самого себя. Это было в восьмом классе.

...Сгибаясь под тяжестью рации, Сергей подошел к дотлевающему костру, возле которого полулежал Щерба.

— Хватит дрыхнуть, — сказал Сергей, — двинули.

Он подал Щербе руку, желая помочь ему встать. Приподнимаясь, Щерба невнятно пробормотал что-то, и Сергею показалось, что рот его чем-то набит.

Последние сухари из «сухпайка» кончились сегодня утром, и все ждали встречи с кухней.

— Ты что рубаешь? — спросил Сергей.

Если бы Щерба ответил, что он ест то-то и то-то, Сергей попросил бы оставить ему, про себя ругнув товарища за жадность. Но Щерба, явно стараясь побыстрее проглотить то, что было у него во рту, ответил:

— Нема у меня ничего...

Этот ответ привел Сергея в ярость. Он выдернул свою руку из руки Щеры и, схватив его за лицо, с силой надавил на челюсти.

— Плюй! — заорал он, ожесточаясь.

— Сглотнул, — прохрипел Щерба, — пусти.

— Что осталось?

Щерба молча вытащил из кармана несколько помятых конфет в хрустящих целлофановых обертках. Сергей схватил их и, размахнувшись так, что хрустнуло в плече, бросил конфеты в овраг.

— Дерьмо! — закричал он Щербе. — Дерьмо ты!

Они шли по полю. То Щерба шел, опираясь на плечо Сергея и на лыжную палку, то Сергей тащил его на себе, оставляя лыжи и рацию, а потом воз-



вращаясь за ними. Поземка сухо шуршала по плотному насту.

«Гад он, что ли? — вяло размышлял Сергей. — Ведь я его фактически спасаю. Я и сам чуть не замерз. Неужели можно быть таким жадным? Да и что ему эти конфеты, силы прибавят? А может, зря я так на него. Может, он забыл про эти конфеты, а потом случайно обнаружил и произвольно съел. Съел, а потом стало неудобно, вот и отказывается».

Сергей вспомнил про выброшенные конфеты и проглотил слюну.

5 Первый дом, где горел свет и куда они поступались, был добротно и обширен. В просторных сенях, которые показались им необыкновенно теплыми, пахло соленьями. За тонкой стеной, верно, на крытом дворе, слышалось похрюкивание свиньи и сонное бормотание кур.

Сергей стукнул несколько раз в обитую клеенкой дверь, одновременно раздавалось басистое: «Кого черт несет?» — и мягкое женское: «Входите». Они вошли.

Широкие половицы были недавно выкрашены в рыжий цвет и ярко блестели. В углу, наискосок от входа, там, где обычно висят в избах иконы, стоял телевизор, покрытый вышивкой с кружевами; металлическая никелированная кровать пышно пеннелась, как подоспевшая опара, перинами, подушками и кружевами.

Солдаты, небритые, в застегнутых под подбородками, надвинутых глубоко на глаза меховых шлемах, казались здесь чуждыми, и им было неловко стоять в продубленном морозом десантном обмундировании, в валенках, на которых репейниками налипли комочки снега, с автоматами поперек груди.

Хозяин дома сидел в майке за овальным полированным столом городской работы, оперев в него сильные, жилистые руки и опустив на них голову. По рукам ползли синие змеи татуировки. Женщина у швейной машинки намусоливала нитку, чтобы продеть ее в иглоу; она обернулась на вошедших. Двое мальчишек свесились, заспанные, с печи.

— Здравствуйте, — сказал Сергей и покашлял, не зная, с чего начать.

Один из мальчишек, тот, что поменьше, проворно по приставной лесенке слез с печи. Он был в одной короткой, по пояс, рубашонке, и не успела мать крикнуть: «Назад, пострел!..», — как он уже подбежал к Сергею, протянул ему маленькую пухлую руку и сказал:

— Здравствуй. Саша Мусатов.

У Саши Мусатова были круглые глаза и редкие белые зубы. Ладонка его обожгла окоченелую руку Сергея.

— Марш в закут! — крикнул отец и вопросительно посмотрел на солдат.

— Тут, вы не знаете случайно, десантники не ходили? — спросил Сергей.

— Танки миновали, — ответил хозяин, — а уж чьи, не знаю.

— А у вас нельзя переночевать? — решился спросить Сергей. — У меня товарищ ногу то ли сломал, то ли вывихнул. Да нам бы хоть в сенях...

— Чего уж там в сенях, — хмуро сказал хозяин, — жилплощади хватит.

— Есть малость, — сказал Сергей.

— Ну, вот и повод, — сказал хозяин, встал и покачнулся.

Только сейчас Сергей заметил, что он пьян.

— Дарья, — повелительно махнул рукой хозяин

жене, — ну-ка, чеши к Васильевне; пусть бутылочку в долг даст.

Женщина, едва муж оказался за ее спиной, встала и отошла к окну.

— Да чего стоишь?! — крикнул хозяин. — Вишь, бойцы промерзли.

Женщина мгновенно взглянула на Сергея. У нее было круглое моложавое лицо, большие, Саши Мусатова, глаза, всю радужную которых затопил зрачок, отчего они казались черными. Она сорвала с вешалки серый пуховый платок, полушубок, сунула полные белые ноги в валенки и выбежала, хлопнув дверью.

— Стерва! — бросил ей вслед хозяин.

Сергей вышел на улицу и занес в дом рацию. Его знобило. Щерба растянулся у печки и уже начал поспавать. Сергей принялся стягивать с него валенок. Щерба застонал. Заскорузлый портяночный запах ударил в нос. Нога у Щербы распухла и у косточки посинела. Сергей достал из внутреннего кармана гимнастерки бинт, припасенный на случай, и стал туго перебинтовывать ему ногу. Щерба открыл глаза и сел.

— Кончай дрыхнуть, — сказал Сергей, сам в то же время широко зевая, — почистить автоматы надо, потом драть замучаешься.

— Ноет, — пожаловался Щерба, кивнув на ногу и опять поудобнее устраиваясь на полу спать.

— Как знаешь, салага, я за тебя чистить не буду.

Сергей взял свой автомат, сел в сторонке около окна, снял крышку ствольной коробки, вытаскивал затвор, наматывал на шомпол кусочек промасленной ветоши, выдавил из ствола талый снег и, подождав, когда оружие окончательно отпотеет, принялся за чистку.

Саша Мусатов и его брат, чуть постарше, слезли с печи и уселись против него на корточки, смотрели во все глаза с восхищением, время от времени притрагиваясь к автомату и спрашивая:

— А это чего?

Сергей тихо объяснял и, подавая им холодные стальные детали, которые они вырывали друг у друга в нетерпении, старался задержать их ладошки в своей руке. Замерзшему, обросшему колючей щетиной, с воспаленными от бессонницы глазами, ему было приятно это домашнее тепло детских рук.

Хозяин все сидел у стола. Прямые длинные темно-русые его волосы ссыпались на одну сторону, словно перебитое птичье крыло. Иногда он поднимал голову и, набычившись, пристально смотрел на солдат, будто когда-то уже видел их и теперь пытался припомнить, где и когда. Неожиданно он встал, покачался немного, взял стул, подошел с ним твердым, нарочито трезвым шагом к Сергею, поставил стул и, плотно оседлав его, тихо сказал детям:

— Нишкните...

Мальчики неохотно полезли к себе на печь, Сергей вопросительно посмотрел на него.

— Ты, гвардеец, рассуди, — начал хозяин, отделяя слова друг от друга, будто раздумывая, говорить или не говорить; он так сжал спинку стула, что побелели крупные, круглые, с неистребимыми рабочими черными обводами ногти и косточки пальцев. — Дело в моей жизни нежданное вышло... Слушаешь, что ли?

Сергей кивнул.

— Ну, слушай, а то здесь в деревне и словом обмолвиться не с кем, каждый ковырнуть норовит... Хотя я сам и виноват... По пьянке растрезвонил... Так вот, значит, получаю я давеча, в августе, аккурат в яблочный спас, письмо. Письмо, — повторил он и тяжело, словно ставя точку, вздохнул. — Пишет

свояк, или кто он мне там, черт знает; только мужик он толковый, трезвый на слово, зря язык не распустил. Пишет он мне поначалу всякую хреновину, а под конец,— тут хозяин встал и напряженно, не качаясь, засунув руки в карманы потертых синих галифе, прошелся в толстых шерстяных белых носках к двери и обратно, зло скрипя половицами,— объявляет, что жена моя,— он вытащил руку из кармана и махнул на дверь,— Дарья Тимофеевна, уроженка ихних смоленских мест, в оккупацию, девчонкой еще, с немцами жила... Он остановился и, прищуря глаза, посмотрел поверх головы Сергея. Тонкий рот его был похож на глубокую морщину.— Я сперва, конечно, не поверил; ее все пытал. ...Сама призналась... У ней там родственники были. Она к ним в гости по весне поехала в сорок первом. Война там и застала ее... Хозяйство у них справное было, живность всякая, сад. Немцы их дом под штаб и присмотрели...

В сенях хлопнула дверь. Мужчина замолчал. Раскрасневшаяся с мороза, вошла женщина. Она поставила на стол бутылку, и та сразу запотела. Хозяин дома подошел к столу, привычно сдернул с бутылки пробку, поднес горлышко к носу, с подозрением понюхал, взял из буфета стакан и, плеснув себе немного, подмигнул Сергею:

— На пробу...

Выпив, он низко поклонился жене, вывернув голову так, чтобы видеть ее:

— Благодарствую, Дарья Тимофеевна, уважили...

Женщина отвернулась от него, глянула на Сергея и всплеснула руками:

— Батюшки, да у вас щеки морозом побило! Надобно сейчас снегом...— Она выбежала из избы и быстро вернулась, неся в ладонях горсть пушистого снега. От дверей плеснуло холодом.

— Да не надо, не надо,— отнекивался Сергей.

Женщина, не слушая, встала около него на колени и, поддерживая одной рукой его стриженую голову, другой принялась растирать ему лицо. Руки у нее были шершавые, и подушечки пальцев были иссечены черными трещинками.

— Не больно? Не больно?— все спрашивала она.

После того, что говорил хозяин, Сергею было неловко чувствовать ее заботу, но и вырываться было глупо. Да он и не ощущал к ней никакой неприязни, скорее ему было приятно смотреть на ее тонкий белый пробор, который разделял темные, блестящие волосы, на морщинки у глаз, на брови, взлетевшие, выгоревшие под солнцем, на полные, припухлые по внешнему обводу губы. Но в то же время то неловкое положение, в которое он попал вместо того, чтобы спать, растянувшись рядом со Щербой, и которое могло помешать этому желанному сну, раздражало его. И Сергей, поддаваясь раздражению, переключил его на женщину, которая своей, как ему уже казалось, неуместной заботливостью вызвала его.

«Что же там, партизан не было?— думал он с безразличием постороннего, чувствуя, как начинают покалывать и щипать щеки.— Сбежать, что ли, нельзя было?— Как же она могла?!»— И, продолжая мусолить вопрос «Как она могла?» и воображая оттого себе немцев такими, какими он их видел в фильмах о первых днях войны,— сытыми, с засученными рукавами, гогочущими от довольства и потому одинаковыми,— и представляя ее какой-то вообще русской беззащитной девочкой, брошенной среди этого стада, Сергей внезапно ощутил давно не испытываемое им чувство жалости, от которого засвербило в носу.— «Только этого еще не хватало,— подумал он и искоса посмотрел на хозяина.— А что если бы я

был им? Что бы я сделал? Убил бы ее? Ушел бы из дому?.. А мальчишки? Если я сейчас не отталкиваю ее и не говорю что-нибудь грубое, так это почему? Потому что я чужой ей или потому что за давностью прощаю? А что мне дает право судить или прощать людей, даже мысленно? Как будто я все знаю... Мы же не боги... А мысленный суд — самый страшный, потому что судят бессрочно...»

— Дашуня,— сказал хозяин, называя жену так, как он, верно, называл ее ласково в прежние, лучшие времена,— как это ты хорошо с солдатом управляешься. Где ж это ты опыту набралась?

— При людях хоть помолчи...— сказала женщина, оборачиваясь и мельком взглядывая на него.

— Что ж молчать?— кривя усмешкой рот, сказал хозяин.— Я уж порассказал кой-чего. Люди молодые, им в жизни сгодится. Авось, умней меня будут...

— Убей ты меня!— звонко, пронзительно и бесслезно сказала женщина и, отшатнувшись от Сергея, встала.— Не могу я больше. За что терплю, господин... Старик этот, что тебе писал, ему же теткинны деньги заполучить охота, он за них не то что напраслину возвести, убить готов человека...

Щерба проснулся и, протирая глаза, сел на полу.

— Да ты сама мне винилась...— сказал хозяин, подходя к ней ближе.— Забыла?

— Лучше в грешницах ходить, чем всякий день битой, да чтоб на детей твоих пальцем бабы тыкали... Ну, что я была,— сказала жалобно женщина, оборачиваясь к солдатам.— Девочка... Четырнадцатый годочек... Ты хотел в райком идти,— закричала она внезапно в исступлении мужу,— беги,— она сорвала с себя полушубок и сунула ему в руки,— докладывай! Пусть судят.

Та война, которая, подобно вулкану, бушевала, извергая огонь, заливая плодородную землю огненной лавой, осыпая все окрест пеплом, затихла, покрывалась коркой времени. Но то тут, то там всплывали пузыри прошлого, и страдания снова и снова обжигали сердца.

— Девочка,— передразнил хозяин, вырвал полушубок и, бросив его на пол, замахнулся на жену.

— Не раздумывая, Сергей вскочил и схватил его за руку так, как их учили действовать против человека с ножом, чтобы в следующее мгновение бросить противника через подставленную ногу и сломать ему руку в локте.

— Не положено,— сказал он.

— Не положено?!— закричал хозяин, с силой вырвал руку, отвернулся и, сжимая кулаки, отошел к простенку между замерзшими окнами.— А потаскухой быть положено?!— Он ударил обоими кулаками по стене, и стекла и посуда в буфете с волнистыми зеркалами тоненько задребезжали. Хозяин резко повернулся и косолапо пошел на Сергея. Дружно ударились в плач дети, будто по покойнику, завывала женщина. Щерба встал рядом с Сергеем во весь рост, высокий и широкоплечий, и спокойным голосом, будто он и не слышал всего, о чем только что говорили, сказал:

— Но, но, дядько, полегче! Отделаем наикраше,— добавил он угрожающе, видя, как хозяин продолжает идти, выставив плечо вперед.

— Сопляки,— коротко и зло сказал хозяин, отходя к столу и ударяя по нему ребром ладони,— я вам отделаю. Выматывайтесь отсюда.

— Собирайся,— бросил Сергей Щербе.

— Да заткнитесь вы!— прикрикнул хозяин на детей и жену.

Щерба повесил на шею оба автомата и, тяжело опираясь на лыжную палку, пошел к дверям. Сергей вскинул на плечо рацию, буркнул:

— До свидания...

У порога он обернулся. Хозяин сидел за столом в той же позе, в какой они его застали, когда вошли в этот дом. Женщина разбирала, стелила постель. Саша Мусатов выглядывал из-за печки с другой стороны лежанки, таращился восхищенно вслед. У Сергея сжалось сердце. Он хотел сказать хозяину напоследок что-то вроде: детей пожалей, дядя. Но внезапное понимание собственной беспомощности, ничтожности его слов перед чужой бедой возмутило его и заставило тихо затворить дверь.

6 После хорошо протопленного дома мороз чувствовался особенно.

— И надо было тебе связываться,— ворчливо сказал Щерба,— сидели бы сейчас в тепле. Ну, учил бы он ее малость. Дурной бабе только польза.

Они стояли, привалясь к частому и крепкому плетню, которым был обнесен заснеженный клочок земли с двумя-тремя корявыми, заледенелыми яблонями. И небо, в котором кипела пыль зимних мелких звезд, казалось сейчас не чем-то необычным и волнующим, а лишь продолжением этих черных избуханных бревенчатых стен, труб над пегими хребтинами тесовых крыш, деревни, утонувшей в снегу, и всего этого холодного тихого мира, который их окружал.

Заскрипел где-то колодезный вóрот, гулко застучало ведро об оледенелый сруб. Сметанин и Щерба побрели на эти звуки с одним желанием — найти пристанище.

— В крайнем случае,— обернулся Сергей к Щербе,— заночуем в коровнике, где-нибудь на сене. Я раз спал; нормально — тепло, только мыши шуршат. А батальон уж к утру разыщем.

— Ну их, мышей. У меня от них оторопь.

В узком проулке между плетнями, ведущем на зады деревни, они увидели женщину, которая присела с коромыслами на спине, чтобы одним движением подцепить оба ведра.

— Мабуть попросимся,— толкнул Сергея Щерба. — Черта с два пустит. Нужны больно такие постояльцы.

Но женщина сама окликнула их:

— Эй, служилые, чай, руки не отсохнут подмогнуть.

Щерба так быстро захромал к ней, подпрыгивая на одной ноге, отталкиваясь палкой, побрякивая автоматами, что Сергей угрюмо подумал: «Как до тепла дошло, так рванул, а то чуть не при смерти валялся, салага».

Женщина звонко захохотала.

— Ха-ха-ха, вот ретивые какие! Да куда вас несет, горемычные?

— Ой, тетенька, у вас переспать нельзя? — спросил Щерба, заигрывая немного.

— Переспать... Ха-ха-ха,— засмеялась женщина, даже слегка пошатываясь с ведрами от смеха. — У нас две бобылки, что не переспать. Только сперва познакомиться надо. Меня Верой величают, а для вас, конечно, тетка Вера. А вы кто да кто?

«Пьяная она, что ли? — подумал Сергей. — Пьяная ли, трезвая — все едино, лишь бы где-нибудь приютиться в тепле».

— Солдаты мы,— сказал он негромко,— два Сергея. Выходили к Осиновой слободе.

— Батюшки,— изумилась женщина,— эко вас занесло; наше-то — Неверово, а до Осиновки верст семь. Запутали вы... Утро вечера мудренее, пошли ко мне в дом.

Дом стоял на отшибе, и снежное поле вниз по долгому пологому склону открывалось до самого леса на противоположном холме.

«Отличный сектор обстрела», — подумал Сергей.

Изба внутри выглядела странно; все стены были оклеены газетами, которые пожелтели от времени. Яркая голая лампа освещала огромную, в пол-избы, русскую печь; по краю плиты в печь были вмазаны нарядные осколки разноцветных стекол; пустые углы, желто-белый дощатый стол и такие же широкие скамьи у стен — их, верно, недавно мыли и скоблили ножом. Две маленькие, в серебряных окладах, иконы одна за другой в обрамлении розовых бумажных цветов висели в простенке между окнами. За зеленым стеклом лампы плавал огонек. Казалось, что сюда еще собираются въехать или уже выехали и вывезли за малым почти все вещи.

— Мама, гости! — крикнула женщина за печь.

— Теленка занеси. Нынче и корова с холоду оклеет,— раздалось оттуда.

— Гости, говорю, мама! — снова крикнула тетка Вера за печь, стаскивая старенький ватник.

Она осталась в темно-синем в белый горох платье, в штопаной кофте неопределенного цвета и оказалась худосочной, вертлявой и смешливой женщиной средних лет. Глаза у нее сидели глубоко, при улыбке непрестанно обнажались плотные зубы. Из-под гладкой прически смешно выпирали хрящеватые уши.

— Где ж вы были? — спросила она.

— Та до ваших соседей в гости ходили,— словоохотливо объяснил Щерба,— у них в семье нелады; вот и выгнал нас хозяин.

— Это Мусатовы, что ль? — оживилась женщина.

— Верка, челюсти уж болят тебе говорить,— проскрипела невидимая старуха,— все ты нейдешь да нейдешь; мне, что ль, спускаться.

— Ах, да сейчас... — отмахнулась рукой тетка Вера и обратилась к Сергею: — Сходим за нашим дитятей.

Из сеней был ход в подклеть. Тетка Вера щелкнула выключателем. Тусклая лампочка осветила дощатый загон, нахохленных кур, дремлющих на балке под шатром крыши, унавоженный пол. Едко пахло птичьим пометом и перепрелым сеном. Корова гулко замычала, пар повалил от ее мягкой морды; вытянув шею, она потянулась к тетке Вере. Та достала ломоть густо посоленного черного хлеба, припасенного заранее, и сунула корове. Корова тяжело задвигала челюстями. Тетка Вера взяла ее шершавые, старые, многократно окольцованные рога, прижала морду к себе и кивнула Сергею:

— Берись...

Сергей взял теленка на руки под живот, натужно поднял его и понес, стараясь не споткнуться.

Теленка поставили посреди комнаты. Был он черен, белоголов и несоответственно длинными, плавными в очертаниях ногами похож на большую собаку — дога. На полу он стоял, покачиваясь, как девочка, в первый раз надевшая туфли на высоком каблучке, и был покоролен и жалок.

Положили на пол широкие скамьи, отгородили закут напротив печки и постелили там рогожу.

— Значит, вы у Мусатовых были? — любовно поглаживая теленка, расспрашивала тетка Вера. — И как же у них там?

— Как? Как обыкновенно. Хозяин только злой очень,— ответил Сергей.

— И что это он злой-то? — усмехнулась тетка Вера и, не дожидаясь, пока Сергей ответит, крикнула за печь весело: — Мама, слезайте, ужинать бу-

де! Не обессудьте, солдатики, яиц у меня тройка есть, картошечка в печке да супчик, только вот постный.

— Спасибо,— сказал Щерба,— съедем, оголодали малость.

Тетка Вера откуда-то достала неполную бутылку водки, заткнутую бумажной пробкой, и тяжелые гра-
ненные стаканы.

Слезла с печи старуха. Она ходила, опираясь на костыль.

— Беда мне с ней,— пожаловалась тетка Вера,— все постится, грехов, говорит, много. А какие у нее грехи? Оба сына погибли, муж умер в городе на промысле... Семен мой—сын ей был,—вдохнула она и принялась тонко, по-городскому, резать крошащийся под ножом хлеб.

— Муки кукурузной переборщили,—сказал Щерба, отрываясь от тарелки и кивая на хлеб; ел он быстро и то и дело морщился: болела нога.

Старуха мелко перекрестилась, прежде чем взять ложку.

— В войну,—сказала тетка Вера,—я по людям чужим все моталась. Пшено, помню, зимой в кулечке да кружочек молока с бою брали. Одевались с войска. А хлеб все с лузгой...

— Ешь, чего желнишь,—перебила ее старуха,—укорот тебе дать некому, вот и желнишь. Сыны мои за вас головы позакладали, а у вас все свара нынче. Ты злобишься, что Кондрат тебя прежде замуж не взял, против Дашки камень за пазухой держишь. Нынче ты довольна: скандал; а Кондрат тебе никогда парой не был. Он и раньше пил хорошо, а сейчас и еще лучше. На людях на словах он ласковый, а распалится в ругань—из рукавов вышвырнет.

— Семен ваш и не пил и не бил, а не ласков был; я в свою копейку из его рук глядела,—сказала тетка Вера с привычной обидой в голосе.

Сергей почувствовал, что ссора назревает.

— Выпьем?—спросил он неуверенно.

Тетка Вера налила в стаканы солдат. Было видно, что она ждет ответа старухи. В этом перебирании прошлых невозвратимых обид, сожалений, неприязней, любви была для двух женщин часть жизни. Убитый под Курском, этот неведомый, всеми забытый Семен еще ходил в сознании тетки Веры по избе, русоволосый, гладко причесанный, спокойный, рассудительный, еще бегал в снах своей матери белоголовым мальчиком по двору.

— Мы за капиталом никогда не гнались. Грех тебе, Вера Ивановна. Если плакать, день и ночь плакать надо,—сурово поджав губы, сказала старуха, отодвигая тарелку и вставая из-за стола.

Тетка Вера тоже встала.

— Вы меня, мама, все от замужества отговаривали, боялись, что одна останетесь. С мужем бы я жила, хороша бы была, а то я и язычница, и такая, и всякая...

«Что люди не могут понять друг друга?—чувствуя уже хмельную расслабленность, думал Сергей.—Хотя бы чуть-чуть понять. У каждого свой характер, все свое. Но хотя бы на секунду задуматься, оглянуться. Рядом другой. Другой, но тоже человек... А мы не умеем, забываем, не хотим...»

— У вас здесь деревни какие-то серые, нагие,—сказал Щерба тете Вере,—ни сада хорошего, ни цветов. Вытянулись вдоль дороги в два порядка. От у нас на Украине села веселые. Ночью весенней под луной, будто пену Днепра выплеснул—сады вишневые цветут. Чудно...

— До садов ли,—ответила тетка Вера,—здешняя земля булыжником засорена. Крупные валуны с полей тракторами таскают, а что помельче—сами

в кучи собираем и после вывозим. Ходу иначе ни сеялке, ни комбайну нет. Я еще в пионерках была—с камнем воевала... Чего скалишься?—улыбнулась она Сергею, который усмехнулся, пытаясь представить себе эту худую, почти старую женщину девочкой с косичками и с алым галстуком вокруг шеи.—Не веришь? Я ведь в нашей округе первая стала пионеркой. В газете районной обо мне писали. Брата, Матвея Ивановича, кулаки убили, он комсомольцем был, а я, значит, в пионерки подалась. Махонькая была—боялась, но по деревне только в галстук и ходила, и шила его сама из старого плаката... Линялый такой был, выцветший... А с камнем и нынче управы нет. Почитай, всю колхозную землю руками перебрала. К нам лектор приезжал. «Ледник,—говорит,—природа...» Но и у нас сердцу мило, как по осени рябины зачнут полахать да девки в темный вечер песней из сердца слезу выжмут.

Сергею было уютно сидеть в натопленном жилье, расслабив мускулы, слегка пьяному, сытому, размагниченному, но он непрестанно чувствовал беспокойство от сознания, что в роте не знают, где он находится. Он хотел, чтобы об их ночлеге знали,—не потому, что боялся наказания, но потому, что представлял себе сквозь дремоту, как рота приходит в Осиновую слободу, и как, не обнаружив их там, капитан посылает какой-нибудь взвод на поиски, и как ребята вместо привала идут на лыжах назад, в околечный ночной лес.

Думать об этом в теплой избе было неприятно.

— Слышь, Сметанин, можё, рацию включить?—басовито и мрачно сказал Щерба.—Можё, аккумуляторы в тепле-то отойдут? Свяжемся со своими...

«Вот салага, понимает все-таки службу,—подумал Сергей.—Велика ли беда конфеты сожрать? Охота мне было его лаять...»

— Попробуй войди в связь,—небрежно сказал он.

Тишину дома нарушил ровный прибойный шум рации. Щерба чуть-чуть покрутил ручку настройки, шум оборвался, и донесся хорошо слышимый голос:

— ...я—Разборный, подтвердите...

Сергей метнулся со скамьи в угол к рации и вырвал микрофон у Щербы.

— Разборный, Разборный!—закричал Сергей.—Я—Антей. Как слышишь? Прием.

— Слышу тебя, Антей. Ты что молчал?

— Там у тебя из старших есть кто-нибудь? Попробуй...

— Ваш семнадцатый здесь...

«Семнадцатый» был комбат.

— Давай,—помолчал, сказал Сметанин.

— Сметанин,—загремело в наушниках,—что блукаешь, как козел в чужом огороде? Доложи обстановку.

— Рота выходит в назначенный район. Я отстал сам, у второго номера что-то с ногой,—сказал Сметанин, подмигивая Щербе.—Нахожусь в Неверове.

— Рота будет там утром. Приказываю дожидаться.

— Есть дожидаться,—весело сказал Сметанин, отключил рацию и хлопнул Щербу по плечу.—Давай, браток, на боковую. Мы сегодня навкалявались...

7 Сергей заснул, будто провалился. Ему приснился страшный своей явственностью сон, в котором он чувствовал себя совершенно беспомощным.

Ему снилось, что он еще мальчик. Он бегом спускается к набережной Москвы-реки по одному из старых крутых левобережных московских переул-

ков. Крупный булыжник, которым мощен переулок, раскален солнцем. Сергей бежит босиком, чувствуя горячие округлости больших булыжников и каждый мелкий колкий камушек. Ему ужасно хочется пить. И он бежит к воде. Он чувствует себя совершенно беззаботным, и только легкая тревога от знания того, как грязна вода, мешает ему. Он уже выбегает к набережной, оставляя за спиной, но в то же время одновременно видя разлапистую ветлу, старые липы, обшарпанную желтую церковь, пышную сирень в палисаднике — сзади; и дома на противоположном берегу и маленьких людей там — впереди. И вдруг за домами, чуть правее моста, вспыхивает облако на тоненькой ножке. Что-то грохочет. Неведомая сила отрывает его от земли. Он летит чуть выше верхушек лип, но видит всю Москву так, как ее можно увидеть только в промытый дождем, распогоженный осенний день с Ленинских гор — светлой и беспредельной. А облако на ножке растет и становится похоже на имитацию атомного взрыва, которую Сергей видел вчера на учениях. Он кричит кому-то: «Не бойтесь!..» Никто не отвечает, и ему становится страшно. «Мама, — кричит он, — мама, не бойся!» — И вдруг вспоминает, что мать давно умерла. Но он продолжает кричать: «Мама!!!» — И сейчас во сне, словно впервые осознав свое сиротство, чувствует страшную тяжесть. Полет обрывается, и он ощущает замирание сердца, как при свободном падении в начале парашютного прыжка. Его бросает на парашуте на набережной, и он по ступенькам скатывается к воде. «Я мертв. Меня убили. Началась война», — думает он в ужасе, чувствуя, как холодные мелкие волны набегали ему на лоб.

Его зазнобило, он с трудом открыл глаза и увидел над собой пушистую влажную морду теленка, который, легко и жарко дыша, слизывал засохший коркой пот у него со лба. Сквозь узорчато замерзшие стекла бил яркий свет морозного дня. Зеленая лампадка, как цветок, колыбалась под образами. В избе было просторно и светло.

Вчерашняя сзарила старуха в белом платочке пригорюнилась за столом. Она только что позавтракала, смахнула со стола хлебные крошки в горсть, положила их в рот, перекрестилась.

— Жизнь моя, жмись ко мне, а я от тебя пять-ся буду, — концом платка вытирая слезящиеся глаза, тихо сказала она, глядя в угол, где спят два Сергея и, покачиваясь, стоит теленок.

8 Плотный снежный наст радужно лоснился. Над дальним лесом висело серебряное солнце. Печи в деревне уже протопили, и тепло струями знойного марева вытекало из труб.

Рота была построена на околице, на обочине дороги, спиной к кладбищенской березовой роще. Березы, пятнистые, ослепительно белоствольные, высокие, чуть склоненные в одну сторону, нижними ветвями мели сугробы. Между ними серые и черные кресты то тут, то там перемежались с краснотелыми зеленозатыми фанерными конусами.

Комроты устало, с хрипотцой в голосе, объяснял, как будут выходить в пункт сбора, но его не слушали: большинство уже знало от Сергея, что идти осталось пустяки — пятнадцать километров, что учения нынче ночью дан отбой. Стояли на лыжах, чуть наклонившись вперед, опираясь на палки, и, сощуриив от солнца глаза, дремали. Вдруг из-за поворота дороги донесся гул. Лениво стали оборачиваться. Из-за бугра вылетели, фонтанами, вскидывая из-под себя снег, два бронетранспортера.

— Начальство... — угадал кто-то.

Дверца первой бронемашинки распахнулась. Высокий человек в унтах, в десантном новеньком обмундировании, в генеральской красноверхой папаше, прыгнул на снег.

— Рота-ааа, смирно! — напрягаясь, как бы в отчаянии, прокричал капитан и пошел, повизгивая снегом и поскользываясь в валенках от желания идти как можно более четким строевым шагом.

— Товарищ генерал, — начал он, и все невольно напряглись, — седьмая рота третьего парашютно-десантного батальона после выполнения задачи готовится к выходу в пункт сбора. Командир роты капитан Волков.

Генерал пожал ему руку, вскинул широкую ладонь к виску и, зажав в другой руке перчатку, пошел к середине строя, тоже стараясь ставить ногу напряженно, что в унтах у него совсем не выходило.

— Здравствуйте, товарищи гвардейцы-десантники, — сказал генерал четко и весело. И рота, глотнув побольше морозного ядреного воздуха, ответила:

— Здравия желаем, товарищ генерал! — так лихо, как трудно было ожидать от уставших за трехсуточный почти бессонный переход людей.

Но в том-то и была для Сергея особая прелесть армии, что, движимые одним правилом, установленным раз и навсегда, и генерал, уже пожилой человек, облеченный большой ответственностью и властью, и вымотанные трудностями учений солдаты старались совершить положенное как можно более четко и красиво. Это был свой, особый язык, который, как и полный условностей поэтический язык, одним дано, а другим не дано понимать и чувствовать.

Генерал прошелся по фронту роты. Ожидая его, в отдалении толпилась группа офицеров. Генерал остановился почти рядом с Сергеем на правом фланге и сказал, снова прикладывая ладонь к папаше, но уже тихо и просто:

— За отличное выполнение задачи от лица службы объявляю роте благодарность.

Грянули:

— Служим Советскому Союзу!

И откликнулось краткое зимнее эхо.

Уже улеглась алмазная пыль, утих в отдалении рев машин, а все стояли молча. Наконец кто-то сказал:

— Ну, жди теперь отпуска, сёмая.

II

1 Оттого, что он спал на третьей багажной полке шумного общего вагона и шапка, которая служила ему подушкой, лежала на трубе отопления, Сергею всю ночь снилось жаркое лето. Разбудила его проводница. Привстав на первую полку, она дергала его за полу шинели:

— Вставай, солдатик, Москву проспишь...

По многолюдной, показавшейся после армейского строя беспорядочной, шумной площади снова влажные зеленые огоньки такси. Они напомнили Сергею зеленый сигнал «Пошел!» в самолете «АН-2» во время ночного прыжка. В темно-синем, только только занимавшемся утре ярко светились разноцветные рекламы. Стояла предновогодняя оттепель, и у порывистого ветра был сырой мартовский запах.

Сергей сел в такси и назвал шоферу улицу. Сперва мчались по Садовому кольцу, разбрызгивая еще не



убранный и превращенный машинами в грязное месиво снег, который обильно выпал нынешней ночью. Ехали почти не притормаживая — едва подъезжали к светофору, вспыхивал зеленый свет; и это было приятно. Затем свернули и по переулкам въехали в длинную извилистую улицу, застроенную коренными московскими домами, — два-три каменных или деревянных этажа, ряды окон по фронтонам, иногда фальшивые колонны, иногда лепные украшения, иногда герб с кренделями вензеля.

Еще медленный поворот, и в полукруге, оттертом на ветровом стекле щеточкой «дворника», Сергей увидел два тополя, стену сизого от изморози забора с черной простой решеткой поверху, такие же ворота, приоткрытые вовнутрь двора, и за ними, как в сетях, несколько желто и оранжево светящихся окон. Сердце его забило, и ему на мгновение показалось, что машина никогда туда не доедет. Это был его дом.

В подъезде по-прежнему пахло кошками и холодной пылью. Сотрясая шаткие перила и зажав в руке ключ от входной двери, который он, как амулет, хранил в армии эти два с лишним года, Сергей взбежал на третий этаж. Открывая дверь, он столкнулся с соседкой, Екатериной Филипповной.

— Батюшки, — воскликнула она, — Сереженька! Ах-ах! А мне на работу. Вытянулся как! Красавец. — Она держала его за рукав, и получалось так, что втаскивала в квартиру. — Хорошо, что ты меня встретил, ключ от твоей комнаты у нас. Там Татьяна наша уроки готовит. Совсем невеста. Не узнаешь.

Екатерина Филипповна, все ахая и восхищаясь, открыла ему комнату, сказала, где на кухне стоит обед, велела есть и не стесняться и ушла, гулко хлопнув входной дверью.

В комнате все стояло на прежних местах, она только на взгляд стала меньше, и письменный стол был поставлен к окну по-иному — так, чтобы свет падал с левой стороны.

Сергей снял шинель, бросил ее на стул.

— Куда же теперь податься? — вслух подумал он. — Пожалуй, позвоню попозже Нинке Романовой, раньше наши на праздники собирались у нее. А сейчас? Осталось времени всего ничего. Дурацкий отпуск — двое суток. В кино сходить?

Он прилег на тахту, положив ноги в сапогах на стул, и минут через десять уже крепко спал.

2 В просторном мраморном холле подъезда его остановила лифтерша, с подозрением оглядела с головы до ног и спросила, к кому он идет. Он ответил и поздравил с наступающим Новым годом. Лифтерша что-то буркнула.

Из-за дверей квартир на площадке семнадцатого этажа выбивались музыка и громкие голоса. Сергей с минуту постоял, прежде чем позвонить в знакомую дверь. Он чувствовал себя сейчас так, как чувствует неопытный пловец, который в сильную волну уплывает далеко в море, а потом, возвращаясь, не может выбраться на берег; волны снова и снова отбрасывают его, и он, теряя силы, пытается достать дно пальцами ног. Сергей попробовал закутить, но раздумал, погасил спичку, сунул сигарету в карман шинели и решительно нажал кнопку звонка.

И почти тут же дверь распахнулась — она и не была заперта, — и теплые запахи духов, елки, хорошего табака, жареного мяса, четкие звуки рояля, тягучая скрежещущая музыка, смех ударили ему в голову, словно вино.

— Сережа, боже мой, Сережа! Если бы не поз-

вонил мне сегодня, я бы тебя убила! — закричала, всплескивая руками, Нина Романова, его одноклассница, с которой они всегда были добрыми друзьями. — Да ты настоящий солдат с плаката.

Казалось, она вовсе не изменилась за два с половиной года. Та же гладкая прическа с задорным хвостом, та же легкая улыбка, так же просто одета; только хвост перехвачен не красной ленточкой, а ниткой жемчуга, и другая нитка тяжелого жемчуга, охватывая двумя кольцами тонкую шею, свисала на черное платье с таким глубоким вырезом, от которого надо было все время отводить глаза. Руки у нее были обнажены до плеч, и на запястье правой руки свободно болтался браслет из нескольких слоев жемчужных ниток.

И оттого, что в первые мгновения Сергей увидел ее уже не одноклассницей, а взрослой, уверенной в себе взрослой девушкой, и оттого, что это ожерелье и браслет на запястье, и вырез служили ей для того, чтобы ее видели именно так, он почувствовал легкий укол влюбленности и успел подумать: вот мы и взрослые.

Она схватила его за руку и потащила налево, в комнату, так быстро, что он едва успел бросить в общую кучу шапок и шляп на козырьке вешалки свою серую с красной звездой ушанку. Нина ударом ноги распахнула обе высокие белые створки двери, оставив его на пороге, выбежала к длинному столу на середину просторной комнаты и закричала, подняв руки над головой и хлопая в ладоши:

— Вот мой сюрприз!

Сам хозяин шел к нему, протягивая обе руки. Это был седоватый, среднего роста человек, поморскому мягко загорелый, ярко-голубоглазый, с мешочками под глазами, с твердым ртом. У него были небольшие, но крепкие кулаки, и Сергей знал, что когда-то он занимался боксом. Одет он был элегантно, и было видно, что это не стремление казаться элегантным, а привычка.

— Наконец в обществе юношей я вижу мужа, — проговорил он, улыбаясь, пожимая Сергею руку и похлопывая его по плечу. — Не повредит ли отсутствие такого богатыря крепости священных рубежей? — спросил он, смеясь и оборачиваясь к оставшимся, приглашая всех посмеяться его шутке.

— Здравствуйте, Алексей Михайлович, — сказал Сергей с трудом, но все же вспоминая его имя-отчество и радуясь этому. — Там таких богатырей хоть пруд пруди.

Все уже немного выпили, это было заметно. Не открывали только шампанское. Елка стояла прямо напротив входа, у большого окна, щедро украшенная игрушками; но не она в первую очередь привлекала к себе внимание. В глаза бросался огромный белоснежный стол, составленный, верно, из нескольких столов, потому что один более широкий выпирал из-под скатерти. Стол был густо уставлен бутылками, вазами с фруктами, конфетами, тарелками с бутербродами и пирожными, и сверкающие ножи и вилки казались маленькими молниями в тучном облаке изобилия.

Сережа невольно почувствовал голод и усмехнулся, подумав о том, что неплохо было бы привести сюда после тактических занятий взвод связи.

— Ну-с, моя милая, сюрприз ваш открылся. У нас еще Боб Борисович запаздывает, как всегда. А кто еще? — пропуская Сергея вперед, спросил Алексей Михайлович у дочери, ласково беря ее за плечи.

— Не знаю, пап, я приглашала еще Ленку Чернышеву, только сможет ли она прийти...

Едва Сергей услышал у себя за спиной это имя, произнесенное, как ему показалось, со значительно-

стью, специально для него, как сердце у него заби-лось, словно барабанные палочки выбили по нему тревогу: та-та-та, та-та, та-та. И он ясно представил себе Лену Чернышеву такой, какой он ее запомнил, большеглазой девочкой, которую он целовал когда-то вечером у школы, без которой прежде считал немыслимой свою жизнь и которой, попав в армию, он не написал ни строчки; считал, как и считает большинство новобранцев, поддаваясь пресловутому «здравому смыслу» и мальчишеской горячности, что с его призывом в армию девушка, в которую он был влюблен, тут же забудет его для других и что под-держание отношений письменно в нашем веке есть несусветная и наивная чушь. Но в то же время он подумал, что и другие заметили, как сказала Нина, и он почувствовал, что неудержимо краснеет.

3 Стоять посредине комнаты в шинели, здороваясь и знакомясь, было неудобно. И Алеша Соловьев понял это; замахав руками, он закричал:

— Хватит восточных церемоний, дайте человеку раздеться! — Он обхватил Сергея за плечи и повел в прихожую.

— Ты что же, гад такой, не пишешь уже полгода, — стаскивая с Сергея шинель, выговаривал он ему, по-хотывая, — и ни черта не сообщил.

— Фельдьегерей под рукой не было, все в разго-не, — отвечал Сергей, входя в тот насмешливый тон, которым они привыкли разговаривать прежде.

— А рожка у вашего превосходительства, позво-те доложить, потрясная. Я бы предложил такой ло-зунг: воздушнодесантные войска — лучший отдых студента.

— Как твои дела? — спросил Сергей.

— Тсс, — прижал Алеша палец к губам, — сессия... Сглазишь.

— Зачеты?

— Все, кроме англиш. Придется по второму за-ходу спикать. Что это у тебя на физиономии? — спросил Алеша, похлопывая Сергея по щеке. — Ну и упитанность!

— Обморозил...

— Больно? — поморщился Алеша.

Сергей махнул рукой.

— Давай в эту комнату, акклиматизируешься; я вижу, ты смутился.

Комната, в которую они вошли, была кабинетом Алексея Михайловича. Алексей Михайлович любил зеленый цвет, и здесь все было выдержано в зеле-ных тонах: обои, тяжелые занавеси на окнах, зеле-ное сукно пустого просторного стола с тяжелым бронзовым письменным прибором, болотного цвета с мелким узором шелк на двух креслах возле стола и на диване у стены. Даже в двух натюрмортах в пышных золоченых рамах, фруктовом и рыбном, торжествовал зеленый колорит.

На диване в неудобной позе, перекинув ноги через валик, лежал Валерка Рыжов. Он был, как и три года назад, тщательно, волосок к волоску, при-чесан. Сережа никогда не мог всерьез поверить, что прическа действительно составляет предмет его гордости. Ему казалось, что Валерка разыгрывает всех, когда строит озабоченную мину, если на голо-ве у него нарушится определенный порядок. На груди у Валерки лежал телефонный аппарат, и он изредка лениво бросал в трубку:

— Да-да, конечно же...

Алеша толкнул его:

— Оторвись, посмотри сюда.

Зажав трубку ладонью, Валерка обернулся, узнал Сергея, расплылся в улыбке и кивнул ему головой.

— Все лысеем, — сказал Сергей, вспомнив, как обычно подшучивали над Валеркой.

Тот погрозил ему кулаком и сказал в трубку:

— Мы с ним на сборах вместе были, он два се-зона за дубль «Спартак» играл.

Алеша насмешливо посмотрел на него и подмиг-нул Сергею:

— Валера теперь у нас футболист, первый раз-ряд. Сеньор Пеле, как скоро вы думаете получить мастера? — Он повернул руку так, словно в ладони у него была книжечка, и изогнулся, чтобы записы-вать.

— Пойди к черту, — сказал Валерка, — не мешай.

— Веришь? Он познакомился с ней еще до тво-его отъезда в армию. Телефонное знакомство. Больше трех лет болтают и ни разу не виделись. Платоники-профессионалы.

— Горжусь этим... Да, да, это и вам, — сказал Валерка в трубку. — Я здесь двум материалистам пытаюсь доказать несовершенство их понимания жизни. Они все время хотят забивать мяч в пустые ворота. А я романтик. Мне даже кажется, что вы живете не на нашей пошлой планете. Да? Инопланетница? Прекрасно...

— Вот я сейчас твоей «ино» скажу кое-что, — сказал Алеша, кинулся на него, подмял под себя и вырвал трубку. Рыжов задрогал ногами и закричал:

— Насилие!

Сережа хохотал. Ему было приятно вновь жить этими уже забытыми мальчишескими шалостями. Но в то же время он смотрел на ребят, как смот-рит посторонний взрослый человек на детские игры. Напряжение, которое он испытал всего сутки назад, не оставило его, и он подспудно сравнивал себя, замерзшего, голодного, с беззаботной возней ре-бят, да и с самим собой сегодняшним — счастли-вым и беспечным.

— Милейшая леди, ваш платоник, ваш футбо-лист! — закричал Алеша в трубку.

— Не футболист! Не футболист! — пытаюсь вы-браться из-под него, закричал Валерка.

— Научный сотрудник...

— Ах, да, виноват, запоматывал... Ваш мэ нэ эс, — сказал Алеша, — каждую неделю спонтанно меняет все свое женское окружение. Не верите? Bravo!.. На трубку, Валера. Радуйся, она верит в твою доб-родетель.

Валера сказал проникновенно:

— Простите меня, Наташа, это такие наглецы.

— Передай ей от меня привет, — сказал Сергей.

— Все хотят быть младшими научными, — вздох-нул Алеша, — а Ломоносовых все так же мало. Да и не выгодно быть Ломоносовым...

— Отчего же не выгодно? — спросил от дверей высокий молодой человек, который показался Сер-гею знакомым.

— А, Игорь, — сказал Алеша, — вот знакомься. Сергей Сметанин. Он с твоей Татьяной на одной парте сидел.

Молодой человек как-то по-особенному легко и упруго сделал несколько шагов навстречу и про-тянул руку.

— Игорь, — сказал он, приятно улыбаясь.

— Игорь, — сказал Алеша и добавил фамилию из-вестного боксера, — и еще муж нашей Татьяны и вообще отличный парень.

— А я смотрю и думаю, где же я вас видел... — смущаясь, сказал Сергей.

— Только не «вас», ради бога на «ты». Хотя я ре-жимлю, но готов выпить лишнюю рюмку на брудер-шафт...

— Организуем, — сказал Алеша.

— Успеется, — сказал боксер. Его добродушное лицо с пухлыми расплуженными губами было будто проштамповано двумя белыми крест-накрест шрамами на левой брови.

«Как это я сразу не догадался и не вспомнил», — подумал Сергей, ничуть не завидуя славе этого парня, но по-мальчишески досадуя, что в части никто не поверит этому знакомству.

— Так отчего же Ломоносовым быть невыгодно? — спросил Игорь.

— Потому что Леха сам не Ломоносов, а всего лишь бывший золотой медалист, — оторвался от трубки Валерка. — И если бы...

— Паясничай со своей Ундиной, — перебил его Алеша. — Дело в том, — Алеша засунул руки в карманы и, как цапля, на каждом шагу выталкивая вперед голову и шею, прошелся перед Игорем и Сергеем, — и суть в том, что если раньше в науку большинство шло по призванию, то теперь идут, не все, но очень многие, из-за куска хлеба с маслом. И уже талант на втором плане, главное — задница и нахальство... «До тех пор, пока пятая точка не станет у тебя красной, как у макаки, нельзя считать себя настоящим ученым», — сказал он, изменяя голос, видимо, передразнивая кого-то. — А ты, Сметана, как считаешь? После твоего вылета из университета прошло три года, теперь у тебя свежий взгляд на вещи.

— Чего ты злишься, Леха? — сказал Сергей. — У тебя-то, кажется, все нормально. Распределение наверняка приличное. А вкалывать всюду надо. Ясно, как день, и в науке тем более.

— Извини, перебью, — сказал Игорь. — Я хочу вам рассказать, как этим летом в Гане видел Кассиуса Клея, — начал он, тщательно подбирая слова, будто давая интервью. — Это феномен. Он блестяще работает левой. У него вообще исключительная реакция. Но левая бесподобна. В Аккре он давал показательные выступления. Это было обставлено так: на открытый ринг стадиона, который находится непосредственно на берегу океана — прибой слышен, будто раковину к уху поднес, — в присутствии 50 тысяч зрителей выходит Клей. Толпа ревет. Выходит противник, в сущности, не противник, а слабый спаринг. Минута самое большее, и рефери начинает для него отсчет. А Клей подходит к микрофону, который установлен в его углу, и вещает: «Кто величайший боксер истории? Стадион, как один человек, отвечает: «Ты, Клей!» И он снова: «Кого вы любите больше всех?» И они опять: «Тебя, Клей!» Так вот этот гений и вообще-то ужасный хвастун тренируется если не весь рабочий день, так полдня — это гарантия. И тренинг идет с полной нагрузкой...

— Да что ты азбуку жуешь? — усмехнулся Алеша, и кончики губ у него опустились, выражая вежливую снисходительность. — Я не о том. Наплыв узких специалистов, серых, как песок... уже сейчас...

— Песок на подъеме нужен, — перебил его, закрывая ладонью трубку, Валерка, — учебник физики, седьмой класс, глава «Трение»...

Игорь и Сергей улыбнулись.

— Закройся, — сказал Алеша.

«В чем-то он, может, и прав», — подумал Сергей.

— И еще один момент, — продолжал Алеша. — Наука со своей дурацкой стремительностью и узостью специализации истощает мозг человека и ведет к кризису идей. Сейчас, видите ли, этап накопления фактов. А потом, значит, накопят — и откровения будут изрекать? Черта с два...

— Это все разрешимо, — сказал Сергей. — Главное и страшное другое — разница в темпах развития науки и социальных отношений. Я вот читал Винера...

— Браво, Серега, ты смотри... — произнес Алеша так, словно услышал от ребенка что-то такое, чего по малости лет от него трудно было ожидать.

Сергею стало неприятно, и он замолчал.

— Ша, дети мои, — сказал Валерка. — Что за наивняк! Десяток хороших бомб, и, ручаясь, все проблемы будут решены, вплоть до погребения...

— А ты, Рыжий, капитулянт! — пригрозил ему кулаком Сергей. — А вдруг война будет самой обычной... «Ура! В атаку! Ложись! Окопаться!» Что тогда?

— Ко мне подходит санитарка, — весело запел Валерка, дирижируя себе телефонной трубкой...

— Звать Тамарку, — подхватили все.

В дверь постучали. Тоненький голос спросил: — К вам можно, мальчишки?

И вошла, сперва просунув голову и оглядевшись, Танечка Левашова, как всегда коротко подстриженная, аккуратная, в очках.

— Здравствуй, Сережа, — сказала она, — я очень рада тебя видеть. Ты так изменился. А это мой муж, — мотнула она головой на Игоря. — Вы уже знакомы?

Танечка Левашова в школе была все в принципе понимающая, но очень наивная девочка. Когда над ней посмеивались, она смеялась вместе со всеми, но в глубине души воспринимала шутки всерьез и привыкла считать себя (так как из-за ее доброты подсмеивались над ней часто) некрасивой, неуклюжей, неженственной. С Игорем она познакомилась случайно и до сих пор не верила, что он любит ее. Да и никто из знакомых не верил. Их брак считали странным и пожимали плечами.

— Как тебе живется, Сережа? — спросила Танечка.

— Да понемногу.

— Устаешь?

— Бывает. Километров под сотню за сутки на лыжах намотаешь...

— Не километров, а километроу, — поправил Алеша, — терпеть не могу всех этих магазинов да портфельей. Ты все-таки русским считаешься.

— Когда под сотню за сутки, так — километроу, — отшутился Сергей.

На мгновение чуждость и неприязнь к Алеше и одиночество охватили его. И он с неожиданной ясностью и теплотой вспомнил ротный привал на снегу сразу после заката, в прихлывнувших с востока чистых сумерках, и свой жест — взмах двумя пальцами от губ, обращенный к кому-то, и огонек сигареты, рывками летящий к нему через десяток рук, и первую, сладкую затыжку.

— Мальчишки, о чем вы здесь секретничали? — спросила Таня.

— Конечно же, о сексе, Танечка. О девочках. Делимся опытом, — сказал Алеша. — Сейчас очередь Игоря, ты его прервала.

— Ах, извиняюсь, — попыталась улыбнуться, выдавила из себя Таня. — Не буду мешать.

Она пошла к дверям, опустив голову. Игорь покраснел, и рассеченная бровь поползла у него вверх.

— Татьяна, да он шутит! — крикнул Сергей. — Чисто деловая беседа.

Но Таня уже вышла. Игорь круто развернулся на каблучках и вышел следом.

— Серега, что это у тебя за значок? Парашютный? А сколько у тебя прыжков? — как ни в чем не бывало спросил Алеша.

— Уже тридцать, — машинально сказал Сергей, думая о том, что Алеша Соловьев из ершистого, но добродушного и веселого мальчика почему-то превращается в брюзгу.

— Я сейчас выпить принесу, — сказал Алеша и, размахивая руками, пошел на кухню.

Сергея взял сигарету, закурил и принялся рассматривать коллекцию бабочек, которая висела в углу у окна. Бабочки были в отличной сохранности. Одна, огромная, с резной формой крыльев, меняла окраску, стоило Сергею чуть пошевелить головой. То она становилась бронзовой, то ее бросало в синеву, то вдруг крылья отливали зеленым. За его спиной Валера продолжал говорить в трубку, растягивая слова:

— Ну, что я могу сказать; спасибо за молчание... Но нам все-таки нужно будет повидаться... Разочарование? Ну что же, теперь модно разочаровываться. Мы будем на уровне моды... Хорошо. Звоните в следующем году. Я не теряю надежду... Всего доброго.

Он опустил трубку, и Сережа повернулся к нему.

— Ты что, серьезно с ней два года знаком так?

— Вполне. Почему бы и нет? Это забавно и приятно...

— А как у тебя дела?

— О'кэй, как говорит тот, кто знает английский язык. Ошиваю в институте. Гоняю пузыри. Если первенство Москвы в этом сезоне возьмем, мастера получу. Хочешь, позавидуй...

— Нет...

— Что так? Вот Леха теперь всем завидует, кому мало-мальски везет.

— Не понимаю, что с ним приключилось.

— Да ничего особенного. Сломался он в последнее время. Раньше у него все легко получалось. Задачки по геометрии, сочинения, язык от зубов отлетал. И он считал, что все должны завидовать ему. А теперь он сам перешел в разряд обычных людей. И по логике вещей завидует всем и вся; мне, потому что я пижон и горжусь этим. — Валера засмеялся. — Танечке, потому что она вышла замуж за знаменитого Игоря; Игорю, потому что он знаменит; тебе, потому что у тебя парашютный значок и все впереди. Кстати, прыгать-то как, страшно?

— Как когда. Но насчет Лехи — это ерунда, по-моему.

— Ей-ей, у него за эти годы сдвиг по фазе случился. — Валера повертел пальцем у виска. — Я знаю таких мальчиков. На поле они рвутся вперед сами, пока не заведутся, паса от них не жди...

— Ты говоришь так, словно он уже кончился.

— Он только начинается, — сказал Валерка назидательно, — вот он женится на Нинель...

— Что ты трепещешься?

— Клянусь. Получит тестем такого босса, как Алексей Михайлович, окончит институт и сделает рыбочек... А вот и он сам. Алексей Соловьев, суд обращается к вам с требованием сообщить, каким образом вы превратились в завистника и казнокрада.

Алеша поставил на стол маленький поднос с открытой бутылкой коньяка, тремя рюмками и блюдцем с лимонными дольками, резко повернулся, обхватил Валеру поперек пояса, поднял в воздух и осторожно припечатал к зеленому толстому ковру.

— Подать сюда судей и присяжных. Где судьи? — закричал он нарочитым басом. — Говори, иначе коньяк не получишь.

— Вон он, судья, — указывая из-под Алеши пальцем на Сергея, зафыркал Валера. — Выручай, Серега, дай этому буйволу по шее, пока он мне ноги не сломал. Я не звезда, у меня ноги не застрахованы.

Алеша встал, налил рюмки. Валера продолжал лежать на ковре, поправляя прическу. Сергей и Алеша подали ему руки и рывком подняли.

Алеша взял рюмку.

— Прощу...

Сергей и Валера взяли рюмки. Помолчали.

— Хорошо, что наш класс сохраняет свои свя-

зи, — сказал Алеша, — это бывает редко. Так выпьем же за то, чтобы даже когда мельниц не будет, ветер продолжал дуть.

— Браво, браво! — воскликнул Валера. — Открытую счет!.. Пять, четыре, три, два, один — пу-у-у-ск.

Коньяк был отличный.

— Ну, третейский судья, пойдем хлебнем культуры, — сказал Алеша, обнимая Сергея за плечи.

4 В большой комнате, сбоку от столов, у книжных полок, которые углом занимали стену и простенок до окна, танцевало несколько пар. Радиолы стояла у елки, и черный рычажок плавно и быстро менял пластинки. Музыка была тягучей и бесформенной, казалось, что она была создана кем-то для того, чтобы подвигать ногами людей, поприжимать их друг к другу и, заставив повторить бесконечное число раз одно и то же движение, быть ими забытой.

В другом углу, сдвинув стулья и касаясь коленями друг друга, сидели Алексей Михайлович и Саша Михеев и ожесточенно спорили. Загорелой маленькой ладонью Алексей Михайлович хлопывал по столу, когда говорил Саша, и, сжимая ладонь в кулак, постукивал в такт своим словам. Саша размахивал руками и то и дело указательным пальцем поправлял очки на переносице. Он был худ и мелок лицом.

— Вы поймите, — говорил он, глядя в сторону, — существуют объективные законы развития общества вне нашего сознания. Вы согласны?

— Неужели?

— Именно объективные, именно вне нашего сознания! — напористо, почти выкрикнул Саша. — Если бы человеческий мозг не страдал субъективностью... А, Серега! — закричал он, заметив Сергея. — Давай к нам.

Сергей придвинул стул и оседлал его. От коньяка, от музыки и женского смеха ему было весело.

— А помнишь, ты мне писал, — начал Саша и потребил Сергея за обшлаг мундира, — о председателе, которая картофель осенью придерживала, а весной, только лед сходил, фрахтовала баржи, гнала их на Север и сбывала картошку по черт знает какой цене?

— Писал... И, знаешь...

Михеев замахал руками, перебивая его:

— Вот и еще пример, и еще сто можно... И прекрасно видно, что какие-то противоречия в нашем обществе существуют...

— Спасибо за информацию... — усмехаясь, покачал головой Алексей Михайлович. — Слышал звон, да не знаешь, где он...

— Вы меня, Алексей Михайлович, извините, — запалился Саша, — но вы напоминаете старую деву, которая собственный комплекс неполноценности принимает за фундамент нравственности и с него давит на окружающих...

— Ну, какого черта, — добродушно взмахивая руками и хлопая себя по коленям, сказал Алексей Михайлович, — сам меня втянул в спор, а теперь и в оскорбления ударился.

Сергею нравилось, как говорит Саша. Но в то же время он чувствовал в Сашиних рассуждениях, сам этого, впрочем, до конца не понимая, отсутствие ответственности, которая, предполагая за каждым словом событие и дело, следом за вопросом, «почему не так», ставит и разбирает вопрос, «как надо, чтобы было так».

— Что вы, товарищи, ему голову морочите, — взъерошивая Сереже короткие волосы, сказал Але-

ша,— у него сутки остались. Сутки! Ему гулять надо, пить, веселиться. Может, еще коллективную читку политэкономии устроим? Давайте выпьем.

Алексей Михайлович посмотрел на часы.

— Да, совсем мало времени осталось, потерпим. Все-таки выпили. Закусывали бутербродами с красной икрой. Сергей уже давно отвык от тающего, жирного солоноватого вкуса икры. Алексей Михайлович аппетитно ел и говорил, строго поглядывая на Сашу Михеева:

— Я ужасно боюсь разъяснять, что Волга впадает в Каспийское море, разжевывая все это, но главное для каждого из нас, при всех наших достоинствах и недостатках,— сопряжение наших собственных усилий с усилиями государства. И каждый в душе это понимание должен иметь диффузором, направляющим жизнь.

Алеша подвел Сергея к тоненькой, затянутой в кожаное платье девушке с легким платочком, повязанным у горла. Она, скучая, сидела в кресле-качалке и курила, монотонно покачиваясь.

У девушки была светлая челка, начинавшаяся от макушки, а назад к затылку шли букельки и рожки. Танцевала она с закрытыми глазами и то и дело прижималась к Сергею, и у него пересыхало в горле. Он видел комочки краски на ее длинных ресницах. Танцевали молча.

— Вы любите Японию? — спросила она неожиданно, растягивая слова, словно ленись говорить.

Сергей промолчал, он думал в этот момент о том, что правильно сделал, надев не обычные кирзовые неуклюжие солдатские сапоги, а, послушав товарищей, одолжил у старшины соседней роты новенькие, яловые.

— А мне она очень нравится.— Девушка покраснела.— Я даже японский язык изучаю, правда, это дорого, четыре рубля в час. Уже знаю триста иероглифов.

— Это много? — спросил Сергей.

— Что вы, ерунда! Вот я была в доме отдыха Союза писателей. Там я познакомилась с одним журналистом. Маркелов, может быть, слышали?

Сергей отрицательно покачал головой.

— Он такой молодой, а уже столько ездил и у нас по Союзу и за границей. Он японский знает просто роскошно. Он мне свою книгу подарил, чтобы я просвещалась, и копию гравюры Сяраку, который первый в Японии начал печатать цветные гравюры. У него много портретов артистов театра Кабуки, он писал их в основном в ролях, а не как людей...

По тому, как проникновенно она начала говорить, было видно, что она гордится и знакомством с журналистом, и книгой, и знанием Сяраку, и таксой за уроки японского языка.

В коридоре раздался звонок. Пропуская мимо ушей то, что продолжала говорить ему девушка, Сергей напряженно сквозь музыку вслушивался в слова и смех за дверью. С того момента, как Нина сказала, что Лена должна прийти, Сергей, разговаривая, смеясь, слушая, ждал ее.

Дверь открылась, и вошли двое незнакомых ему людей, видимо, муж и жена. Он — высокий, седоватый, улыбчивый, левый пустой рукав был у него засунут в карман пиджака; белый, в крупный синий горох галстук-бабочка сбился на бок. Она — маленькая, на очень высоких каблуках, с некрасивым живым лицом.

— Это артистка детского театра,— шепнула Сергею его партнерша,— а он какая-то шишка в министерстве у Алексея Михайловича.

— Боб Борисович, Анна Николаевна,— пошел к вновь прибывшим Алексей Михайлович.— Я надеюсь,

что вы сегодня на транспорте, без машины,— сказал он, наклоняясь и целуя артистке руку,— и вашего мужа можно будет спавать. Я этим займусь, а вы мне не мешайте на этот раз. У нас столько нынче молодых людей, что супруг для вас обуза.

— Нина, Нина, не ломайся, давай спой,— начал шумно упрашивать Валерка.

— Ах, Ниночка, у вас такой голос,— сказала артистка, здороваясь несколькими поклонами в разные стороны.

Сергей заметил, как Алеша Соловьев посмотрел на Нину, когда она отнекивалась, улыбаясь одновременно всем.

«Врет Валерка, язвит. Алеша ее любит, и положение Алексея Михайловича здесь ни при чем. Она хороша...»

5 У Нины и Алеши свадьба была назначена на первый день зимних каникул. Но если Нина была постоянно в веселом и беспрестанном расположении духа, успевая управляться со всеми хозяйственными делами, считая их не только необходимыми, но и находя в них удовольствие, то Алеша, напротив, стал раздражителен. Ему казалось, что сведение их прежних отношений — этих бесконечных прогулок по Москве, недоговоренностей, поцелуев в подъездах, всех сказанных слов — к суете, в которую погрузилась Нина, есть оплошность и перечеркивание, как он уже называл про себя, «нашего прошлого», а значит, и будущего.

Прежде, в школе, в начале учебы в институте, он считал себя по крайней мере одаренным. Как иногда человек, умеющий читать и понимающий литературу, принимает это умение за талант писателя, так и Алеша легкое усвоение и понимание школьных учебников принял за способность к творчеству. Постепенно ему приходилось затрачивать все больше усилий для того, чтобы не отстать от других. Опыты, выведение формул, понимание законов уже не доставляли ему удовольствия. Круг вопросов, которые прежде интересовали его, сужался и сужался. Но не это пугало его. Другие, он их видел, все глубже проникали туда, куда, несмотря на все старание, его мысль не достигала. Слово мозг был наделен какой-то мускульной силой и у него не хватало ее, чтобы поднять что-то такое, что другие поднимали легко. Любимая физика тускнела, как тускнеет земля, хорошо обработанная, обильно засеянная и не приносящая всходов. Ему казалось, что другие, а главное, Нина, понимают, что с ним происходит. И так как Алеша внутренне махнул на себя рукой и стал презирать собственную бескрылость, то он считал, что остальные сделали то же самое. Нинина веселость была ему подозрительна.

«Она весела нарочно, чтобы мне показать, что все по-прежнему,— думал он,— а на самом деле ей уже не хочется выходить за меня замуж. То, что она сказала «да», заставляет ее по инерции возиться с этими магазинами, платьями, приглашениями гостей. Только для отвода глаз можно заниматься такой бестолковой...»

— Сереженька, мне петь? — спросила Нина и подняла на Сергея большие смеющиеся глаза.

— Конечно!

— А что ты хочешь?

— Давай, по старой памяти, «Клен»...

— Хорошо, пою для тебя.

Зажгли два крупных, позвякивающих хрустальными подвесками бронзовых канделябра, по тринадцати

свечей в каждом. Их поставили на разных концах стола.

— Стоп,— закричал Валерка,— сперва музыку!.. Он подбежал к радиолу и выключил ее.— Теперь электричество к черту!— Он щелкнул выключателем.

Запахло стеарином, тихо потрескивали фитили. Стекланные игрушки в глубине пушистой елки за-светились таинственно, как в детстве.

Сергей отошел к окну. За вихрями снега чуть угадывались огни моста и набережной. У самых окон хлопья снега, движимые потоками тепла от дома, тянули вверх.

— Клен ты мой опавший,— неожиданно низким для своей легкой фигуры и тонкого лица голосом почти проговорила напевно Нина,— клен заледенелый.— Она подняла руки и провела по голым плечам. И Сергею стало зябко.— Что стоишь, нагнувшись, под метелью белой...

Сергей закрыл глаза, потому что Нина смотрела на него, и ему отчего-то был неудобен ее взгляд.

— ...Ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойким, не дойду до дома с дружеской попойки,— кончила петь Нина протяжно, но почти весело.

— Bravo! — воскликнула артистка.

— Анна Николаевна,— обратился к ней Алексей Михайлович,— скажите хоть вы ей, убедите. Ведь у нее талант, настоящее хорошее меццо-сопрано.

— Прекрасное звучание, и культура голоса есть. Надо заниматься, это не ради комплимента, так сказать, истина,— сказала Анна Николаевна.

— Ах, ах! — покачал головой Алексей Михайлович.

— Папочка, ты пойми, ради бога, что это не рентабельно,— подходя к нему и обнимая за плечи, сказала Нина,— я учусь, буду инженером-текстильщиком, машиностроительницей, а тут — журавль в небе. До, ре, ми,— спела она нарочитым басом и чмокнула отца в макушку.

— Вот она, современная молодежь! Рационалисты несчастные. Тебя бы нахлопать по тому месту, где спина теряет свое благородное название. Какие вы к чертям романтики! — сказал Алексей Михайлович.— Сухари. Что говорить... Лучше спой для отца. Любимую.

6 — Гори, гори, моя звезда,— начала Нина, пригорюнясь, и выражение ее лица напомнило Сергею позавчерашнюю старуху утром в избе, когда та крестилась после еды и приговаривала: «Жизнь моя, жмись ко мне, а я от тебя пятиться буду...»

Сергей заметил, что Игорь подошел сзади к стулу, на котором сидит Таня Левашова, и гладит ее, как маленькую, по голове. «Хорошо им»,— позавидовал Сергей.

— Ты будешь вечно неизменная.

Едва Нина дошла до этого места, как пламя свечей от сквозняка между форточкой и коридором метнулось, будто желая оторваться от фитилей. «Кто-то пришел»,— подумал Сергей и глянул на нешироко приоткрытую дверь. В проеме между створками дверей стояла Лена Чернышева и смотрела на него. И, как только что рыжие язычки огня под ветром, метнулось, будто ища выхода, его сердце. Она стояла в белой шубке с откинутым просторным капюшоном. Светлые волосы ее, как и всегда прежде, были почти у самого лба перехвачены широкой вязаной лентой и спускались на плечи. Уголки губ большого рта были чуть-чуть растянуты в улыбку. А вообще она смотрела на него строго, и спокойно, и, как ему показалось, безучастно, не узнавая.

— Умру ли я, ты над могилой гори, сияй, моя звезда,— допела Нина, заметила Лену и бросилась к ней, отмахиваясь от похвал.

Лена вошла в комнату, когда снова зажгли свет. Диктор торжественным и напряженным голосом уже кончал говорить. Алеша, Валера, Алексей Михайлович и еще какой-то незнакомый Сергею молодой человек держали наготове бутылки с шампанским.

— Фужеры к бою! — скомандовал Алексей Михайлович.— Пробки в потолок!

Раздались перезвоны курантов. И с первым ударом Алексей Михайлович крикнул:

— Пли!

Раздались хлопки, пробки полетели в разные стороны, женщины ойкнули.

Пенясь и шипя, шампанское пошло по бокалам.

— С Новым годом! С Новым годом! — закричали все, чокаясь звонко друг с другом.

— За то, чтобы жизнь в шестьдесят третьем была сладкой, как это шампанское! — пошутил кто-то.

— Нет, нет,— воскликнула артистка, поправляя на плечах широкий черный шарф с блестками,— не за то, чтобы была сладкой, а за то, чтобы в жизни было все-все: и радость, и горе, и печаль — все-все! Ну, словом, чтобы была настоящая, полная жизнь.

— Только без горя, чего-чего, а его всегда хватает,— сказал Боб Борисович. Когда все сели, он подсел к Сергею.— Как служитесь? — спросил он.

— Нормально,— ответил Сергей. Ему хотелось подойти и поздороваться с Леной, но что-то сдерживало его, и он обдумывал, как это сделать с большей небрежностью и как бы между прочим.

— Я помню, мы сорок третий год на Ленинградском фронте встречали. У меня друг за несколько часов перед Новым годом погиб. Давайте выпьем потихонечку, чтобы окружающих не расстраивать.— Он плеснул себе и Сереже коньяк, и они выпили.— А положение, заметьте, случилось глупое. Паек был скудным, но праздник праздновать тоже надо. Выпивка была, а вот закуска... Мы ведь там как подкармливались, хотя это и запрещено было,— лазили на нейтральную полосу, на ней иногда убитые лошади валялись. Вы как, не брезгливы?

Сергей усмехнулся.

— Тогда слушайте. Лошади эти хорошо промерзали, особенно на той стороне, что лежала к земле. Днем заметишь такую лошадку, ориентиры подберешь и ночью ползешь к ней с ножом, филейные части обрезаешь, и назад уже с мясом. Если такое мясо хорошо проварить, то очень даже вкусно. Опасность в чем была,— что немцы таких лошадей держали на мушке, знали про это дело. И мы тоже имели в виду, что немцы так же разнообразны. И вот в иную ночь и не лезет на нейтралку никто, а с обеих сторон осветительные ракеты, и палат почем зря по лошадкам. Забава... Так вот мы с другом в новогоднюю ночь полезли по жребью за закуской. Вначале все было хорошо — ни выстрела, ни ракеты какой. Темная ночь. Даже такая шальная мысль мелькала: и чего ползем, встать бы сейчас во весь рост да идти спокойно. Забава... Доползли, мяса нарезали и только назад, как началось. Казалось, фронт на всем протяжении от Баренцева до Черного клином на нас сошелся. Мины только уу-уу, пули фьють, фьють. Бах-бух, к черту! Давайте выпьем, чтобы вам не пришлось лазить на нейтральную.

Они выпили.

— Да, и уже перед самыми нашими ходами друга того убило. Осколком в шею. Вас, я слышал,

Сереей называли. И он был Серееа.— Боб Борисович подергал головой.— Мы с ним вместе пришли в армию и до войны друзьями были. Мальчишки. Пока я его тащил, его кровь мне за шею так и сочилась. Нервный я, иногда до сих пор чувствую.— Он сильно потер ладонью шею.

— Боб Борисович, вы, верно, снова про ополчение, про окружение? — спросил Алексей Михайлович, как спрашивают ребенка, не надоела ли ему игрушка.— Бросьте,— сказал он ласково.— Конечно, героизм, жертвы — это прекрасно. На этом надо воспитывать нашу молодежь. Но вот солью на раны сыпать ни к чему, лишнее. Зачем этим мальчикам знать, что вы переживали, почему вы переживали?.. Я надеюсь, им никогда не бывать в окружении. За это они нам в ноги должны кланяться... Наша армия победила.— Алексей Михайлович взял бутылку, свой бокал, обогнул стол и подошел к Сереею и Бобу Борисовичу.— Выдай-ка им, Серееенька, тост во славу русского оружия.

Боб Борисович, усмехнувшись, взглянул на Сереею и на краю стола выбил дробь костяшками пальцев.

Сереей не любил высоких слов. От частого употребления, к месту и не к месту, их значение, впитавшее когда-то кровь, стерлось в сознании многих. Выражать ими чувства считалось неловко. Торжествовала ирония. Но Сереей не боялся показаться смешным, он уже давно понял, что, хотя человеческая жизнь во многом зависит от того, что о тебе говорят и думают другие, сущность человека зависит от этих суждений ровно настолько, насколько красота тела зависит от одежды.

Одернув одной рукой мундир и держа в другой руке рюмку, которую Алексей Михайлович тут же наполнил, Сереей медленно встал и сказал, отделяя слова:

— Я хочу выпить за Красную Армию, за Советскую Армию, за моего тезку,— он повернулся к Бобу Борисовичу и посмотрел ему в глаза,— который погиб на Ленинградском фронте, хочу выпить за вас, Борис Борисович. Красная Армия — эта та единственная армия, в рядах которой я готов умереть...

Все закричали, зашумели, поднялись, потянулись к Сереею чокаться. Валера под самым его ухом гаркнул:

— Ура!

Сереей чокнулся с Бобом Борисовичем и протянул рюмку к Алексею Михайловичу, но тот уже лихо, залпом осушил свой фужер и, вдруг расхохотавшись, бросил его об пол. Раздался звон разбитого стекла.

Все притихли и с удивлением посмотрели на него. Алексей Михайлович поднял руку, приглашая к вниманию.

— Я сейчас вспомнил,— сказал он,— как во Франции, в одном городке на юге, года два назад я и еще несколько товарищей зашли в кабачок, заказали вина и сидим, разговариваем; настроение прекрасное — дела почти все сделаны, весна, самое начало, такое мягкое,— он прищелкнул пальцами, желая найти подходящее сравнение,— как северные диалекты. Прелестная весна... Вдруг подходит хозяин и говорит, вставляя пару русских слов, что хочет выпить с нами. Приносят другое вино, другие бокалы; хозяин сам всем наливает и говорит: «Пью за вашу армию, за Сопротивление». Выпиваем. Чудесное вино. И хозяин швыряет бокал об пол, а за ним, немного помедлив, и мы. Вдруг я оглядываюсь и вижу в дверях хозяйку. И лицо у нее такое, будто ей уксусу поднесли вместо бургундского — жаль ей посуду. Мне неудобно стало, вот, думаю,

здоровые дураки, называется, к тосту присоединились. Бокалы хорошего стекла, зеленоватые такие, а трактир-то, судя по всему, небогатый. Но хозяин перехватил мой взгляд и посмотрел на жену прямо-таки свирепо, плоское толстое лицо его побагровело.— Десять бутылок четырнадцатого года, Жанетта! — крикнул он жене. Тут же принесли десять бутылок непривычной формы, пыльных, запечатанных как-то особо. Хозяин вытер их, открыл сразу все... Уходили мы оттуда уже под громогласную «Катюшу». Денег хозяин не только не взял, но, когда мы предложили, обиделся, как мальчик... Вдали от дома, за границей, такое отношение всегда трогает. Так я это все к чему? К тому, что вы, дорогие друзья, оказались менее экспрессивны; после меня никто не бросился колотить стекло... Вот что такое южное солнце...

Но не успел он кончить, как Валерка Рыжов размахнулся и кинул рюмку. Все зашумели, засмеялись, оторвались от закусок. Включили музыку и пошли танцевать, похрустывая стеклом. Вошла домработница тетя Настя и стала веником подметать осколки между танцующими.

Сереей хотел подойти к Лене, но ее пригласили танцевать. Нина позвала танцевать его.

— У тебя отличный отец,— сказал Серееа, ведя ее в танце между другими так, чтобы быть поближе к Лене.

— Он не бережет маминую память,— сказала строго Нина.— Женщины, все другие женщины... «Дочери часто ревнуют отцов»,— подумал Сереей.

— У каждого свои недостатки,— сказал он стандартно.

— У него и раньше были... — сказала Нина и осеклась.— Но сегодня все-таки отлично. Весело, и все свои. И ты приехал. Хочешь, я тебя поцелую, а Алешка с ума сойдет, вызовет тебя на дуэль.— Она засмеялась.— Как тебе Ленка, она сегодня отлично выглядит. Правда?

— Да,— сказал Серееа.

— Ты что же, с ней не поздоровался еще?

— Целый год впереди.

Тягучая музыка кончилась, и мгновенно началась другая, металлическая, взвинченная. Часть гостей сразу перестала танцевать, пары перегруппировались.

В центре осталось двое. Этого танца Серееа еще не видел.

— Это рок? — спросил он Нину.

— Шейк...

— Ребята, ребята, да вы не так танцуете! — закричал Алексей Михайлович. Он за руку вытащил из круга наблюдающих Лену, встал, ожидая момента, чтобы поймать ритм, и начал.

Чуть, словно в «цыганочке», подергивая плечами, двигая руками, будто при беге, Алексей Михайлович то приседал, одновременно откидываясь всем телом назад и головой пытаясь достать пола, то распрямлялся и, отставляя ноги, гнулся в бок. Он был похож на тюленя, который перебирается по льдине от одной лунки к другой. Лена только прищелкивала в такт пальцами и слегка двигала ногами.

7 Сереей вышел в коридор. «Покурить», — шепнул он Нине. Он закурил и заглянул в зеленую комнату. Там никого не было. Он подошел к коллекции и стал ее внимательно разглядывать, отдыхая от шума, музыки и пестроты лиц. Он не заметил, как вошла Лена.



— Здравствуй,—сказала она от порога, так, словно они расстались только вчера.— Что одиночествуешь?

— Здравствуй. Ты случайно не знаешь, как называется эта бабочка?— спросил Сережа, указывая на переливающуюся красавицу.

— Какая, эта?— спросила Лена и положила руку на стекло коллекции.

Рука у нее была тонкая и загорелая, и на безымянном пальце четко выделялся след от кольца.

«Обручальное»,— уколола его тревожная мысль. Он хотел спросить, но оттого, что он так подумал, трепетное ожидание ее и нарочитое спокойствие при встрече вдруг превратились в безразличие. «Обручальное, так обручальное,— решил он так спокойно, что чуть было не зевнул,— мне что за дело».

— Подсемейство Морфины, вид Менелай, место обитания — Южная Америка, тропики. Летаёт обычно над лесными дорогами высоко над землей, вроде, все, — сказала Лена.

— А эта голубая, с коричневыми листиками?

— Парусник Улисс. Тебе идет эта форма. Ты вообще хорошо выглядишь.

— Какие странные названия: Менелай, парусник Улисс. Если бы у меня была такая возможность, я бы ездил и ездил по разным странам.

— Что это у тебя на лице?— спросила она и осторожно коснулась его щеки.

— Парусник Улисс...— повторил он, пугаясь ее прикосновения и одновременно приходя в непонятный восторг.— Здесь все люди, люди. Я так устал, что думаю сейчас только о том, чтобы встряхнуться. Пошли погуляем?— предложил он неожиданно.

— Метель,— сказала она,— вьюга. И потом кто же тебя встряхивать будет?

— Не надо. Пошли...

— Как же мы уйдем, неудобно.

— А мы вернемся. Только погуляем. Без шума, по одному уйдем, сперва ты, а я прикрою отступление с тыла.

— Хорошо, уйдем по-английски, не прощаясь, но вернемся обязательно...

III

1 Снег валил крупными искрящимися хлопьями. Когда Сергей вышел из подъезда, немного пьяный, улыбающийся, в распахнутой шинели, и пошел, шагая широко и размахивая руками, то Лена вдруг почувствовала, как ощущение беззаботности и легкости жизни, которого она давно не испытывала, овладело ею. Лене показалось, что волосы выбились из-под ленты; она откинула капюшон шубки, сняла варежку и поправила их, пригладив, ничего, впрочем, не изменив.

Массивная парадная дверь ухнула за спиной Сергея. В первое мгновение он не заметил Лены. «Ушла»,— обожгло его. Но уже в следующую секунду он увидел под фонарем ее легкую фигурку в светлом рое снежинок. «Ждет, ждет, ждет»,— часто забило у него сердце.

— Еле вырвался...— выдохнул он, разбегаясь и подкатывая к ней по узкой полоске наледи.

Они молча пошли к набережной. Было странно видеть, как асфальтовую ленту мостовой, обычно зимой черную от непрерывного движения машин,

сейчас, словно тихую полевою дорожку, засыпает снег.

И эта непривычная пустыньность города, и метельная глухость, и плавающие в снежных вихрях светлые, холодные пятна фонарей, и сознание того, что на километры вокруг в пространстве, заполненном домами, миллионы людей пьют вино, танцуют, смеются, целуются, празднуют давным-давно придуманный час разделения жизни на прошлое и будущее, а они, Лена и Сергей, в это время идут по улице в январской ночи, вызвали в каждом из них чувство обособленности от людей и близости друг к другу.

Он попытался взять ее под руку, она отстранилась и сама сунула ему руку под локоть. Это был ее прежний жест, решительный, но необходимый, который Сергей не забыл и который заставил его вспомнить ее такой, какой она была когда-то и какой ее хранила его память,— худенькой девчонкой, одного ласкового взгляда которой ему хватало на неделю счастливой жизни.

Наискосок через мостовую, будто сносимые невидимым течением, они перешли к парапету набережной. Налево, завешанные снежной пеленой, были те дома и тот мост, взрыв которых Сергей видел во сне сутки назад. Вино кружило ему голову.

— Я видел сон,— сказал Сергей для того, чтобы что-нибудь сказать.

— Ах,— сказала она, заглядывая ему весело в лицо,— и солдатам снятся сны.

— Я видел во сне, как начиналась война...

— Ну что же иное может сниться солдату, Сережа?— сказала она, отнимая у него свою руку и сгребая снег на парапете.— Ты меня не удивил.

Он подумал, что она сейчас кинет в него снежок, и приготовился отклониться, но она бросила снег в тихо всплескивающую, грифельную, масляно-тяжелую воду.

— Застегнись,— сказала она,— ветер сырой.

Она протянула руки, чтобы застегнуть верхний крючок шинели. Он сильно взял ее за кисти и притянул к себе. Лена удивленно посмотрела на него, и брови ее, на которых мерцали бисерные капли тающего снега, круто сошлись к морщинке на переносице.

Сергей смутился и отпустил ее руки.

— Так ты веришь снам?— спросила Лена.

— А этой осенью чуть война не началась, честное слово. Помнишь, на Кубе?

— Да брось ты, какая война! Неужели люди — дураки?!

— Как говорится, хотите, верьте, хотите, нет, а у роддома, где я появился на божий свет, бомба упала, по стабилизатор в землю вошла, и ничего, не взорвалась. Говорили, что взрыватель не сработал, кто-то в него бумажку положил там, в Германии. Это был не дурак... Не улыбайся... Когда целому народу заморочили голову, сохранить в себе здравый смысл ой как нелегко! Дураки люди или не дураки, черт знает. Главное, чтобы самим в дураках не остаться. А для этого нужен...— Сергей показал кулак.

— Постой, слышишь, на том берегу поют...

С другого берега доносились обрывки песни и хлопотный звук проезжавшей машины.

— И все-таки нельзя так.— Лена искоса посмотрела на него и, передразнивая, потрясла кулачком. «Я заболтался, она смеется надо мной... Только этого не хватало...» — подумал Сергей и решил, что будет молчать, но тут же сказал:

— Если по большому счету, то надо же иметь что-то главное: устои, стержень, что-то такое...

— Как у тебя?
— Да брось ты, Ленка!
— Все говорят, говорят. Слова! Как декорация на пустой сцене, и ничего не происходит,— сказала Лена с внезапным раздражением.

— У тебя что-нибудь случилось? — спросил он, удивляясь тону ее голоса.

Та восторженностью, которая овладела им после того, как они остались одни, сменилась настороженностью.

«Мы не виделись почти три года,— подумал он с подступающей трезвостью,— а я, как мальчик, резвлюсь и думаю: все по-прежнему — мило и ясно».

Но ему не хотелось трезветь и спрашивать ее о чем-нибудь, потому что он чувствовал: любой разговор о том, как она жила эти три года, сделает их чужими,— и боялся этого.

Они проходили под мостом, и он крикнул:

— Лена!

И эхо гулко откликнулось:

— Эна!

«Я ее сейчас поцелую,— решил он с внезапным отчаянием.— Или сейчас, или никогда».

Над их головами прогрохотал трамвай. Лена схватила его за руку, и они выбежали из-под моста.

— Терпеть не могу этот звук,— сказала она.

2 Ветер сменил направление. Пахнуло горечью дымов Мосэнерго. Снежные хлопья слепили глаза. Сергей снял ремень с мундира, застегнул шинель на все крючки и туго перепоясался.

Справа высилась темная громада строящегося здания гостиницы, кое-где обозначенная малиновыми огоньками.

Они остановились на одном из выступов набережной. Лена стала спиной к реке. Сергей, сложив ладони в горсть, ловко закуривая, спросил:

— Не куришь?

— Страшно с парашютом прыгать? — спросила Лена.

— Не, это не то, что без парашюта...

— Серьезно...

— Волнительно, как сегодня артистка говорила. Знаешь, словно на лифте поднимаешься и проскакиваешь этаж, который ждешь.

— А у вас бывали...

— ЧП-то? Было раз. Парень товарища спасал; попал ему в стропы, ветром затащило, запутался. Посыпались они кубарем; Андрей Золотов, который в стропы чужие попал, ножом свои стропы у самых лямок отхватил, а запаску раскрыть не успел,— земля... А второй — нормально, приземлился.

Сергей вспомнил июньское жаркое утро, просторный луг — площадку приземления, стихающее гудение самолета, бешено мчащийся по кочкам в сторону леса бронетранспортер и командира полка, стоящего в нем без фуражки.

— Ты бы так смог? — спросила Лена и тут же сама ответила: — Наверное, смог бы.

— Сударыня,— расшаркался перед нею Сергей и низко поклонился,— благодарю вас, недостойн...

Шапка упала, когда он усердно кланялся. Снег сыпался на его короткие темные волосы. Ей захотелось погладить эту колючую, словно седеющую на глазах голову.

«Господи, почему я так несчастна, почему именно я? — подумала она, чувствуя, как на глаза навертываются слезы.— Не хватало еще разреветься перед ним. Ему, наверное, уже сказали, что от меня ушел

муж, что я теперь одна с сыном. Что он сейчас думает? Жалеет? Он был влюблен в меня. Как он старался всегда рассмешить... и шоколад... Не надо самой себя жалеть, и другие не будут. У меня все отлично. Я счастлива...»

— Пошли,— почти скомандовала она Сергею, нагибаясь, чтобы поднять его шапку.

Он тоже нагнулся в этот момент, они столкнулись и отпрянули друг от друга.

Они двинулись дальше по набережной, к Кремлю. Впереди висел тяжелый трехпролетный Москворецкий мост.

— Что же ты думаешь делать? — спросила Лена.

— Если ты спешишь назад, давай возвращаться, если еще куда-нибудь — поймем такси,— сказал Сергей сухо: он не понимал, почему она вдруг почти побежала.

— Да нет, я не спешу.— Лена пошла медленнее.— Что ты думаешь делать после армии?

— Или в институт опять поступлю, или на завод подамся.

— Мне раньше казалось, что не имеет значения, где и как человек работает. Но теперь я понимаю, что нельзя махать лопатой и читать Хемингуэя, и главное — даже не читать, а чувствовать,— сказала Лена, радуясь тому, что ей удается сделать разговор отвлеченным.

— При чем здесь Хемингуэй? — возмутился Сергей. Как будто высшее образование — пропуск к пониманию жизни. Со всех сторон твердят: вуз, вуз, вуз! Если человек таскает мраморные плиты, так это не значит, что он строит Акрополь. И если человек работает мозгами, то это не означает еще, что он творец и что только он имеет талант чувствовать жизнь.

Снег попал ему в рот, и он закашлялся.

— А в армии?

— Что в армии? Не думай, что там только о службе и говорят... Широкий диапазон — от Вселенной до печной кладки.

— Конечно, на всем готовом легко вам там разговоры вести.

— При чем здесь это? Разве ты сама не видишь, что люди, а особенно девчонки, заражены какой-то тряпичной лихорадкой? Меняются моды на платья, туфли, мебель, телевизоры. И страшного-то ничего бы и не было, если бы это не становилось необходимым, как еда. Если девица, а то и парень не обуты в какие-то особые туфли, то для них все: земля не вертится, и человеками они себя уже не считают.

— Совсем не так: просто женщине, чтобы на нее смотрели, чтобы ее замечали, надо одеваться со вкусом, красиво. Да так всегда и было.

— А зачем тебе, чтобы тебя все замечали?

— Ну, надо быть женщиной, чтобы это понять,— засмеялась она.— Приятно просто. А ты, мне думается, говоришь так, потому что еще не нашел себя. Вернешься из армии, втянешься в обычную жизнь, и все для тебя будет в порядке вещей. Тоже будешь внутренне гордиться: я, мол, диссертацию защитил, или что-нибудь в этом роде. И костюмы будешь хорошие носить.

Они зашли под мост.

Здесь было светло. И это светлое пространство с двух сторон окружали зыбкие стены снегопада.

— Как красиво! — сказала Лена и взяла его под руку.— Пойдем на Красную площадь.

— Неудобно,— сказал Сергей,— я в форме и на веселе. Лучше пройдемся под стеной.

3 Светофор у Беклемишевой башни монотонно вспыхивал желтым огнем. Казалось, что огромный тигр-невидимка моргает, готовясь к прыжку.

Лена и Сергей перешли на другую сторону к стене и пошли под ней.

Снегопад внезапно прекратился, светлая городская туча оборвалась, в разрыве обнажилось черное небо, забрызганное звездами.

— Помнишь, как мы на Красную площадь салют ходили смотреть? — спросила Лена. — Народу, прожектора... А после залпа светло и зеленовато; и тени сперва укорачиваются, а потом длиннеют и гаснут вместе с ракетами. И белые лучи, аж упругие, начинают метаться по небу.

— Помню... И залпы считали и всегда на один-два ошибались. И порохом пахло кисло-кисло. Я на стрельбище часто салюты вспоминал, там сырой ночью после стрельбы такой же запах.

— А как мы с тобой на Первое мая потерялись, вспоминал?

— Ага.

— Я тогда плакала. Ты цветы принес, вместе шли, и вдруг ты исчез. Так обидно было!

Ему стало радостно оттого, что она помнит все это.

— А совсем раньше, в классе втором, бегали смотреть, как Сталин из Спасских ворот выезжает. Еще, помню, милиционер отгонял: «Дети, дети, мне за вас отвечать. Марш по домам!» Так ни разу и не увидели. Зато Ворошилова однажды видели, а потом в школе дружно ввали, что он нам рукой махал.

— Странно сейчас вспоминать.

4 Лена никогда не видела кремлевские стены так близко. Прежде они казались ей чем-то цельным, словно старательно покрашенными ребенком в одну краску. Вблизи кирпичная стена была похожа на соты, плотно забитые личинками. Понизу шла выпуклая, округлая белокаменная кайма. Сугробы почти касались ее, и кое-где захлестывали. Сама стена поворачивала от башни к башне в такт изгибу реки.

Малые башни различались величиной, но все были покрыты чешуйчатыми скатами почти отвесных крыш, с которых свешивались золотыми сосульками узорчатые опояски. В углу между стеной и выступом одной из башен лил из-под зубцов зябкий свет фонарь, и узкое, в лад бойниц, черное окно с толстыми переплетенными решетками таинственно зияло.

— Хорошо, — сказала Лена, — так идти долго-долго... Как ты думаешь, отчего люди бывают злыми?

— Злят их, вот и злые.

— А я читала... — сказала Лена и, отпустив руку Сергея, попробовала покружиться на узкой тропинке, но тут же оступилась и провалилась одной ногой в глубокий снег. — Ерунда... — сказала она и пошла дальше впереди Сергея. — Я читала, что животные, когда их становится много, заболевают какой-нибудь одной болезнью и хиреют. У людей, наверное, так же: их стало много, и сердца постепенно черствеют.

— В детстве, когда мне приходилось туго, — сказал Сергей, — я мечтал найти волшебную палочку и оживить Ленина, чтобы он помог и хлебные карточки найти, которые я потерял, и продавицу наказать, которая меня вечно обвешивала, и перед ребятами постарше во дворе заступиться.

— А я мечтала, что стану королевой, и у меня будет много-много слуг, и они мне будут разгрызать семечки и ядрышки складывать в кучки, чтобы я подходила и ела.

Сергей засмеялся.

— Хочешь, я через стену снежок переброшу? — спросил он и, сняв перчатки, сбил в ладонях плотный снежок.

— Не надо, — попросила она отчего-то шепотом, оглядываясь на стены. — Неудобно.

— Загадывай: если я переброшу, — сказал он, заранее зная, что перебросит, — то...

Он размахнулся, кинул, и снежок, на мгновение зависнув над плавными зубцами, упал за стеной. И в этот момент часы на Спасской башне пробили свое, упругое и родное.

Лена поежилась.

— Замерзла?

Она покачала головой.

— Ты не спешишь? — снова спросил он настойчиво, будто ответ «Спешу» мог осчастливить его и он его добивался.

Она положила руку на обшлаг его шинели, и они пошли дальше по белой мягкой дороге медленно, словно увязая.

5 Так, мимо разбросанных неравномерно голых узловатых тополей и прутиками над снегом торчащих кустарников, они дошли до Водовозной башни. Белокаменное округлое основание ее выпирало, будто стремясь к реке. Лена остановилась и, закинув голову, посмотрела на башню, сильно укороченную оттого, что они стояли прямо под ней, и на два алых в черном небе луча огромной звезды, которая выглядывала из-за этих мощно устремленных ввысь плавных и правильных нагромождений камня. Капюшон шубки у нее упал, и волосы рассыпались.

Сергей поддержал ее за плечи и вдруг привлек к себе и поцеловал, уже не думая о том, обидится она или нет, хорошо это или плохо, а чувствуя лишь невозможность сдерживать себя.

Она почувствовала его теплые губы, и как иной раз в лесных сумерках куст можно принять за человека или зверя, так и сейчас давнее чувство легкой влюбленности, которое в юности коротко и обще именуют «нравится», вновь прихлынуло к Лене и показалось ей чем-то необычным и прекрасным.

И потом уже она продляла это мгновение, говоря мысленно Сергею все нежные и ласковые слова, которые знала.

Московские переулки расплетались перед ними. Снова пошел снег.

Сергею годы в армии представлялись сейчас чем-то уже давным-давно бывшим, а вся его прошлая доармейская жизнь спрессовалась с сегодняшним вечером, и уже не было для него ничего удивительного в том, что он идет сейчас с Леной по зимней, приглушенной снегопадом и новогодней ночью Москве.

Над дверью подъезда, тускло освещенной слабой лампочкой, висела белая эмалевая табличка «Номера квартир». Твердый знак торжествовал и Сергей удивился живучести вещей; людей давно нет, а табличке с черными буквами и цифрами хоть бы что.

— Спасибо, вот мы и дошли, — сказала Лена, — я была рада тебя повидать.

Сергей молчал, и от этого молчания Лене сдела-



лось не по себе, и в то же время было приятно, что он не уходит.

— Ты не заблудился? — спросила она.

— Я провожу тебя до квартиры, — сказал он просяще и настойчиво.

— Не стоит.

— А вдруг там кто-нибудь стоит, пьяный какой-нибудь; тебя напугают, — сказал Сергей.

И ему захотелось, чтобы в подъезде действительно кто-нибудь стоял и чтобы напали. Он вообразил ход драки, и кулаки его сжались.

— Как хочешь, — сказала она отчужденно и открыла дверь.

Время остановилось для них где-то здесь, на темной площадке четвертого этажа, между пролетом лестницы, стеной, исчерченной мелом, и дверьми с карманами почтовых ящиков. Они стояли у обжигающе горячих батарей отопления.

— Не надо, — шептала она убеждающе, стараясь оттолкнуть его. — Ты сейчас спустишься вниз и пойдешь домой.

Он молча целовал ее в замуренные глаза.

— Ты хочешь, чтобы я была несчастлива?

— Не говори так... я...

Она закрыла ему ладонью рот.

— Молчи...

Он прижал к губам ее холодные, дрожащие пальцы и со сладостью вдохнул ацетоновый запах свежего лака.

6 Он проснулся и не понял, где он... В первое мгновение ему показалось, что он спит на втором этаже двухъярусной армейской койки. Сергей уже хотел сделать привычное движение — перевернувшись на живот, свесить ноги и, отжимаясь на руках, прыгнуть на пол, но тут же все вспомнил и притих. Он услышал бойкое тиканье часов и легкое дыхание Лены. Боясь пошевелиться, он скосил на нее глаза. И подушка, и ее лицо на подушке, и волосы, и откиннутая рука расплывались в темноте, мягко сливаясь с нею. Ему захотелось увидеть ее лицо ближе; он затаил дыхание, поднял голову, чуть подвинулся и посмотрел на нее в упор. Глаза ее были прикрыты веками так неплотно, что казалось, она не спит. Губы были сжаты, нижняя чуть оттопырена, а верхняя была похожа на туго натянутый лук. Желание поцеловать ее боролось в нем с боязнью ее разбудить, и оттого ему яростно захотелось затянуться сигаретой.

Сергей выскользнул из-под одеяла. Форточка была открыта, и тянуло по ногам. Он нащупал в кармане шаровар сигареты и спички, подошел к окну и закурил, сложив ладони ковшиком, чтобы прикрыть свет спички.

Из окна седьмого этажа были видны бескрайние крыши, которые топорщились, как внезапно замерзшие волны.

Сергей любил Москву — бесконечный и светлый город, дома, улицы, люди которого были его родиной. Как для иного человека родина — это изба,

где он родился, сад, поля за околицей, шумная летняя березовая роща, так для Сергея в это понятие и чувство где-то там, в детстве, были вложены этажи, тополиный пух на булыжнике в переулке, лязганье трамвая, пустые осенние парки, река в каменных берегах, мчащиеся машины, толпы людей и еще многое другое, отчего у непривычного человека кружится голова.

Комната состояла как бы из двух комнат. Два шкафа и занавеска между ними делили ее пополам. Когда он вошел сюда, то не думал о назначении перегородки, а сейчас его взяло любопытство. На цыпочках пройдя по скользкому, холодному, хорошо натертому полу, Сергей подошел к занавеске, отвел ее рукой и пыхнул в темноту дымом сигареты. Взгляд его сразу наткнулся на пустую детскую кровать, в углу которой, как на ринге, стоял крупный плюшевый медведь.

«У нее ребенок, — поразился Сергей. Он вспомнил след от кольца у Лены на безымянном пальце правой руки. — С мужем разошлась, наверное...»

Праздник, в котором он жил последние сутки, внезапно оборвался.

Сигарета погасла. Сергей почиркал спичкой и снова закурил. Руки у него дрожали.

«Эх, я болван, болван, языком трепал и ничегошеньки не спросил! Рвался к ней, настаивал... и хоть бы словечко: ну, как ты тут? Салага! — думал он в отчаянии. — И что я утром говорить ей буду?.. Глупо как... и стыдно».

И в то же самое время, когда он так думал, мысли о ней и каком-то неведомом ему мужчине подступали к его сердцу холодной и злой волной ревности. И он уже не корил себя, но чувствовал обиженным и обманутым.

— Значит, у нее есть муж, а я так... — думал он теперь.

Сергей вспомнил, как осенью, после поступления в университет, они с Леной поехали за город на дачу к его приятелю. Дача пустовала. Шли дожди. Они приехали с последней электричкой и, пока разыскивали в запутанном дачном поселке нужный дом, промокли до нитки. Грелись у печки, сидя спиной друг к другу. От каждого ее прикосновения у него бешено билось сердце, и его смирляли только нежность и сознание собственной силы и ее беспомощности. Потом было утро, и он ожесточенно, до посинения и дрожи, купался в реке, покрытой гусиной кожей дождя, а после учил Лену метать нож в черные, промокшие стволы толстых сосен.

И потом, когда ему бывало трудно и одиноко и, чтобы преодолеть себя, надо было на что-то опереться в мыслях, Сергей вспоминал то дождливое воскресенье, Лену, запах ее просыхающих у огня волос и тукот дятла в глубине леса.

Несоответствие этого давнего, живущего в нем и возникшего сейчас чувства и положения, в какое он попал, и выход из которого — разговор с Леной — считал невозможным и стыдным для себя, заставили его бесшумно нашить свою одежду с одной мыслью: быстрее уйти.

«Хорошо было у Мусатовых хватать хозяина за руку, а попробуй уговорить себя, что все нормально, что просто двадцатый век», — думал он, напяливая шаровары, сапоги, мундир.

Он боялся, что Лена проснется, и втайне желал этого.

Но Лена не спала. С рождением ребенка она привыкла спать очень чутко, и даже теперь, когда мальчик подрос и ночью почти не просыпался, она все еще не могла не прислушиваться во сне к каж-

дому его движению. Она видела, как Сергей заглянул за занавеску, и по тому, как долго не зажигались у него спички и как он чертыхнулся, она поняла, что он ничего не знал. Лена, прищурясь, смотрела, как он одевается, с остервенением влезая в сапоги, и чувствовала, что вот-вот расплачется.

«Так бывает всегда, — думала она, сжимая кулачки, — когда хочешь, чтобы было всем хорошо, чтобы все были счастливы, и сама остаешься на бобах. Он уходит от меня, как от девки какой-то. Ну и пусть, пусть уходит... Пусть думает, что хочет...»

Сергей, крадучись, подошел к двери; она не выдержала и громко сказала:

— До свидания.

Сергей остановился, обернулся.

— Кто у тебя: девочка или мальчик? — спросил он глухо.

— Мальчик.

— А муж у тебя кто?

— Ты его не знаешь. Да, он ушел. Тебе, что же, наши мальчики не успели выложиться?

— Да, вот как-то так вышло.

— Он ушел к другой, — сказала она особенно это слово, — нас тоже иногда осчастлививает, приходит гулять с Сашенькой.

По тому, как она говорила, он понял, что она продолжает думать о муже и, возможно, еще любит его. Сергею стало неприятно.

— Ну, ладно, — буркнул он, — я пойду... Ты извини.

— Не уходи сейчас, — сказала она, и голос ее дрогнул. — Мне будет плохо.

7 Сизое утро втягивалось в город. По липкому молодому снегу Сергей возвращался домой.

По пути ему попадались галдящие компании. Лица, бледные после вина и бессонной ночи, были еще оживлены. Но веселье их казалось уже натянутым и подогревалось только тем, что эти девушки в щегольски легких праздничных туфельках и юноши в ухарски распахнутых пальто шли вместе и хотели показать друг другу, что вино их не берет и что они готовы продолжать эту бесшабашную праздничную жизнь бесконечно.

В сравнении с ними Сергей, туго подпоясанный, в ладной шинели, в сапогах, удобно облегающих ноги, чувствовал себя сосредоточенным и серьезным взрослым человеком.

«Что они понимают в жизни?» — думал он, глядя на то, как две девчонки пытаются столкнуть в сугроб парня.

Сергей проходил мимо зеркальной витрины парикмахерской и посмотрелся в нее. На него глянуло узкое, бледное молодое лицо в лихо сдвинутой на правую бровь ушанке, брови были нахмурены, губы плотно сжаты, и на щеке красовался незаживший шрам — след обморожения.

Он пришел домой и лег спать в надежде сократить время до отхода поезда, но когда проснулся, был еще совсем день, мягко освещенный снегом.

Сергей решил пойти в кино, а заодно где-нибудь перекусить. Билет он взял на детские мультфильмы, до начала сеанса оставалось время, и он пошел в кафе.

Через весь зал были протянуты разноцветные флажки, змейки серпантина. На маленьком пятачке эстрады стояла елка, мигая стеклянным салютом лампочек. Для оркестра было еще рано, но музыка звучала непрерывно; едва успевала кончаться мелодия, как кто-нибудь подходил к музыкальному автомату и опускал монету.

Плыл едкий табачный дым. Почти все столики были заняты. Люди жили уже в новом году. Сергею удалось отыскать свободный столик. Он сел, и сразу подошли двое: лысый, полный мужчина и дородная, до снежной белизны напудренная женщина.

— Не занято? — спросил мужчина, любезно наклоняя голову.

— Нет, — сказал Сергей.

— Вы позволите?

— Конечно.

Подошел официант — маленький молодой человек в форменном сером фраке с бабочкой, остриженный так коротко, как стригут солдат на первом году службы.

— Что бу...бу...дем зака...а...зывать? — спросил он, сильно заикаясь.

— То бу...бу...будем заказывать, — потирая руки, весело передразнил его мужчина, — что у вас в наличности лучшее имеется.

Официант покраснел так, что на глазах у него выступили слезы. Он отошел за карточкой.

— Вы, гражданин, — сказал Сергей зло толстому мужчине, — чего издеваетесь над человеком?

— А вы кто такой? У вас какие права? Вы почему людям отдыхать мешаете? — посыпал тот вопросы.

— Не волнуйся, Витя, — сказала дама и накрыла белой пухлой рукой его руку.

— Обожди, обожди, — выкатывая глаза на Сергея, расходился лысый гражданин, — ведь солдатам, рядовому составу, запрещено посещать кафе и рестораны; безобразие... Патрулям таких хулиганов надо сдавать.

«Ах, ты, контра, — подумал Сергей, — тебе чуть дай волю, так ты горчицей физиономии мазать будешь!»

— Вы, законник! Пересядьте-ка на другой стол, чтобы чего не вышло, — сказал он, стараясь говорить спокойно.

— Витя, пересядем, зачем связываться, ты только посмотри на него, — сказала дама, обхватывая Витю под руку и поднимая.

Лысый Витя встал, как бы уступая своей спутнице.

Сузившиеся маленькие глаза его должны были обозначать угрозу. Ретируясь, он говорил в пространство:

— Демократия все. Распустили солдатню. Покушать спокойно нельзя в своем государстве.

Сергей не смотрел на них и не отвечал. Он складывал из бумажной салфетки кораблик.

8 Поезд уходил в двадцать три ноль-ноль. На часах было уже без десяти, а Лена все не приходила. Сергею не хотелось и страстно хотелось ее видеть.

Он подбросил монетку и загадал: если орел, то придет. Выпала решка. Метель снова разыгралась. Мимо спешили последние пассажиры, и некоторые провожающие, кутаясь от ветра в воротники, уже уходили с перрона. Сергей направился к вагону и вдруг услышал, как его окликнули. Лена в своей белой шубке с откинутым капюшоном, с красной ленточкой, стягивающей надо лбом распущенные волосы, стояла и смотрела на него. Она была так хороша, так мила ему, большеглазая, тоненькая — девочка, что у него мелькнула шальная мысль остаться.

— Это тебе, — сказала она, подходя и протягивая ему цветы, обернутые в блестящий целлофан. — Ты извини, я не могла; Сашеньку у мамы обкормили конфетами и... Ты уезжаешь?

Он взял ее за плечи и притянул к себе. Она щекой прижалась к жесткому ворсу шинели и вдруг заплакала навзрыд, как маленькая.

— Ну, что ты, что? — спрашивал он растерянно. — Хочешь, останусь?

Пожилая женщина, пробежавшая с мешком мимо, приостановилась.

— Чего реवेशь, девка, чай не на фронт!

Поезд тронулся. Лена чуть оттолкнула Сергея от себя. Он побежал и вспрыгнул на ступеньку какого-то вагона. Проводница оттирала его вовнутрь, а он все выглядывал.

Лена стояла на перроне, уносимая от него движением поезда и снегопадом.



Владимир
Белкин

Полдень

Памяти матери

Все грузней сума воспоминаний,
легковесней туесок надежд.
Острой настороженностью раня,
подошел полуденный рубеж.
Отойду задумчиво в сторонку,
на траву присяду у плетня,
развяжу заплетенную котомку —
что там накопилось у меня!
Журавли призывно прокричали,
звонкий свет глаза мои ожег,—
выплыли перроны и причалы
в путанице тропок и дорог.
Половодье воли молодецкой!
Гром железный за Ишим-рекой!
Вот он из совхоза «Москворецкий»,
первый гвоздь, что вбит моей рукой.
Мастерком постукал я досыта.
Помолчу. Работу огляжу.
Дивногорск, как собственного сына,
бережно в ладонях подержу.
Я не отживался по закутам.
Пел и дрался. Падал и взлетал.
И, свою судьбу ломая круто,
сам ее я заново ковал.
Только забывал, как почтальонов
мама ждет сквозь тысячи ночей.
Ветер и теперь, листая клены,
шелестит, как письмами, над ней.
Знаю, из котомки подорожной
мне укоров горьких не избыть.
Ни строки прибавить невозможно,
ни пятна на совести не смыть.
Потому придирчивей и строже
я живу, как будто бы несущий
каждый час, что мной сегодня прожит,
на высокий материнский суд.
Родина, земля моя родная!
Ты глядишь в глаза мои в упор.
Грозовые тени раздвигая,
выхожу в полуденный простор.
Отыщу я чудо-деревушки,
дивные открою города.
Только бы лукавая кукушка
мне считала долгие года...

☆

«Вначале было Дело...»

Мох. Сосны. «Гражданстрой».
Брели мы оробело
корежистой тропой.

Мечтателей лобастых
встретили, звеня,
железные лопаты,
чугунная земля.
Начало, как начало,
как тысячи начал.
Отчаянье качало
палатку по ночам.
Но улицей вставала
таежная тропа,
и резче проступала
сквозь дым моя судьба.
Каленая. Крутая.
Колочая, как еж.
Не лестью побеждая,
а яростным «Даешь!».
В какой грязище ноги
тонули, бог ты мой!
А нынче снится многим
мой город голубой...
Как из туманов белых
и сосен-щеголих
восходит он —
и дело, и жизнь моя, и стих.

☆

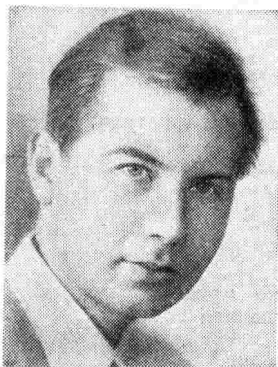
Глина. Камни. Лопата. Лом.
Бьем траншею, мокры и рыжи.
А в ушах: «...из земли мы вышли
и обратно в землю уйдем...»
Он, как глина к ногам, навяз,
он доводит меня до рвоты,
этот слышанный вскользь не раз,
непреложный закон природы.
Ознобляющим холодком
дышат недра в лицо апрелю.
Взмах за взмахом, штык за штыком
ухожу я медленно в землю.
В грады древние не ведут
эти глинистые ступени.
Только злые смутные тени
запрессованы прочно тут.
И мне чудится неспроста:
опускаюсь в хищную пасть я.
Хлопнут челюсти — и тогда
до костей моих докопайся!
И с овчинку стал небосвод.
Но берет в оборот работа,
оставляет один исход:
озаренье седьмого пота!
И откатывается вспять
все, что душу мою сгибало,
И, покачиваясь устало,
из земли выхожу опять.

☆

Ручей до дна
смородиной пропах.
Но есть еще в нем
пресный привкус снега.
Через колодник
верткая тропа
легко и круто
прыгает с разбега.
Премудрая старушка тишина
следит за ней сторожко из-за кочки.
Как в спичечной головке, в каждой почке
искринка солнца заморожена.
Поклон тебе, весенняя земля!
И вещим снам и помыслам высоким...
Поют в стволах ликующие соки,
и вторит им живая кровь моя.

И я стою неслышен. Чуть дышу.
Врастают в землю ноги, словно корни,
и ветки гибких рук над кряжем горным
все выше и свободней возношу.
В лицо ударил ветер горячо.
Но это все могло уже присниться:
как солнца вечеряющая птица
садится мне на левое плечо...

□ □ □



**Алексей
Шлыгин**

Весна на границе

В Рязани плещет шелковая зелень,
А здесь, по утверждению солдат,
Весна обмундировывает землю
В зеленое сукно, как интендант.

У соловьев чуть хрипловаты трели,
Как голоса у запевал-солдат.
И надевают тополя шинели,
Как будто собираются в наряд.

В Рязани аромат садов пьянящий,
А здесь пропахли порохом цветы,
И солнце по утрам, как разводящий,
Обходит пограничные посты.

Мои товарищи

Пока планету вой сирен тревожит,
Суровой службе их не выйдет срок.
И, как поэт, никак уснуть не может
Военный пограничный городок.

Жестокою
Свинцовую пургу
Они готовы встретить в час любви.
У них бессрочна ненависть к врагу,
У них бессрочна к Родине любовь.

Ложатся наши судьбы им' на плечи.
И, видно, есть особый в том резон,
Что эскадрильи звезд пятиконечных
Всегда на взлетных полосах погон.



**Николай
Добронравов**



Он под Минском в лесах партизанил,
он вогнал трех эсэсовцев в гроб,
а сегодня

у сына экзамен,
и его прошибает озноб.

Он глаза, чтоб не выдали, щурит,
нервно борт пиджака бережет,
и все курит,

все курит, все курит,
вспоминая мальчишкой себя.

Общежитье.

Бурду с чечевицей.
Неуютный студенческий быт.

«Раньше
легче нам было учиться», —
он себе в оправданье твердит...



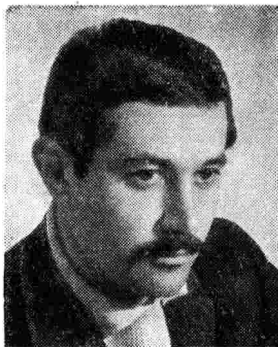
К чему нам богатства и моды!
В футболе,

по горло в пыли,
шагали тридцатые годы
дорогами юной земли.

Я помню военные марши
и добрый утесовский джаз.
И все-то нам было нестрашно,
все солнечно было у нас.

В коммуноу неслись ошалело
глядящий с экрана Чапай,
герои крылатые в шлемах,
и алый, как знамя, трамвай.

А в сердце —
плакаты, парады
и первый щемящий испуг,
нас утро встречало прохладой
уже недалеких разлук.



Мансур
Бекилов

Азиз дияр¹

Азербайджан!
Купель огня,
Гряда несокрушимых башен.
Я твой навеки,
Ибо я
Из праха твоего заквашен.
Во мне, как терпкое вино,
Твой дух струится по излукам.
Возвысь, низвергни — все равно!
Лишь не казни меня разлукой.
Но если все ж в недобрый час
Узор твой звездный скроют тучи,
Он из моих погасших глаз
Не вытечет слезой горючей.
И как бы ни был я далек
От очага, где пышет лето,
Моих озябших губ упрек
Не поколеблет пламя это.
Купель огня!
Азиз дияр...
Ты вдохновенье мне вернула.
Ты, драгоценней всех тиар,
Вкруг головы моей блеснула.
Уступами горячих скал,
Тугими кольцами песка
И струнным лепетом мугама.
Певучей вязью винных лоз
И обнаженным жаром роз,
И — в гончем иступленном гаме —
Копытцами летучих коз.
Азиз дияр!
Мой дом,
Мой кров.
Я вновь протяжными глотками
Пью первородный чистый пламень
Твоих бессонных очагов.
И невесомой струйкой дыма
В тиши безлиственных ночей
Моя душа
Почти незримо
Парит над кровлею твоей...

Мугам

Мугам течет, как медленная мука...
И каждый нерв пронизывает дрожь,
как будто на глазах хоронят друга,
а ты, бессильный, плачешь
и поешь.

¹ Азиз дияр — милая страна, родина.

Теснятся стоны в узком горле тара.
Ну, отчего, скажите,
отчего
заключено лишь горе в песне старой
и страха стыд
и боли торжество!

Когда скорбит поэт —
скорбит планета.
Деревья, камни,
вечер и рассвет.
Нетрудно разгадать тоску поэта:
когда скорбит народ —
скорбит поэт.

Священна боль народа.
Ни слезинки
не осушить беспамятным ветрам.
Как шар земной,
вращается пластинка.
Рыдай, мугам,
пытай меня, мугам!

Я слышу:
корни корчатся во мраке
врагами обескровленной земли.
Я вижу:
маки, огненные маки,
как капли крови,
над землей взошли
под горькие напевы Физули...

Осенний полет

Запрокинул голову и замер.
Просветлело празднично во мне.
Круг за кругом
плыли пред глазами,
опадали листья в тишине.

Распрощавшись с голубой стихией
и с землею слиться не спеша,
хлопья света,
хрупкие, сухие,
падали,
тихонечко шурша.

Сколько раз, ловя порывы ветра,
в блещущие глянец паруса,
эти листья храбро рвались с веток
покорять чужие небеса.

И, хмелея от певучих соков,
от тепла распахнутых широт,
затаенно верили, что смогут
вечно длить пленительный полет.

Но сейчас, свободно направляя
взмахи одинокого крыла,
каждый понял:
цель совсем иная
их в полет мучительно влекла.

В миг, когда в ветвях иссякли соки
и свободу листья обрели,
каждый понял свой удел высокий —
возвратить,
что взял он у земли.

Геннадий
Калиновский



ПОВЕСТЬ

ЗАКОН СТАЛЬНОГО КЛЮЧА

Рисунки Е. Расторгуева.

КАСТРЮЛЯ НА СОЛНЦЕ

Все было впервые. Впервые она тайно от матери удрала из дома. Собрала днем чемодан и оставила на столе записку. Записку, скажем прямо, торопливую и невразумительную:

«Дорогая мамочка! Иначе я не могла. Я улетаю в Каракумы. Верю, ты поймешь. Жертвовать мне нечем. Тут ты ошиблась. Умоляю: не волнуйся! Жди большого, большого письма. Целую тебя очень и очень! Твоя дочь».

Впервые летела на самолете и впервые увидела верблюдов не в зоопарке, а прямо на улице поселка Карабай. Они шли цепочкой и покачивали головами, словно снисходительно здоровались со встречными людьми.

А полчаса назад она впервые в жизни стала подчиненной. Ее направили в распоряжение шеф-повара центральной базы экспедиции усатого Курбан-дурды.

Все эти «впервые» вместились в очень короткий срок. Меньше чем в двое суток.

Сначала они долетели до Ашхабада, а из Ашхабада на десятиместном «АН-2» до поселка на границе пустыни. Туда должны были прийти машины с грузом, и все «рыцари», вне зависимости от звания и рангов, срочно необходимы были в Карабае в качестве грузчиков.

Почти всю дорогу Меред Непесович не покидал Люсю и Юру, взял на себя роль добровольного гида и особенно темпераментными объяснениями разразился в Карабае:

— Вот наша центральная база! Штаб! Мозг! Сердце! Легкие нашей экспедиции! Трамплин для открытий!

«Трамплин для открытий» выглядел весьма обыкновенно. Просто большой, широкий двор, обнесенный глиняными стенами; вдоль стен прилепились небольшие домики, тоже из глины; в одном углу гараж, в другом — ремонтные мастерские. Пахло теплой пылью, перемешанной с бензином, и сердито тарыхтел движок электростанции.

Рядом, километрах в трех, клубился густой зеленью поселок Карабай. Из зеленых волн садов и виноградников стремительно взлетали вверх неподвижные стрелы пирамидальных тополей.

— Последние деревья! — торжественно произнес Меред Непесович. — Дальше пески и пески. Сотни километров песков! Ни людей, ни жилья... У нас любят поговорку, — продолжал Меред Непесович, — «Тот народ богат, у кого вода и пустыня». Пустыни много, воды пока мало. Будут колодцы — и оживет пустыня.

Вконец уставшая от воздушного перелета, с еще

Окончание. Начало см. в № 1 за 1970 год.

не утихшим гулом в ушах, придавленная жарой, Люся вяло спросила:

— Ее засеют?

Юра фыркнул, Меред Непесович вежливо улыбнулся.

— Зачем? Пустыня — прежде всего пастбища. Бесконечные голые пески без растительности — только в кинофильме «Тринадцать». Наши чабаны очень ждут от нас водопоев.

Меред Непесович помолчал и предупреждающе поднял палец.

— Кстати, по секрету. У нас девять буровых отрядов, и у меня имеется предположение: ближе всех к цели, ближе всех сейчас к воде Лена Стрельцова. Она перед отъездом в Москву начала контрольную откочку. Не зря она раньше нас сюда вернулась.

— И какой дебит? — оживился Юра и недовольно пробурчал: — А мне она ничего не говорила...

— Умный человек раньше времени не хвастает, — прищурился Меред Непесович. — Непройдённая дорога еще может упереться и в овраг. Пора! Машину!

Во двор базы с сиплым ревом один за другим вползали седые от пыли грузовики.

Двор мгновенно ожил. Засуетились, забежали люди, появился неизвестно куда пропавший с первой минуты прилета Тит. Он заорал на весь двор:

— Эй! Радиоаппаратура! Подворачивай ко мне!

А тетя Паша неожиданно возникла возле Люси и положила ей руку на плечо.

— Определяю тебя на кухню. Пошли!

— На кухню? — Люся растерянным взглядом проводила Юру. — Я... Я не умею... Я дома не готовила...

— И рожать первый раз не умеют, — отрезала тетя Паша. — Но люди не переводятся. Пошли! Пошли! Некогда мне!

Кухня снаружи выглядела роскошной беседкой. Вместо стен от самой земли до легкой крыши сплошной завесой протянулись побеги винограда. А внутри этой беседки все кипело, шваркало на сковородах, резко пахло жареным луком и бараниной. Большой холодильник, словно чудом перенесенный сюда из московского «Гастронома», сверкал эмалью и никелем, как бесспорный символ двадцатого века.

— Вот тебе, Курбандурды, помощница, — сказала тетя Паша толстому повару в халате и в папахе, низко надвинутой на лоб.

Курбандурды расплылся в широченной улыбке и энергично потряс Люсину руку двумя пухлыми ладонями.

— Ай, спасибо! Ай, спасибо, девушка!

— За что?

— За то, что ты красавица! За то, что твои глаза — бездонные озера, твои губы — рубины, твои волосы...

— Довольно! — перебила тетя Паша. — Помолчи! Сколько раз я тебе говорила: в папахе ходи на свидания! А на кухне изволь одеваться по форме. Где колпак?

Курбандурды вздохнул и виновато заморгал.

— Жарковато, тетя Паша...

— Не слышала и слышать не хочу! — Считая разговор оконченным, она повернулась к Люсе и строго предупредила: — Курбандурды — твой единственный и непосредственный начальник. Поняла?

Тетя Паша исчезла, а повар достал из кармана халата поварской колпак, разглядел его на колени и снял папаху.

— Давно с ней знакомы, — опять вздохнул он. — Строгая женщина! Но нашу работу на первое место ставит! Не так, как другие! Без формализма!

Курбандурды с неожиданной для его комплекции резвостью забежал от холодильника до шваркающей плиты, быстро-быстро заговорил, энергично жестикулируя короткими ручками:

— Знаешь, девушка, эшелон горел! В сорок втором! Зимой! В степи! Реку Донец знаешь? Вот там горел. Я поваром был. Командир молодой, совсем без усов, растерялся. Прыгает, кричит, какие-то документы спасать хочет! Я, знаешь, встал, вот так, авторитетно встал! Встал и объяснил: «Кухню надо спасать, товарищ командир! Кухню спасем, людей спасем. А документы новые напишут». Что после было, знаешь?

Курбандурды перевел дух, сделал великолепную, напряженную паузу.

— Нет, — покачала головой Люся.

— После мне медаль дали! — взвизгнул, захлебываясь от удовольствия, повар. — Медаль «За боевые заслуги». А командиру ничего не дали! Совсем ничего!

Несколько минут Курбандурды трясло от беззвучного хохота, по его мягким, похожим на подушки щекам прокатились крохотные слезинки.

Вдоволь насмеявшись, он тщательно вытер лицо полотенцем и бодро ткнул пальцем в угол, где громоздились одна на другой здоровенные алюминиевые кастрюли.

— Рабочую посуду видишь? Конечно, видишь! Знаешь, надо брать тряпку, брать песок, и чтоб полная чистота! Копоть — враг здоровья! В пустыне, знаешь, песком моют. Воды жалко. У нас воды хватает, и будешь делать все правильно: почистишь песком, кипятком обкатишь. Ответственное задание, честно говорю!

Люся обрадованно кивнула: заниматься кулинарией не придется.

Она сняла верхнюю кастрюлю, вынесла ее к проходу, опустилась на колени и, захватив в пригоршню горячий песок, рьяно принялась за дело.

Спустя пять минут стало ясно, что обрадовалась она преждевременно. Мелкий песок протекал струйками сквозь пальцы, скрипел на круглых боках кастрюли, а «враг здоровья» — копоть продолжала вызывающе чернеть. На ее бархатистой поверхности оставались лишь тонюсенькие, едва заметные царапины. Но зато Люсины руки в одно мгновение оказались в саже по самые локти.

Украдкой покосившись на повара, хлопотавшего у плиты, Люся невесело усмехнулась.

«Девятнадцать лет, среднее образование, москвичка, данные современной девчонки. А кастрюля не по силам!»

Но не обращаться же к Курбандурды за помощью! Стыдно! Она снова зачерпнула песок и с яростью, почти с ожесточением заскрипела по черному алюминию. Ладони сухо и противно зашербовали, остро кольнуло в мышцы возле плеча. Теперь результаты начали постепенно сказываться, и Люся весело подумала:

«Терпение и труд все перетрут! Или я, или кастрюля! Не сдаваться!»

На первую кастрюлю она потратила не меньше часа. Строго следуя инструкции Курбандурды, она обдала ее кипятком и поставила наконец сушиться, повернув дном к солнцу.

Курбандурды оторвался от плиты, нагнулся к кастрюле, словно обнюхал ее, и восторженно прищелкнул языком:

— Тцэ! Молодец! Честно говорю! Зеркало! Можно бриться! Ты всегда такая старательная!

Похвала толстого повара заставила Люсю покрас-

нет, она неожиданно смутилась и, пряча лицо, поспешно принялась за вторую кастрюлю.

Если разобраться, она впервые за свою жизнь сделала какую-то полезную для других работу.

Юра появился возле кухни внезапно, его ковбойка была расстегнута, дышал он тяжело и часто, волосы свалились от пота и пыли.

— Блеск! — Он присвистнул и пнул носком кастрюлю. — На кухню, по-моему, ты не нанималась. Приедет Павел Николаевич, я с ним поговорю. Не переживай!

— Ты чудак! — Люся поднялась и с удовольствием потянулась, разминая спину. — А на что ты надеялся? Я же подсобный рабочий: подай, принеси, вычисти. Правильно, товарищ Курбандурды?

— Нет, — хмуро покачал головой повар. — Неправильно. Если человек работает с душой, — это уже не обязанность. Это называется честность.

— Вот как? — Юра с интересом посмотрел на Курбандурды. — Народная поговорка или сказал древний поэт?

— Я сказал! — мрачно отрезал повар.

— А неплохо! Честное слово, неплохо! — оживился Юра и протянул Курбандурды руку. — Моя фамилия Лагунин. Я начинаю понимать Мерета Непесовича. Туркмения — удивительная страна! Мудрость на каждом шагу!

Курбандурды весь засветился, его недружелюбие мгновенно исчезло.

— Самая лучшая страна! Беляша хочешь?

— Спасибо! — Юра, обжигаясь, перебрал с ладони на ладонь круглый рыжий пирожок. — Я помчался! Эй, ухнем, грузим-разгружаем! До вечера!

Сегодня был перелет Москва — Ашхабад, сегодня была болтанка на тупоносом самолете от Ашхабада до пустынного поселка. С неба сейчас давит непривычная, похожая на горячую вату жара, но Юрка оставался Юркой. Он бежал к автомашинам по всем правилам, легко и упруго отталкиваясь от земли, словно собирался выиграть на соревнованиях стометровку. Его распахнутая, расстегнутая до последней пуговицы ковбойка пузырилась из-под локтей двумя клетчатыми крылышками.

— Любишь? — услышала Люся над своим ухом шепот Курбандурды.

К своему изумлению, она не рассердилась, не вспыхнула, а повернулась к повару, взглянула в его хитрые и одновременно переполненные добродушием глаза-щелочки, спокойно сказала:

— Да. А разве у меня на лице написано?

— Обязательно написано! — снова взорвался от восторга повар. — Я наблюдательный! Знаешь, какой наблюдательный! Из меня охотник мог получить, разведчик, следопыт по пустыне. Да вот... — Он со вздохом поднял на животе халат и широким жестом короткой ручки обвел кухню. — Техника заела...

— Веселый вы человек, Курбандурды! — засмеялась Люся.

— И знаешь... — доверительно продолжал повар. — Он тебя тоже любит. Я сначала обиделся: болтает парень чепуху! Глупый парень! Знаешь, из тех, что думают: булки, как виноград, растут. Пришел, сорвал, маслом намазал, проглотил и никому спасибо не сказал. А после я разобрался. Он заботится о тебе, боится за тебя. Полегче работу тебе найти хочешь. Ай!

Одна из многочисленных сковородок грозно зашипела.

Курбандурды бросился к плите, в несколько секунд ликвидировал катастрофу и, стирая с ши-

рокого ножа обуглившиеся луковицы, серьезно закончил:

— Я его понял. Мужчина должен понимать мужчину. Обещаю: пока ты невеста, пока ты у меня в подчинении, времени у тебя на любовь хватит. Теперь давай картошечки почисть. Справишься?

Она справилась с ведром картошки и безропотно перемыла с полсотни жестяных мисок с остатками еды...

Невероятный, ни на что не похожий день внезапно, без всякого намека на сумерки, превратился в густую ночь, сразу ярко и крупно над головой вспыхнули звезды. Легкий, едва ощутимый ветерок прошепестал по виноградным листьям, стало легче дышать.

Опять прибежал Юра и скомандовал:

— Точка! Пошли! Прилетел Павел Николаевич и зовет к себе московскую группу.

Люся стрельнула в сторону обрадованными глазами и ответила:

— У меня есть непосредственное начальство. Подчиняюсь только ему.

Повар сдернул с головы колпак и шутливо погрозил пальцем.

— Разве я забыл? Я обещал: времени у тебя хватит.

В длинной, вытянутой вроде коридора комнате на столе сидел профессор Бармин и болтал ногами, обутыми в брезентовые сапоги.

На соседнем столе устроился Мерет Непесович, а тетя Паша стояла у окна, дымилла неизменной тоненькой папироской.

— Располагайтесь! — широким жестом пригласил Бармин. — Предыдущий начальник увез все стулья из камералки. Столы оставил, чертежные доски тоже, но стулья, видимо, его слабость. Я вас не задержу. Я хочу...

— Разрешите? — просунулась в дверь борода Тита. — Разрешите отсутствовать, Павел Николаевич? Мне ночью надо успеть выйти в эфир, заявить о нашем существовании. Некогда!

— Валень! отсутствуй! — благодушно отмахнулся от радиста Бармин.

Люся не узнала профессора. Не верилось, что этот человек мог совсем недавно скользнуть по ней равнодушным взглядом, холодно обрезать Юру и величественно удалиться с огромным, как саркофаг, портфелем.

На столе болтал ногами совершенно другой Бармин. У этого Бармина пряталась под усами лукавая усмешка, глаза озорно поблескивали, рукава голубой сорочки были заливчатски закатаны один выше другого, вместо монументального портфеля на коленях лежала обшарпанная армейская планшетка.

— Сметы, анкеты, бюрократы — все позади! — сказал Бармин. — Начинается настоящее дело. Довожу до вашего сведения: Мерет Непесович назначен моим заместителем по научной части. В общем, вице-президент и начальник штаба. Тетя Паша, как всегда, — главная по продовольствию, и не советую портить с ней отношения. Ну, а вы... — Он строго сдвинул брови, посмотрел на Люсю и не сдержался, захохотал. — Не ожидал! Честное слово, не ожидал! Хвалю за настойчивость! Теперь не подведите! Чур, не сбегать! Тетя Паша, оформите с ней побыстрее договор. Узаконим, возьмем в тиски трудовой дисциплины. Вот и все. А теперь отдыхать, и не медленно!

Бармин спрыгнул со стола, хлопнул себя по лбу.

— Да! Вот вам свежие газеты! Купил в Ашхаба-

де все подряд. Сюда почта, к сожалению, приходит на третий день.

Люся тоже взяла газеты и, выйдя из камералки, машинально взглянула на последнюю страницу. Внизу в правом углу в черной рамке была напечатана короткая, какая-то очень знакомая фамилия. Она не сразу поняла, на секунду остановилась, неизвестно зачем, развернула газету и снова сложила, разгладила ее ладонью.

— Юра! Видишь... Смотри...

Юра прочел и поморщился:

— «Скончался скоропостижно». Значит, инфаркт. Обидно и глупо! Главный спец по сердцу — и все равно скоропостижно.

— Лагунин! На минуточку! — позвал из конца коридора Бармин.

— Я быстро! Погоди. Не волнуйся.

Люся прислонилась к стене и тупо уставилась на одну-единственную лампочку под потолком.

Самуил Львович мертв. Мертв! Он лежит маленький, в черном костюме с жилеткой, пенсне сняли: зачем теперь ненужные стекляшки? Его зароят в землю на Новодевичьем кладбище, а может, сожгут в крематории, все, что останется, запакуют в урну, похожую на большую фарфоровую чашку...

— Что с тобой, подсобница?

Тетя Паша взяла Люсю за плечо, повернула к себе, требовательно посмотрела в глаза.

— Понимаете, тетя Паша... Умер... Умер...

Ну как ей объяснить про Брока? Запинаясь, она пробормотала:

— Доктор один. Мамин учитель. Вот, в газете напечатали...

Тетя Паша газету не взяла, спросила строго:

— Хороший человек был?

Люся не ответила. Да и что она могла ответить? Хороший Брок или плохой? Об этом она никогда не задумывалась. Он был для нее неотъемлемой частью детства и юности. Он заменял одновременно отца и деда...

— Пошли, пошли, — снова взяла за плечо Люсю тетя Паша. — Тебя на постой ко мне определили. Тебе отдохнуть надо.

В маленькой комнате, в глинобитном домике возле проходной экспедиционного двора, стояли две раскладушки, туристский столик на алюминиевых ножках и одна-единственная, грубо сколоченная табуретка.

В распахнутом настежь оконце, по размеру не больше нормальной форточки, чуть пузырилась от ветерка марля.

Марля и побеленные известкой стены сразу напомнили больницу. Люся присела на раскладушку и закрыла глаза.

— Ну! Ну! Не раскисай! — прикрикнула тетя Паша. — Разверни спальный мешок. Небось, и спального мешка не видела! Значит, вынь вон то белое приспособление, вроде конверта детского. Вкладыш называется. В нем и спи. В мешок залезать не стоит: упаришься.

Уже в темноте, забравшись в прохладный, пахнущий свежим бельем вкладыш, она захотела что-нибудь сказать заботливой старухе, хотя бы нормальное, вежливое «спасибо». Но сказать не смогла. Не хватило сил.

Тетя Паша заговорила сама. Заговорила необычно, словно продолжала начатый со середины рассказ:

— ...На пароходе их везли. Детские дома с Кавказа. В Махачкале погрузили и везли на Астрахань. Ребятишки, девчонки — чижики стриженные. Голодные, конечно, а им весело: на пароходе по морю.

Интересно! В полдень аккуратно немец их и накрыл. Три самолета на детвору и на пароход без пушек. Никто не спасся. Муж мой там Семен Гаврилыч — боцман и сын Колька — моторист. Буй теперь стоит на месте гибели. Мигает красным огоньком. Чтобы другие корабли не споткнулись. Красный огонек да море...

Старуха неожиданно закашлялась подозрительно громким кашлем и умолкла.

Люся подождала и тихонько спросила:

— И у вас никого-никого, тетя Паша? Совсем?

— Из родственников, что ли? Признаться, так и не знаю толком. Вроде в Иркутске сестра двоюродная. Я с ней последний раз в девичестве встречалась. Пробовала я и замуж выйти. Не получилось. Не составилось счастье. Может, он и любил меня, да уж чересчур по-своему. Выпьет, бывало, рюмку и все добивается: «Скажи да скажи, лучше я твоего боцмана или нет?» Не соображал дурень, что к памяти не ревнуют, память берегут. Прогнала я его и к геологам подалась. Еще в сорок седьмом...

— А почему именно к геологам, тетя Паша?

— Ну, сперва случайно! — усмехнулась старуха. — Павел Николаевич у меня на овощной базе в Астрахани картошку получал. Душевно поговорил со мной, тоску в глазах заметил. А народ с ним веселый был, молодой. Рассчиталась я с базой и поплелась за ними на Мангышлак, Устюрт и сюда, в пески. Тем и спаслась. Ведь на любой другой работе отслужил свое и домой. А у меня пустая квартира. Закрою дверь, сяду перед окошком, и выть хочется. Одна-одинешенька! Так и нырнула бы под тот буй с красным огоньком, чтоб и не вынырнуть. В экспедициях иное. Днем на людях, вечером на людях и ночью покоя не имеешь. Вот и нету у тебя времени на слове это проклятое — «одиночество». Что же это я? Собралась тебя утешить, а сама панихиду развела? Плохой из меня утешитель! Баба, она и есть баба. Про чужое горе услышит, свое обязательно прибавит. Спи! Завтра чуть свет разбужу. Спокойной ночи!

— Спокойной ночи, тетя Паша!

Устраиваясь поудобнее, старуха два-три раза повернулась в спальном мешке, и спустя всего несколько минут Люся услышала ее ровное, спокойное дыхание...

Сквозь затянутое марлей оконце просвечивала недавно всплывшая в небе луна. Громче и отчетливее, чем днем, стучал движок передвижной электростанции, где-то далеко в поселке лениво лаяли собаки.

Как сказала тетя Паша: «Красный огонек да море»?

Люся зажмурилась, и огонек стал похож на опустившуюся яркую звездочку, тревожно и одиноко вздрагивающую на волнах...

Что там сегодня с мамой? Она придет с похорон одна, совсем одна...

Ох, и не вовремя она сбежала из дома! Сегодня ночью они бы сели с мамой на диван, крепко-крепко обнялись и поплакали бы вдвоем вволю...

Завтра она проснется раньше тети Паши и немедленно напишет маме письмо. Нет! Сначала она отправит телеграмму. Длинную, в которой все про себя расскажет, попросит прощения. Денег, правда, ни копейки, но ничего, выкрутится, у кого-нибудь займет...

Люся открыла глаза и насторожилась. Ни единого звука, кроме лая собак, не доносилось с улицы. Окошко по-прежнему непроницаемо и мутно белело марлей. И все же она почувствовала, что за ок-

ном стоит человек. Она не испугалась. Она сразу поняла, кто этот человек.

Стараясь не скрипнуть раскладушкой, Люся прямо на ночную рубашку набросила халат, сунула ноги в тапочки и осторожно приподняла марлю. За окном стоял Юра.

Она отбросила проволочный крючок на дверях и благополучно выскользнула — тетя Паша даже не пошевелилась.

Юра взял ее за руку, и они, крадучись, прошли через проходную мимо сладко похрапывающего на скамейке вахтера, бдительно сжимавшего коленями покосившуюся набок берданку.

— Ты знаешь... — начал Юра.

— Молчи! — перебила она его громким шепотом и крепче сжала руку. — Молчи! Прошу тебя, молчи! Она боялась сейчас только слов. Боялась, что все слова, существующие в мире, сейчас не годятся, все они прозвучат фальшиво...

Главное, Юра не мог, чтобы она теперь оставалась одна. Он пришел не утешить, он пришел разделить ее несчастье. Они с Юрой одно целое, они родные, они почти семья...

...Они спустились с холма к арыку, разняли руки и гуськом по хлипкому, вздрагивающему под ногами мостику из жердей перебрались на другой берег...

Здесь начинался колхозный сад поселка Карабай. Между деревьями на взрыхленной земле лежали белесые пятна лунного света, причудливо исчерченные вдоль и поперек резкими тенями от ветвей.

По-прежнему лениво лаяли собаки, стучал движок, и еще прибавилось глухое ворчание арыка...

Они присели под яблоней с широкой, низко нависшей кроной, и Юра нетерпеливо обнял ее, поцеловал.

Люся, вся переполненная благодарностью к нему, обвила рукой его шею, ответила на поцелуй...

— Не надо! — испуганно прошептала она, вдруг ощутив, что Юра по-новому, непривычно для нее уверен и требователен, даже безжалостен в своей требовательности...

...Из сада они возвращались, когда исчезла луна и в сером, предрассветном небе робко замерцали звезды.

На мостике из жердей Люся остановилась, круто повернулась к Юре, мостик скрипнул, зашатался над шумящей водой.

— Теперь я тебе жена, да? Настоящая, да?

— Навсегда, — ответил он и бережно поцеловал ее в глаза. — А слез не надо. Слез у тебя быть не должно. Никогда...

В комнате тетя Паша продолжала мерно и тихо дышать. Ее большие руки тяжело и неподвижно лежали поверх вкладыша.

Люся спала всего часа два, и снился ей нелепый сон. По двору на Малой Бронной металась начищенная до блеска кастрюля и ослепительно сияла, словно второе, спрыгнувшее на землю солнце...

«БЕЛОГОЛОВЫЙ МАЛЬЧИК»

(Из дневника Юры Лагунина)

После Москвы я впервые взялся за свою тетрадь. Сегодня две недели, как я в Карабае, а в душе растерянность, пустота и злость. В день приезда, после совещания на столах, Бармин подозвал меня в коридоре и сказал:

— Лагунин, я вам поручаю структурную скважину. Она прикреплена к Непесову. Будете работать под его руководством.

И началась моя «работа»!

Скважину заложила еще предыдущая экспедиция. Они воткнули ее рядом со штабом, метрах в пятистах от дувала базы, и «доверие» ко мне Павла Николаевича Бармина заключается в том, что он решил использовать меня в качестве самого паршивенького коллектора на парафинировании образцов.

Мои трудовые подвиги начинаются с облачения в какую-то рвань, гордо именуемую спецодеждой. Я наспех глотаю завтрак и иду к самодельному длинному столу возле скважины.

Главное в моем хозяйстве — здоровенный казан с парафином. За ночь парафин застывает, я развожу огонь, и парафин зловеще булькает, вздувается жирными пузырями, брызгает на штаны.

Потом я беру услужливо приготовленные для меня буровиками цилиндры керна, заворачиваю их в вощеную бумагу, макаю в казан малярную кисть и обмазываю образец. Работа изящная, тонкая и требующая полного, напряженного интеллекта!

Иногда появляется Меред Непесович в ослепительно белом костюме и руководит мною.

— Брак, — осторожно указывает он на образец и заводит волынку: — Ты отлично знаешь, Юра, что через малейшую трещину в парафиновом слое проникает воздух, и образец становится негодным для анализа.

— Виноват! Переделаю! — охотно соглашаюсь я и с размаху опускаю кисть на образец.

Парафин радостно чавкает, разлетаются брызги, и случается, кандидат наук не успевает отскочить, считая со своих ослепительных белых брюк блямбу.

Но мой научный руководитель ни разу не выругался, ни разу не повысил голоса. Только произносит укоризненно, почти ласково:

— Спокойнее надо, Юра, спокойнее.

В ответ я вздыхаю:

— У нас разные темпераменты, Меред Непесович...

Научный руководитель удаляется, а я усердно должно оправдывать доверие доктора геолого-минералогических наук Павла Николаевича Бармина. Оправдываю и размышляю: за что он меня послал на парафин, чем я перед ним провинился?

И чем я сейчас отличаюсь от Люси? Она чистит кастрюли — я мажу парафином керн. Вот тебе и способный студент, любимчик профессора Бармина!

Правда, Люся — молодец, она и вида не подает, что я оказался в одинаковом с нею положении. Она удивительно быстро прижилась здесь, не унывает, не жалуется, вечно чем-то занята, о чем-то хлопочет.

Прибежит на минутку к моей адской кухне с кипящим парафином и скороговоркой дбявит:

— Вечером айда купаться! Я нашла на арыке, за поворотом, у карагача, такое место! Тишь и гладь! Москва-река!

Вдоваков Люся в курсе всех культурных мероприятий поселка:

— Сегодня в колхозном клубе картина старая. Не пойдем.

Или:

— В четверг самодеятельность. Вход свободный. Начало в восемь.

Обидно! Честное слово, обидно! Я ее собирался опекать, приучать к бытовым трудностям, а получилось все наоборот. Ну, какая уж тут опека, когда через каждые два-три дня слышу от нее категорическое приказание:

— Снимай рубашку, давай майки! Мы с тетей Пашей бак поставили! Генеральная постирушка.

Еще донимает Тит. Здесь он на гитаре не играет, песен не поет, но острит по-прежнему. Никак я не разберу его отношения ко мне. Похлопает по плечу, ухмыльнется и вдруг стрельнет злым взглядом — вздрогнешь! Вроде покровительствует — и одновременно я ему не по душе.

Как-то минут за пять до обеденного перерыва он возник у моего стола в роскошной рубашке сплошь в голубях мира.

— Кончай колдовать, алхимик! Есть рацпредложение — игнорируем столовую и топаем на рынок к Овезу, ударим по шашлыку.

Обычно мы обедаем вместе с Люсей, она обязательно заходит за мной. Прибежала она и теперь, но увидела Тита и круто повернула назад.

Радист посмотрел ей вслед и усмехнулся.

— Странное явление! Не находишь?

— Какое?

— По морде получил я, а обижается она. Ну, пошли!

Не знаю почему, но я поплелся за радистом. Нас кормят отлично, вполне можно обойтись и без шашлыка, а вот на тебе, поплелся. Наверное, все мне осточертело: изо дня в день парафин, столовая, опять парафин.

Базар в Карабае на самой окраине. Мы уже бывали здесь с Люсей.

Крытые ряды, величественные библейские патриархи, смуглые женские руки в кольцах и браслетах перебирают гроздья винограда.

Но одно дело — наведаться на рынок с Люсей, и совсем другое дело — пройти между рядами с Титом.

Ушлый радист и здесь дома. Все его знают, со всеми он знаком. На ходу отщипнул у изумрудной горы виноградину, пожевал и прищелкнул языком:

— Якши! Садап-эдже, заверни пару килограммчиков. На обратной дороге захвачу.

В чайхане, как только Тит опустился на ковер, сам узколицый Овез поставил перед нами блюдо с шашлыками на шампурах и протянул радисту письмо.

— Тебе, борода.

Тит повертел конверт, но читать не стал.

— От Женьки, по кличке «Лошадь». Радист у нефтяников. Большой специалист по женскому полу. Замучили тебя, Овез?

— Ой, не говори, борода! — воскликнул Овез. — Машина подъезжает, и никто не просит: «Овез, дай чаю», «Овез, дай шашлык». Все просят: «Овез, дай письмо!», «Овез, передай письмо!» А я переживаю. Я нервничаю. Письма боюсь перепутать! Я чайханщик, мне чай подавать надо. Я министру связи жалобу хочу написать. Пускай на почту письма несут!

— Кто же тебе виноват! — хохотнул Тит. — Поставил чайхану на перекрестке дорог!

Овез возразил:

— Каких дорог, слушай! Пески рядом, пески! Десять лет назад одна машина в три года подъезжала. Сами, слушай, дорог наделали, а мне отвечай? Обязательно министру напишу! Еще шашлык захочешь — мигни!

Мы ели с Люсей у Овеза шашлыки. Ели и не догадывались, что чайхан — почтовый ящик для геологов. Да и не могли догадаться. Никто нам письма не передаст, и нам некому передавать.

Сознаюсь, я впервые позавидовал радисту. Мне тоже захотелось получить письмо вот таким необычным способом и, не читая, небрежно засунуть в карман...

— Ты что не ешь? Парафин унаглотался?

Я провел ладонью по горлу и подтвердил:

— По завязку.

— Конечно, конечно! — закивал Тит, взял новый шампур и впился зубами в сочное, с хрустящей корочкой мясо. — Человек ехал совершить небольшой переворот в геологии, а получил казан с парафином.

— Ты меня хочешь спасти от парафина?

— Нет. От излишних переживаний. Вспомни: «Для каждого щенка есть свое глубокое место».

Я усмехнулся:

— Выплыву!

— А я бы и не торопился на твоём месте покидать Карабай, — с ехидной многозначительностью сказал Тит и поднялся. — Дождешься по дороге. Трудовая дисциплина прежде всего.

От базара до штаба экспедиции мы шли молча. Вернее, Тит что-то беззаботно мурлыкал себе под нос, а я молчал. Настроение у меня было препаришное.

Но у дверей радиостанции он вдруг предложил:

— Загляни ко мне этак часиков в двадцать два. Есть предположение: сегодня из песков вернется Павел Николаевич. Риски потолковать с ним насчет парафина.

Вот и пойми бородатого черта! То он ехидно советует не расставаться мне с Карабаем, то сразу набивается в благодетели!

В двадцать два ноль-ноль я вторгся в царство бога эфира Тита Титыча Бесоногова. За маленьким столиком, заваленным ворохом радиogramм, сидели Бармин и Тит. Шеф поздоровался со мной весьма приветливо:

— А, Лагунин! Рад вас видеть! Что на скважине?

Разве можно после делового вопроса о твоей работе с ходу начать жаловаться: недоволен, не туда, мол, меня назначили, будь она проклята, ваша скважина! Нельзя, конечно!

Только я начал обстоятельно докладывать, как дверь распахнулась (ей-ей, будто в квартире на улице Станкевича!), и в радиорубку вошел твердым, широким шагом золотой дед. От яркой, стосвечевой лампы золотились мелкие кольца каракуля на его огромной папаше, под густыми, вразлет бровями отсвечивали золотом прищуренные глаза, на груди, на продольной зеленой полосе халата, сверкала звездочка Героя Социалистического Труда.

Я запнулся на полуслове, а Бармин мигом вылетел из-за стола навстречу деду:

— Алты!

— Салам, Акбашбала, салам!

Они обнялись, троекратно расцеловались, и шеф тронул себя пальцами за виски:

— Ну, брось! Какой я теперь «белоголовый мальчик»? Видишь...

— Вижу — седой, — улыбнулся Алты. — Седой — все равно белый. Мы тебя тогда правильно называли. На много лет вперед не ошиблись. Салам, Тит!

Он пожал руку Титу и мне.

— Твой новый помощник?

— Пока ученик. Тит, чаю! — Бармин подмигнул Алты. — Или чего-нибудь покрепче, а?

Огромная папаша качнулась из стороны в сторону:

— Изо всех заповедей корана я признаю одну.

— Ох! — шутиливо вздохнул шеф. — Самую вредную! Не употреблять спиртного. Садись, садись, Алты!

Бармин подвинул ему стул и быстро-быстро загворил по-туркменски. Алты что-то ему возражал, улыбался, потом предостерегающе поднял крупную, смуглую ладонь.

— Нехорошо, Акбашбала! Двое беседуют — двое не понимают. Неужели.

Павел Николаевич сконфуженно пробормотал:

— Извините... Я сказал Алты, что его имя Золотой оправдалось. Я его еще не видел со Звездой Героя.

— А я ему ответил, — Алты отхлебнул из пиалы чай, — я ему ответил: мои отары пили воду из твоих колодцев. Моя награда — твоя награда.

— Ну, а язык я не забыл? Замечаний нет? — с наивным самодовольством спросил Бармин. — Ты ведь мой первый учитель.

— Ты не можешь забыть наш язык. Не имеешь права. — Золотистые глаза под густыми бровями потемнели. — Ты мой побратим. Побратим Алты.

«Ого! — подумал я. — Этот дед с бородой полумесяцем совсем не веселый философ Курбандурды! Личность! Взял вот и запросто дважды отчитал шефа, а шеф извинился, все принял как должное».

Да и Тита я не узнавал — на его физиономии сплошная почтительность, он заботливо поставил на электроплитку новый чайник, выложил на стол весь виноград, который мы купили на базаре.

Меня одолевало любопытство, и я робко поинтересовался:

— Павел Николаевич, что значит «побратим»?

— Брат по крови, — живо повернулся ко мне Бармин. — Существовал здесь обычай. Очень древний обычай! Если два человека выпили друг у друга по капельке крови — они братья. А брат обязан защищать брата даже ценою жизни. И не только брат, весь его род от малого до старого.

Я понял, что шеф обрадовался моему вопросу.

— Теперь представьте себе, Лагунин, конец двадцатых годов в Каракумах. По пескам рыскают недобитые шайки басмачей, горят аулы, а я, в те времена действительно белоголовый мальчик, приезжаю сюда заниматься геологической съемкой. Мой транспорт — веселый ишак и угрюмый верблюд...

— Верблюда ты боялся, — вставил Алты, — и верблюд тебя не любил.

— А я и до сих пор к верблюдам симпатии не испытываю! — засмеялся Бармин. — В общем, первые месяцы я больше прятался от басмачей, чем работал. Потом встретил Алты. Он пошел со мною в пески проводником, и мы стали побратимами. Род у Алты знаменитый, большой род! И весь его род был против басмачей...

— Нет! — Над столом снова поднялась крупная ладонь. — Трое из моего рода недостойны нашей памяти. Одного убил я, второго — младший брат, третий сдох собакой под дувалом в Герате.

— Не в них дело, — примирительно возразил шеф и продолжал: — Мы с Алты в присутствии аксакалов чиркнули себя каждый ножом по руке, смешали кровь в пиале с молоком кобылицы, выпили, и работать мне стало намного легче. Слух, что русский Акбашбала — побратим Алты, немедленно облетел Каракумы. И басмачи избегали встреч со мной, опасались — тронешь на одном конце пустыни, а пулю можешь получить на другом.

— Дикость! — с неожиданной резкостью сказал Алты. — Но иначе тогда было нельзя.

— А сейчас этот обычай совсем забыт?

— Сейчас? — Чабан с интересом взглянул на меня. В его глазах промелькнула усмешка. — Сейчас, если бы его вспомнили, сначала позвали бы доктора — наркоз сделать.

— И, пожалуй, общий, — впервые подал голос Тит.

Алты оставил без внимания шутку радиста, спросил у Бармина деловито:

— Зачем меня искал?

— Во-первых, я по тебе соскучился. А во-вторых, — шеф достал из своей планшетки карту, развернул на столе, — давай посмотрим, посоветуемся...



Алты вынул из-за пояса-кушака футляр с очками, подул на стеклышки, протер их рукавом халата, и его палец медленно заскользил по карте.

— Колодец у Кулак-гыра? Хорошо! Правильный колодец! На тропе к Сары-яйлу. Много отар прогоняем. Но почему в стороне? Километра три, да?

— Да, — подтвердил Бармин. — Пришлось от тропы отступить. Там, по прогнозам, больший дебит.

— Ничего! Тропу мы туда пробьем. Вот здесь пробьем.

Старый чабан читал крупномасштабную карту, как заправский топограф, сразу, без ошибки определял расстояние, его ноготь прочертил новую тропу точно по ложбине между грядой барханов с высокими отметками.

— А в Гелин-тепе колодец мне не нужен. Кончились на Гелин-тепе пастбища. Пятый год не пасем.

— Учу, — сделал пометку на карте Бармин. — Но потолкую с нефтяниками. Возможно, они этим районом интересуются. А что скажешь насчет Кызыл-такыра?

— Выгодно, — кивнул Алты. — На половине перегона водопой.

— За Кызыл-такыром твоя знакомая работает — Лена Стрельцова. Вот-вот должна сдавать колодец.

— Знаю Лену. И свекровь ее знал. С Ксенией Васильевной я дружил. Долго дружил. А Меред на Лене еще не женился? Все цветы дарит?

Тит развел руками:

— И дальше дело не идет.
— А я бы ее украл! Поперек седла — и в кибитку. Потом уже цветы. — Чабан вскинул на лоб очки, весело посмотрел на нас всех и добавил: — Лет сорок назад, конечно.

Очки опять опустились на нос, и Алты опять серьезно спросил у Бармина:

— Что с Дуя-кырланом? Не нашел?

— Не нашел. «Дуя-кырлан», — пояснил он мне, — значит пропавший верблюд. Верблюды пропадали, а ты там воды захотел. — Шеф встал, хитро ухмыльнулся. — Нет на Дуя-кырлане воды. Но будет!

— Откуда возьмешь?

— С неба! В следующем году попробуем соорудить на Дуя-кырлане подземное водохранилище. Состав грунта позволяет. Сделаем стоки, накопим воду в сезон дождей — и, пожалуйста, приглашай круглый год своих милых овечек!

Вон, оказывается, куда он замахнулся, вот что, оказывается, у него в перспективе — целая революция в водном хозяйстве пустыни! Колодцы для него пройденный этап, ступенька к главному, а мне он про свои планы даже не намекнул ни в Москве, ни здесь. И Меред Непесович хорош! Молчит, придерживается поговорки: «Непройденная дорога может упереться в овраг»...

— Знаю, ты пустых обещаний не даешь. — Алты тоже поднялся. — Мне пора. К тебе просьба: дай машину с шофером, пусть везет меня к отарам.

— Отказать в просьбе брату — похоронить себя живым. — Бармин картинно, по-восточному сложил на груди руки. — Но я отказываю! Машины не дам и шофера не дам. Сам тебя повезу! Мне все равно завтра на рассвете в пески.

— Павел Николаевич! — взмолился Тит. — Вы же с дороги, не отдохнули! Уснете за рулем!

— Не усну! — Бармин спрятал в планшет карту. — Нам с Алты есть о чем поговорить. Поехали! Да, Лагунин, через неделю я вернусь и обстоятельно потолкую...

Прошло уже четыре дня. Я по-прежнему махаю кистью с парафином, жду, злюсь, надеюсь.

Люсе я сказал, что Бармина в молодости туркмены звали «белоголовым мальчиком».

— Очень ему подходит, — ничуть не удивилась Люся...

НОЧЬ В ЛАГЕРЕ

Палатка, где живет Лена Стрельцова с радисткой отряда Машей Темяковой, самая яркая. Маша — особа хозяйственная, у нее всегда в запасе лишние аккумуляторы, электроэнергию она не экономит.

В палатке старшего бурмастера Николая Лукича Крошкина, прозванного «молоканином» за его страсти к парному молоку, горит древняя керосиновая лампа на высокой жестяной ножке. Ее слабый свет не пробивает брезент, мутными пятнами растекается по стенкам.

В большой палатке рабочих темно. Там давно спят, и палатка еле угадывается по силуэту острой, покато́й крыши.

А в стороне от палаток, в черном-черном небе, метрах в пяти над землей, сияет маленькое, голубоватое солнце. Это вышка опытной откачки. Отсюда слышно только, как гудит, подвывая, центробежный насос. Но Лена все равно видит узкую, изогнутую книзу трубу, из которой с прохладным шелестом те-

чет вода в зеленый водомер, похожий на огромную кружку с делениями...

Сегодня она твердо решила — колодец надо сдавать. Через час-полтора она разбудит шофера Ашира Сахатова, они наберут воду в бутылки и в ночь отправятся в Карабай, где вода пойдет на последний анализ, и пусть Бармин зовет представителей водхоза для приемки колодца. Два года она бродила здесь по пескам, жгла государственный бензин, переводила государственные деньги, задыхалась от жары и мерзла, случалось, голодала — и отчаивалась.

А теперь вот колодец. Если водхоз его примет, мемориальной доски Е. И. Стрельцовой на нем не поставят. Геологам не ставят мемориальных досок. Слишком много пришлось бы выбивать золотом на мраморе фамилий, институтов, экспедиций и трестов.

В самом деле, кто открыл этот колодец? Уж во всяком случае, не она — Лена Стрельцова.

Лет десять назад Павел Николаевич Бармин первым высказал предположение о водяном слое в здешних местах, первые скважины заложила Ксения Васильевна Ардашникова, потом работал Меред со своей партией, а Лена только довела до конца труд целой группы знакомых и незнакомых людей.

Да она и не нужна, мемориальная доска. Нужно было просто убедиться, что ты тоже что-то можешь в жизни.

Но, как выяснилось, «что-то» еще не значит все. И нечего на других срыгивать свое настроение.

Взяла вот и ни с того ни с сего всплыла, нахамила Маше Темяковой, выскочила из палатки.

А Маша ни в чем не виновата, она сидела, штопала продранные локти на ее куртке и добродушно ворчала:

— Последний раз зашиваю! Пора наряд сменить, товарищ начальник! А то на косы поглядишь — царь-девка, ума не занимать, фигура на вкус любого мужика, а ходишь — вроде из тюрьмы сбежала. Ты в Москву ездила, небось, в капронах?

Лена лежала на раскладушке, отвернувшись к стенке палатки, и ничего не ответила.

— Вроде надо бы соображать: капроны тебе тут нужнее, — продолжала радистка. — Жених под боком, почти каждую неделю заглядывает. Ну и держи себя в должном виде...

Лена, не повернув головы, огрызнулась:

— Не болтай, Машка, ерунду! Нет у меня никакого жениха. А куртку, поеду на базу, выпишу новую...

— Ерунду? — возмутилась Маша, яростно перекусила нитку и кивнула на букет роз в стеклянной консервной банке. — Не для меня такая ерунда с неба валится! Ишь как пахнут!

Лена больше не выдержала, вскочила с раскладушки и швырнула букет в угол палатки:

— Что вы все ко мне пристали с этими цветами! Пропади они пропадом!

Она выхватила из рук Темяковой куртку и, если бы в палатке была дверь, наверно, хлопнула бы с размаху дверь.

Радистка растерянно посмотрела ей вслед и подняла цветы.

— Психованная! А цветами швыряться нечего! Не в саду живем!

Маша Темякова — добрая душа — права. Не в саду живем. Цветы появились в лагере только благодаря высокому развитию современной авиации.

Меред летел вчера куда-то в дальние отряды, опустил минут на десять, посмотрел дебит воды за сутки, похвалил, тоже согласился, что пора сдавать колодец, и, конечно, преподнес букет...

А что ей букет Мереди, если в последние дни в Москве, перед отлетом, Юра охотно ездил с ней

по управлениям и трестам, деловито интересовался геологией района их экспедиции — и все! Он ничего не замечал и не заметил.

Сколько раз, когда они вдвоем склонялись над картой, ей хотелось наплевать на все условности и закричать: «Я люблю тебя! Я должна быть с тобой!» А он спокойно и сухо задавал дурацкие вопросы о возможности применения сейсмики для поисков воды.

Для него никого не существует, кроме Люси, он весь светится от одной ее улыбки. Она недооценила девочку. Девчонка упряма и с характером. Девчонка считает Юру своей собственностью и не побоялась ни родной мамочки, ни пересудов, потащилась за ним в экспедицию. И вот она там, в Карабае, вместе с ним, а Лена сидит одна ночью, среди песков, радуется производственным успехам!

Смешно!

Она понимала Бармина, почему он раньше остальных увез ее с собой из Москвы. Бармину важнее побыстрее получить реальное доказательство своей правоты.

Она понимала Бармина и работала до одури, загоняла в пот буровиков, но от этого легче не было...

Туркмены говорят: «Месту, где не приложен труд, нет имени». Пройдет время, и у ее колодца вместо скучного пятизначного номера скважины тоже появится название.

Ну, а если в этих местах, кроме труда, осталась еще и часть ее сердца? Здесь, на склонах барханов, остались следы Виктора Ардашникова, следы их свадебного путешествия в пустыне. Пускай песок давным-давно их засыпал, но для нее-то они есть!

Эти следы жестоко тревожат совесть: «Почему ты до сих пор не написала моей матери в Ленинград? Почему отделилась одной-единственной невразумительной телеграммой?»

Но Ксения Васильевна через тысячи километров будто почувала, что с ней неладно. На днях она получила от нее письмо. Свекровь не упрекала за молчание, не обижалась. Она подробно спрашивала про объем предстоящих работ, передавала всем приветы и лишь в последних строчках, без всякой логики, заявляла: «По опыту знаю — когда на душе скверно, не надо таяться. Надо поближе к людям. Поговоришь, посоветуешься, и сразу легче».

Что же все-таки с ней происходит — любовь или жалкая зависть к чужой любви?

С кем ей здесь поговорить? С кем посоветоваться?

Разве только с радисткой Машей Темяковой?

Лена невесело усмехнулась. Пробовала она с Машей разговаривать насчет неурядиц душевных. Любопытный разговор получился!

Толстая, рыхлая Темякова — женщина очень старая. Ей сорок три года. В конце войны она окончила курсы радистов и еще успела повоевать в авиации стрелком-радистом. Ее даже ранило зенитным осколком повыше колена. Шрам от раны она охотно показывает. Она не хвастается, нет! Хвастовства она лишена начисто. Просто спросит о ране: «Куда тебя зацепило?» — и Маша просто отвечает: «А вот погляди».

Демобилизовалась Маша в сорок восьмом году, попала к геологам и с тех пор из песков почти не вылезает. Разве отпросится на день, на два слетать в Ашхабад за обновками для мужа. Но это случается тогда, когда у нее есть муж. Сейчас она пока снова невеста до какого-нибудь первого подшибленного жизнью работника. Очередной «муж» пристроится к ней, она его оденет, откормит щами, заставит

бриться каждый день, а потом он уйдет, уйдет от нее обязательно.

Детей Маша иметь не может, как объясняет, «от природы», и, кажется, не особенно об этом горюет.

Самое удивительное, что бывшие «мужья» изредка присылают ей длиннющие письма, где подробно описывают свое житье-бытье, советуются, вкладывают в конверты фотографии законных жен и первенцев. А Маша радуется. Радует и торопится поделиться радостью. Хватает кого-нибудь в лагере за рукав и объясняет:

— У Петьки моего... Ну, помнишь, рыженького, с одышкой? Двойня у Петьки родилась! Мальчик и девочка! Куколки!

Или, наоборот, все в буровом отряде узнают огорчения Темяковой:

— От Семена открытка пришла. В больнице лежит. Денег просит, надо в Карабай смотаться, послать...

А как Машу Темякову защищают ее бывшие «мужья»? Дай бог каждой!

Этой зимой во дворе управления в Ашхабаде Лена случайно встретила тракториста Дукрина, тоже недолгого Машиного супруга. Он набросился с расспросами про Машу, волновался, не нуждается ли в чем, просил передать горячий привет.

Во время их разговора подошел молоденький дизелист, который знал Темякову, и, не стесняясь Лены, обозвал Машу гадко и цинично.

Тракторист Дукрин немедленно припечатал его кулаком по физиономии и встряхнул за шиворот:

— Тварь ты! А Маша — человек! Она себя не щадит! И взамен ничего не просит! Если б не она, многие бы сволочами стали! Извинись!

— Извиняюсь, — проворчал дизелист и смылся.

В самолете из Ашхабада в пустыню Лена весело думала: «Хочешь не хочешь, а из-за Маши произошло дуэль. Без секундентов, без шпаг, но дуэль! По-современному!»

Между двумя женщинами — начальником отряда Еленой Игнатьевной Стрельцовой и радисткой Марией Сергеевной Темяковой — состоялся весьма любопытный разговор.

Лена передала Маше привет от Дукрина и рассказала про дуэль.

— Он хороший, — гордо подтвердила Маша, — и стеснительный.

— Ответь честно, — потребовала Лена. — Ты что, действительно их всех умудряешься полюбить?

— Ага...

Это равнодушное «ага» покорило Лену, но она все же попробовала выяснить философскую сторону вопроса:

— А что такое, по-твоему, любовь?

— Завота, — ответила Маша и, подумав, добавила: — И еще жалость. Пожалеешь дурня замызганного, к земле пригнутого, почуешь, что он на ноги становится, и вроде не зря живешь, не зря небо копишь.

— И скольких ты уже в жизни пожалела? — с непонятной, вдруг вспыхнувшей злостью спросила Лена.

— Сколько ни есть — все мои! — в первый и последний раз за их знакомство вспыхнула Маша и грубо отрезала: — И не лезь в душу! Тебе тошно — другим не тошно!

— Прости, — виновато покраснела Лена. — Я не хотела тебя обидеть.

Больше о любви с Машей Темяковой они не разговаривали. Слишком они с ней разные: Маша — личность исключительная, второй такой, пожалуй, нигде и не сыскать...



Забота и жалость еще не любовь. По крайней мере для нее, для Лены Стрельцовой.

Разве она жалела Виктора? Или заботилась о нем? Они с Виктором и слов таких, кажется, не знали...

А разве Юра нуждается в жалости с его характером, с его мальчишеским, но вполне стоящим принципом: «Надо иметь неутомимые ноги, хваткие руки и трезвую голову»...

...По-разному светятся изнутри палатки в ночной пустыне. Маленькое, голубоватое солнце горит на буровой вышке, и подвывает центробежный насос...

Пора будить шофера Ашира Сахатова, пускай управляет машину — и в путь, на Карабай.

В Карабае она увидит Юру...

Нет! Точка! На сегодня с лирикой покончено!

Ее ждет работа — единственное испытанное лекарство от душевных невзгод...

Лена встала, отряхнула песок и направилась к палатке старшего бурмастера Крошкина.

Старики еще не спали. Жена Крошкина, Нина Ульяновна, исполнявшая в отряде обязанности повара, раскладывала пасьянс, а Николай Лукич, с огромными очками на носу, пристроившись поближе к керосиновой лампе, читал газету.

— Значит, решила? — спросил он и снял очки.

— Решилась, Николай Лукич.

— Оно, конечно... — кивнул Крошкин своей чеховской бородкой, удивительно не подходившей к его блинообразному лицу. — Попробовать сдать можно. Можно попробовать. Но в случае чего... Ты мою теперешнюю линию жизни знаешь...

— Знаю! — усмехнулась Лена и приготовилась в бесчисленный раз выслушать «теорию жизни» Николая Лукича Крошкина.

— Я пенсионер. Третий год пенсионер. Два своих законных месяца работаю. Правительством положено. И работаю на совесть. Но ответственности на себя не возьму. Почему не возьму, знаешь?

— Знаю, — вздохнула Лена.

— Потому не возьму, — не унимался Крошкин, — что теперь, ежели авария, ежели выговор, с меня этот выговор до смерти не снимут. А оставить детям и внукам замаранную трудовую книжку не годится. Да и два законных месяца больше не дадут. До пенсии я, пожалуйста! Я ничего не боялся! Весь авторитет от самого себя зависел.

— Все же, Николай Лукич, — перебила Лена, — я на вас надеюсь.

— Оно, конечно... — снова кивнул бороденкой Крошкин. — Но без бумажки, без приказа в случае чего на себя решения не беру.

— Не возьмет, — подтвердила Нина Ульяновна, не отрываясь от пасьянса. — Не возьмет...

— Ладно! Будем надеяться, что и не придется. Всего хорошего!

Крошкин поднялся и протянул ей маленькую, мозолистую руку:

— Ну-ну! Передавай там привет Павлу Николаевичу...

Она вышла от Крошкиных. Ох, и оригинал же старик! Замечательный мастер, специалист, отдавший пустыне почти сорок лет жизни. Его ценили, уважали, с ним советовались крупнейшие специалисты по бурению. А сейчас у него, видите ли, новая «теория жизни». Без бумажки никаких самостоятельных решений!

Оригиналом Крошкин, правда, был всегда. Если буровики располагались возле колодца, он догово-

ривался с шофером и привозил с собой корову. Вместе с Ниной Ульяновной они соорудили нечто вроде сарая, где несчастная корова потела под каракумским солнцем и жалобно мычала по ночам. Но Крошкин заботился о ней с рвением — даже умудрялся доставить порой охапку свежего сена. По утрам он пил парное молоко и объяснял:

— Мне Григорий Михайлович, доктор из Красноводска, сказал: «Пей парное молоко, и никогда рака не будет». И точно: пью, и пока никаких предчувствий.

Начальство не одобряло пребывания коровы в буровом отряде, ругалось, но в конце концов смирилось: слишком ценным мастером своего дела был Николай Лукич Крошкин. Прилепилась к нему кличка «молоканин», и только...

Лена вернулась в свою палатку. Темякова была не одна. На раскладушке уже сидел готовый к дороге шофер Ашир Сахатов в неизменной, давным-давно потерявшей зеленый цвет пограничной фуражке.

— Проснулся? Давай собираться.

— Правильно, — медленно проговорил Ашир, — поставлю машину на ремонт. Загоняли. Не машина — склад бракованных запчастей.

— Но до Карабая доберемся?

— А что сделаешь?

Ашир пожал плечами и вышел. Лена крикнула ему вслед:

— Через десять минут тронемся! Набери побольше бутылок с водой.

Она посмотрела на хмурую Темякову и быстро прижалась к ее пухлой щеке:

— Прости, пожалуйста! Психанула. Пожелай, ну?

— Ни пуха ни пера, — расплылась в улыбке Темякова и напомнила: — А насчет одежды новой все равно не забудь! Не отстану!

— Не забуду, — пообещала Лена. — И ты не забудь: в двадцать четыре ноль-ноль отстучи Титу: «Выехала сдавать колодец»...

ЧЕМ ПАХНЕТ ЖИЗНЬ!

(Из дневника Юры Лагунина)

А о обеда сегодня жизнь для меня уныло пахла парафином. После обеда потянуло запахом приключений.

Я сижу под барханом, вокруг пустыня и горит костер. Впрочем, стоп!.. Все по порядку!

Еще вчера поздно ночью приехал наконец из песков Бармин. Он в прошлый раз обещал потолковать со мной поподробнее, и я решил довести дело до конца. Хватит делать из меня придурка!

Я надел белоснежную сорочку из нейлона, голубые польские брюки и надраил узконосые мокасины. На прощание я показал кукиш своей вонючей спецодежде, уныло висевшей на крючке, и, посвистывая, направился во двор штаба.

Возле камералки стоял Меред Непесович и нервно поглядывал на ручные часы. Он не обратил никакого внимания на мой вызывающий туалет, не поинтересовался, почему я не у парафина, весело улыбнулся:

— Встречаешь? Сейчас приедет.

Кто и откуда должен приехать, я понятия не имел, но на всякий случай промямлил:

— Подождем...

Из домика радиостанции появился с гитарой под мышкой Тит, поздоровался и тоже равнодушным взглядом скользнул по нейлоновой сорочке и голубым брюкам, словно я никогда по-другому и не одевался в рабочее время.

— Она выехала в ночь, — сказал мой научный руководитель. — Пора бы добраться...

— Волнуешься, — вздохнул Тит. — Похвально!

— Будет тебе! — поморщился Меред Непесович. — Сам знаешь: уходя в пески до полудня, не зови гостей к вечеру. Пустыня есть пустыня.

Я все еще ничего не понимал, пока все не разъяснилось с приходом шефа.

Он подошел к нам своей пружинистой, легкой походкой, пожал руки и обдал ядовитым запахом тройного одеколона из парикмахерской поселка Карабай.

Тит громко втянул носом воздух:

— Капитально подготовились к почетному караулу, Павел Николаевич.

— Ты дыня! — неожиданно вскипел Меред Непесович. — Вяленая дыня! Лена скважину сдает! Первую скважину! Старый Алты-чабан узнает, на двадцать лет помолодеет. Лену с оркестром встречать надо! Правильно, Павел Николаевич?

— Ну, насчет музыки... — Бармин разгладил усики и спрятал усмешку. — Насчет музыки, пожалуй, рановато. Но событие приятное. Вот если из всех буровых нашей экспедиции пойдет пресная вода...

— На Большой театр фондов не выделят. — Тит хлопал ладонью по гитаре. — А эта старушка работает бесплатно.

Теперь я все понял, и мне захотелось завывать. Значит, Лена Стрельцова сдает в эксплуатацию скважину, и никто даже и не подумал сообщить об этом жалкому парафинщику!

«ГАЗ-63» влетел во двор, с шиком тормознул возле Бармина. Тит немедленно дернул струны гитары, заорал на весь двор:

Но волчий закон в пути не годится,
В пустыне другая цена воды!

— Тихо, тихо, борода! — Лена выскочила из кабины. — Я по твоей гитаре не соскучилась!

За Леной выбрался ее шофер Ашир, молодой туркмен в выгоревшей пограничной фуражке, с осинкой талией, очень похожий на лихого джигита-наездника.

После Москвы Лена не то чтобы похудела, а как-то подтянулась, ее лицо заострилось, голубые глаза потемнели, стали строже и глубже.

Она словно пожила в другой, недоступной и суровой стране, в другом, неизвестном для меня измерении.

— Вот, — сказала Лена и вынула из кармана брюк бутылку «Столичной», закрытую детской соской.

— На троих? — осклабился Тит.

Лена и бровью не повела в сторону радиста, протянула бутылку мне.

— Отведай, — и виновато улыбнулась Павлу Николаевичу: — Он единственный у нас никогда не пробовал водички из-под песков.

Я взял бутылку и торжественно преподнес шефу:

— Не выйдет! Я помню первую заповедь Закона стального ключа. Прошу вас, Павел Николаевич!

— Я же говорил, что он способный, — восхитился Тит.

Бармин сделал маленький глоток прямо из горлышка и не выпил, а медленно прожевал воду.

— Около двух граммов солей на литр. На вкус, конечно. Анализ определит точно.

— Для анализов у нас в кузове целый ящик, — поддал голос молчавший до сих пор Ашир. — Всю стеклянную тару собрал.

Меред Непесович заглянул в кузов и подозрительно покачал головой.

— Многовато у вас бутылочек скопилось! Ты не

из-за этого ехал сюда, как сонный? Вы здорово опоздали!

— Бутылки у нас со дня рождения Маши Темяковой — радистки, — не спеша и с достоинством ответил Ашир. — А ехал плохо по причине мотора. Мотор давно без профилактики. Еле тянет. Сейчас к главному механику пойду.

— Плюнь! — посоветовал Тит. — Мотор никуда не денется. Ты в поселок спеши. К невесте. Узун-кулак, телеграф пустыни, ей сообщил, она знает, что ты приехал. Смотри, невесту потеряешь!

— Если любит, подождет. А не любит — ничего не потеряю.

Он повернулся и, тонкий, прямой, строго по-солдатски зашагал к гаражу.

Ашир понравился мне сразу. Этаким гордый, независимый, знающий себе цену сын пустыни. Лена, видимо, умеет подбирать стоящих людей. Любопытно, каковы у нее в отряде остальные?

Вот выручат нас, доедем, разберусь. Объективно о начальнике судят только по подчиненным...

В общем, торжественная часть встречи закончилась деловым резюме шефа:

— Три дня, Леночка, тебе на отчет. Напиши подробный, по форме. Подготовим скважину к сдаче. Сама знаешь, торопят. А через три дня обратно. Надо заложить новые шурфы.

Я замер: сейчас или никогда! Дерзость и настойчивость!

Я подождал, пока Бармин не отошел шагов на двадцать, догнал его и выпалил:

— Павел Николаевич, вы пообещали поговорить со мной, помните, ночью на радиостанции?

Не останавливаясь, он великодушно кивнул:

— Да, да! Слушаю вас.

— Павел Николаевич! Какого черта вы взяли меня в Туркмению? Обмазывать парафином керн я мог научиться и в Москве!

Тут уж он остановился, с минуту задумчиво меня разглядывал и с столь же сонной интонацией в голосе, как при первой встрече с Люсей у себя на квартире, спросил:

— Вы так полагаете?

Я был раздавлен и уничтожен. Я, кажется, позеленел. Кто такой Бармин? Знаком я с этим человеком? Или каждый раз вместо него передо мною его двойник, который имеет только общие с ним усики ниточкой и седой бобрик?

Он не заметил зеленого цвета моего лица. Он вежливо приказал:

— Будьте добры, позовите ко мне подсобного рабочего Соколову. И побыстрее!

Я понял, что чувствует гвоздь, когда его одним ударом вгоняют в стенку по самую шляпку. Из парафинщика я понижен в должность мальчика на побегушках. Нежданно-негаданно ему, видите ли, срочно понадобилась Люся!

На кухне Курбандурды приветствовал меня взмахом уполковника, а Люся спросила:

— Ты чего вырядился?

— Ради торжественного сообщения. Тебя вызывает высшее начальство — Павел Николаевич Бармин. Сам! Лично! Срочно!

— Врешь?

— И не собираюсь!

Люся засуетилась, стянула халат, зазвякала ручкой.

— Зачем я ему нужна? — заволновалась Люся. — Вдруг выгонит.

— За что выгонит? — вмешался в наш разговор Курбандурды, и его глаза хитро забегали. — Открою секрет — вчера Павел Николаевич приехал вечером

и у меня спрашивает: как Люся работает? Я ответил, я авторитетно характеристику дал: ответственно работает! Разве после хорошей характеристики выгоняют? Законом не положено!

— Все ясно, Курбандурды, — согласился я. — Люсю ожидает надбавка к зарплате или благодарность в приказе. Первое, конечно, более существенно.

Люся помчалась к Бармину, а я вернулся в общежитие, опять напялил спецодежду и опять очутился у своего парафина.

Работяги с буровой натаскали уже порядочно керна, он лежал на фанерных листах вроде нарезанного на мелкие части удава. Стрелять в этого удава бесполезно, бить кинжалом бессмысленно, его можно только ласково мазать горячим парафином, аккуратно нумеровать и втихомолку поскрипывать зубами.

Я не торопился приступать к непосредственным обязанностям. Я лениво wygrеб из-под казана золу и устроил перекур. Заготовил саксаульных веток и снова задымил папиросой. Курить, честно говоря, не хотелось, но я, неизвестно зачем, тянул время, словно предчувствовал, что весь сегодняшний день будет состоять из неожиданностей и торчу я у парафина последний раз.

Неожиданность № 1 явилась в виде испуганной и растерянной Люси.

— Юрка! Юрка! Ты знаешь, что сказал Павел Николаевич? Нет! Ты даже вообразить себе не можешь!

Я разжигал костер под казаном и охотно согласился:

— Да. С воображением у меня туговато.

— Он назначил меня в отряд Стрельцовой! Учеником коллектора...

Спичечный коробок вырвался из моих рук, я поднялся и туло уставился на Люсю.

— Тебя? Учеником коллектора? Ты же известняка от песчаника не отличишь!

— Он сказал: «Стрельцова научит». — Ее голос сорвался на крик: — А я не желаю учиться у Лены! Плевала я на песчаники! Не надо мне песчаников! Мне и здесь хорошо!

Я попробовал ее успокоить:

— Чем закончился разговор?

— Выезжать через три дня, — обреченно опустила голову Люся.

— Значит, согласилась?

— А что я могла поделывать? Откажусь — выгонит. Я подобрал спички, раздул адскую кухню и услышал:

— Ты не переживай, Юра. Тебе Павел Николаевич, наверно, готовит серьезное, ответственное задание.

Я расшаркался:

— Замолвишь словечко шефу, век не забуду!

— А ну тебя! Не ехидничай. — Она чмокнула меня в щеку. — Ох, и дел на меня навалилось! Тебе постирать, самой приготовить! Побегу!

Я понял: пора объявить шефу войну. Атаковать его первым и не отступить ни на шаг.

Часа полтора я бойко помахал кистью, вымыл руки и отправился разыскивать Лену Стрельцову.

Нашел я ее в кабинете Мерета Непесовича. Мой научный руководитель отсутствовал, но на столе его интересы представлял великолепный букет.

— Какой по счету? — кивнул я на букет.

Лена оторвалась от бумаг и с удивлением на меня посмотрела:

— Чего ты кусаешься? А... догадываюсь! Душевные муки! Разлучает вас с Люсей Павел Николаевич. Когда он сказал, что даст мне нового работника, я думала, тебя, а он Люсю назначил. С ним не поспоришь...

Я достал папиросу и небрежно фыркнул:
— А я и спорить не буду!
Лена проводила взглядом табачное облако и усмехнулась:

— Курить начал?
— Скоро пить начну,— пообещал я.— Стаканами. Воспитывают! Меня все воспитывают! Бармин, Тит и вся окружающая среда! Понимаешь?

— Не очень.
— Я решил бежать.
— Куда?
— А хотя бы в твой отряд.
— За Люсей? — прищурилась Лена.
— При чем здесь Люся? — Я разозлился и швырнул в окно папиросу.— Тебе, насколько я собираю, нужны коллекторы?

— Ну, нужны...
— Давай без «ну»! Я подожду?
— Еще бы! — Лена опять усмехнулась.— Но он не разрешит.

— Его разрешения я спрашивать не собираюсь! Через три дня отправляюсь с тобой. Забронирую место.

Лена неуверенно и весьма невнятно пробормотала:

— Хорошо... Я... Я попробую поговорить о тебе с Павлом Николаевичем...

— Нельзя! — заорал я.— Нельзя обо мне разговаривать с шефом! Я запрещаю обо мне разговаривать с шефом! Запрещаю!

— Почему?

— Обязан же он, черт возьми, один раз в жизни попасть в трудное положение: практикант сбежал, но не в Москву, а в пески! Пускай поищет меру наказания! Не получится! Все, привет!

Лена пыталась что-то крикнуть мне вслед, но я не расслышал. Я вернулся к своему парафину, разжег костер, парафин забулькал, и два часа я махал кистью.

Решение принято! Но тут снова неожиданность. Неожиданность № 2. Это опять была Люся. Теперь у нее был вид окончательно добитого человека.

— Юрка! Все отменяется! Лена сейчас едет в пески!

— Как сейчас?

— Вот так. Через несколько минут. Приказала мне взять рюкзак. Что-то у них случилось.

Люся исчезла, а я, даже не сполоснув после парафина руки, помчался к штабу.

Возле грузовика стояли Лена, Меред Непесович и Тит. Сквозь загар у Лены проступали белые пятна, глаза встревоженно и зло блестели. Меред Непесович и даже Тит переминались с ноги на ногу, выглядели сумрачными и растерянными.

— Я за Аширом! — сказала Лена и побежала к гаражу.

— В чем дело? — спросил я.

Вместо ответа Тит подал мне бланк радиограммы. В радиограмме некий бурмастер Крошкин сообщал, что скважина перестала давать воду, попытка увеличить обороты насоса не принесла результата.

Я пожал плечами:

— Не вижу катастрофы. Не добурили, очевидно, до главного горизонта водяной линзы. Метров пятнадцать поглубже — и порядок.

— Ее могут судить,— угрюмо сказал Меред Непесович.

— За что? За преждевременный звон гитары? Радист наградил меня испепеляющим взглядом, а Меред Непесович печально улыбнулся:

— Нет. За нетерпение. По дороге сюда, в штаб,



она встретила на развилке тропы у Кызыл-такыра старого чабана Алты с отарами. Он гнал овец на водопой к колодезю Яшулы-кую.

— И она похвасталась! — перебил Тит и сплюнул.— Пококетничала! В общем, одно и то же! Чисто женское!

— Да... — поморщился Меред Непесович.— Она ему сказала, что у нее на скважине много воды, хватит с избытком, и нечего ему тащиться за тридцать километров на колодезь Яшулы-кую. Не она первая так поступает. Пока колодезь официально сдает, волокита. У других обходилось...

Я уже понимал: если в отарах начнется падеж у сухой трубы, Лене не миновать очень крупных неприятностей.

— А ближайшая вода далеко от скважины?

— Неблизко,— покачал головой Меред Непесович.— Обратно, до развилки на Кызыл-такыре, километров семнадцать, а оттуда до Яшулы-кую, получится все шестьдесят. Не дойдут овцы! Не дойдут!

У него сорвался голос, и мой сдержанный, неизменно корректный научный руководитель крепко и смачно выругался.

— Сколько раз Павел Николаевич всех нас предупреждал и просил: «Не торопитесь, не торопитесь с выводами! Дороже обойдется!»

— Я от него слышал другое,— вспомнил я.— «Думайте медленно, а выводы делайте внезапные». А почему вы не связались по рации с отрядом, не проинструктировали бурмастера?

— Умница! Единственный мыслящий мозг! — захрипел Тит.— Во-первых, следующая связь с ним в двадцать четыре ноль-ноль, а во-вторых, бурмастер у них ископаемый фрукт! Молоканин чертов! А ну вас! Разбирайтесь сами!

Тит выхватил у меня из рук бланк радиограммы и исчез в дверях радиостанции.

Я про себя отметил: у Лены в отряде собралась

пестрая публика! Джигит пустыни — шофер Ашир и молоканин, сектант-бурмастер! Любопытно!

Меред посмотрел вслед Титу и вздохнул:

— Бурмастер у нее действительно оригинал. Слишком осторожен и перестраховщик. А теперь, чтобы все спасти — работы уйма, — надо демонтировать насос, сделать тампонаж и наново забуриться. Он не рискнет, у него другая «линия жизни».

Лена подбежала к машине вместе с Аширом, и стройный, гибкий туркмен коршуном набросился на Мереду Непесовича:

— Что она делает? Что делает? Мотор у меня барахлит, ему давно на профилактику пора! Как доедем, а?

— У нас же вертолеты... — начал было я.

— До вечера они в полетах, да и вертолетом без Павла Николаевича нельзя, — сказал Меред и взял шофера за локоть. — Надо, Ашир. Очень надо! Ты же самый надежный шофер экспедиции.

— Трусит! — крикнула Лена. — Давай за баранку! Живо! На мою ответственность!

Шофер весь передернулся и, не глядя на Стрельцову, процедил:

— Трусом меня никому нельзя называть. Не советую...

Неизвестно, чем бы закончилась эта веселенькая беседа, если бы не Люся. Она подлетела к машине с тощим рюкзаком в руках и бурно пожаловалась: — Я белее собиралась кипятить, а вам приспичило!

— Куда ты пропала! — Лена мгновенно переключила свою ярость на Люсю. — Прыгай в кузов! Живо!

— Подожди, начальник! — взмолился Ашир. — Двадцать — тридцать минут подожди! Бочку надо сменить! Бочка ненадежна! Воды в ней мало!

— Доедем! Не в первый раз! — отмахнулась от шофера Стрельцова и взялась за ручку кабины. — Меред, на минуточку!

Она что-то шептала ему на ухо, и Меред, кивнув головой, нерешительно предложил:

— Поехать с тобой? Вдвоем быстрее разберемся...

— Зачем? Справлюсь одна. Добурить добурим, но вдруг я ошиблась и настоящей воды там нет. Даже страшно подумать! И ты все равно не поможешь. Пока!

Ашир включил зажигание, засипел стартер, и я, болтуя ногами перед носом Мереду Непесовича, прыгнул в кузов вслед за Люсей.

— Ты куда? — крикнул мой научный руководитель.

— На настоящую работу. Так и доложи шефу.

— Слазы! Слазы! Иначе подам рапорт! Отправим в Москву!

— Да ладно вам! — высунулась из кабины Лена. — Пускай едет. Мне сейчас лишние руки не помешают. Через сутки я тебе его верну. Не скиснет твой парафин!

Машина дернулась, я послал Мереду Непесовичу воздушный поцелуй, и мы помчались спасать ни в чем не повинных овец.

В кузове подпрыгивал привязанный к борту чулек — плоский бочонок с водой, — подпрыгивала кошма, свернутая в скатку, подпрыгивали и мы с Люсей, вцепившись руками в кабину.

И мы допрыгались до неожиданности № 3. Когда стемнело, мы засели среди песков. Дрянь дела с мотором, и осталось еле-еле воды в чулке.

Лена опять ругается с Аширом, мне очень хочется есть.

Прежде чем спасать овец, кому-то необходимо спасти нас...

ОБЛАКА И СНЫ

Тит проснулся. Раскладушка под ним скрипнула, и второй радист-сменщик, присланный недавно из Ашхабада, повернулся, укоризненно сказал:

— Вам еще целый час спать можно, Тит Титыч.

— Не хочется. Ступай, отдыхай.

Он вышел вслед за сменщиком на крыльцо. В синем небе сквозь неслышные, пепельные взрывы облаков летела луна. Тит вдруг подумал, что облака, как сны. От них нельзя отмахнуться, их нельзя запретить.

По каким законам душевной логики вдруг приснились Люся и Тоня? Ну, Тоня — понятно... Но Люся при чем?

Он вернулся в радиорубку, закурил и прошелся из угла в угол. Да и Тоня снится не так, как решено, и решено бесповоротно. А сны беспощадны к памяти. Снится не ее предательство, не горечь обмана, а слегка раскосые коричневые глаза, гравюрный завиток волос, падавший на левое ухо, еле заметный пушок над верхней губой и сумасшедшие летние рассветы на Памире, когда горы, подсвеченные еще невидимым солнцем, не обрели тяжести, они размыты от подножия до вершин прозрачной голубизной, и кажется, будь посильнее ветер, они вздрогнут, не торопясь поднимутся в небо...

И опять приснился финский домик метеостанции и Тоня на пороге. Она поднялась из кишлака Бай-Гуркан во второй половине дня и пожаловалась:

— Выручайте, мальчики! Не работает движок!

К тому времени никто на метеостанции больше не переглядывался, не отпускал ненужных шуток. Все уже отлично знали: просьба врача Антонины Николаевны Маевской обращена только к нему, к радисту Титу Бесогонову...

...Они спустились в Бай-Гуркан; он занялся в сарае движком переносной электростанции, а Тоня накупила халат и взяла чемоданчик.

— Я скоро. Проведаю роженицу.

Пока он перебирал движок, на кишлак вместе с ночной темнотой напозла туча. Ночь и гроза в горах поднимались снизу, из альпийских лугов и душных, сырых ущелий. Часто бывало так, что их площадку на скале, где прилепился финский домик, заливало солнце, а в Бай-Гуркане, задевая за плоские крыши, клубились облака, похожие изнутри на густой туман, пронизанный застывшими, непадающими каплями дождя.

Грозовая туча придавила кишлак и, словно уставшая от тяжести своих миллионов вольт, неистово взорвалась в полнеба ослепительной паутиной молний.

Отвесные потоки воды хлынули на ступенчатые каменистые улочки Бай-Гуркана.

Он исправил движок, но на ходу не оставил: и без него в воздухе было полно электричества. В медпункте он устроился на табуретке, закурил трубку и стал ждать. Он был уверен, что Тоня пересядет грозу в доме роженицы.

Но Тоня вбежала через несколько минут, закричала весело и возбужденно:

— Починил? Ладно, не включай! Я промокла насквозь и глубже! Переоденусь, займемся чаем. Она прошуршала мимо него белым пятном халата, от нее веером разлетелись брызги.

Зеленым пожаром вспыхнули окна, от грома зазвенело в ушах, и на секунду, а может, на тысячную долю секунды близкая молния вырвала из

темноты Тоню. Он успел увидеть в узкой раме дверей обнаженную женщину, она, слегка склонившись, отжимала волосы, и все ее тело, казалось, было создано сейчас из голубоватого, тревожного света.

Ничего не соображая, он поднялся с табурета и шагнул в уже исчезнувшую раму дверей.

Его руки наткнулись на теплоту пахнущих дождем плеч. Тоня не отшатнулась, не вырвалась, только слабо вскрикнула...

В два часа ночи, к очередному выходу в эфир, он осторожно прокрался в метеостанцию и на полную мощность включил магнитофон.

От душераздирающих воплей какого-то сверхсовременного джаза ребята полетели с коек. Он подхватил еще не проснувшегося Костю Шагалова и закрутил его по комнате:

— Я женюсь, детки! Женюсь!

Вперемежку с руганью его поздравляли, а рассудительный и практичный Димка Горелов внес в общее дурашливое настроение свою обязательную долю практицизма. Почесывая ногу о ногу, он сказал:

— Интересуюсь: где молодожены будут проводить медовый месяц? Ордер на однокомнатную квартиру с совмещенным санузелом не предвидится.

На него цыкнули и обозвали отсталым субъектом с обывательской идеологией. Но «субъект» смотрел на события трезво и здраво.

Тоня не могла покинуть медпункт и переселиться на метеостанцию, а он не мог переехать к Тоне, потому что по расписанию передача сводок проводилась в пять вечера, два ночи и семь утра. Из-за дальности и гор работать можно было только на ключе. Никто из ребят подменить его не мог...

И все-таки у него был медовый месяц!

Он начался в конце лета и продолжался всю осень и половину суровой памирской зимы.

Каждый вечер после пяти он выключал аппаратуру и вприпрыжку спускался в Бай-Гуркан. Ровно в два ночи он уже сидел с наушниками и через пятнадцать минут опять хлопал дверью финского домика, бежал к своему счастью до шести утра.

В конце лета на спуск и подъем от метеостанции до Бай-Гуркана и обратно он тратил час, осенью — полтора, а зимой на штурм обледенелой, утыканной острыми камнями тропы уходило добрых два часа.

Он почернел, высох, кожа на его щеках обветрилась и зашелушилась, острая боль сидела в мышцах ног, но ни одной ночи Тит Титыч Бесогонов не провел без Тони...

Отлучаться ему с метеостанции нельзя было даже на сутки, и Тоня где-то в сентябре съездила в районный центр, и в загсе ей в виде исключения пообещали прислать в Бай-Гуркан представителя со всеми полномочиями.

Вьюжным утром в ноябре к ним на метеостанцию протиснулся квадратный таджик в полушубке и милицейской фуражке. Он мрачно взглянул на всех исподлобья.

— Кто тут жениться будет?

— Мы! — вскочил Костя Шагалов и спохватился, показал на Титу: — Он! Вы из загса?

— Нё! — мотнул головой полушубок. — Я из милиции. Загс у меня на заднем сиденье. Связанный. Они с удивлением уставились на неожиданного гостя, а он невозмутимо присел к железной печурке, заговорил с обидой:

— Мороз в горах. С дорогой опасно. Кому ехать? Кому загс везти? Никто не хочет! Некому! Один, понимаешь, Турсун не должен бояться. Вот, попросили, привез...

— А почему, — выдавил наконец Димка, — почему он, извините, загс, связанный?

— А! Молодая! Глупая! В пальто, в чулочках, в туфельках отправилась. Я ее в спальный мешок завязал.

Они вывалились из домика, с хохотом подхватили с заднего сиденья «газика» что-то громко пищавшее в спальном мешке и внесли в дом. В доме они извлекли из мешка тоненькую девушку с густыми, угольного цвета бровями и со сплошным водопадом косичек.

Она тряхнула косичками и сделала строгое лицо:

— Я из загса. Зовут Гульчихон. По-русски — Галя. Где брачущиеся?

Костя с такой же строгостью ее перебил:

— Вы замужем?

— Нет. А что?

— Выходите за меня. Характерами сойдемся в рабочем порядке.

Больше выдержки и строгости у Гали-Гульчихон не хватило, она засмеялась, ей преподнесли пиалу чаю с конфетами, а Тит мигнул отважному шоферу милиции Турсуну, и они поехали с ним в Бай-Гуркан за Тоней.

Свидетелем со стороны Тита был шофер Турсун. Он сказал:

— Свидетель — дело серьезное. Вы все по возрасту не годитесь.

После свадьбы ничего не изменилось в их неустроенном быте. Он по-прежнему шесть раз в сутки — три вниз и три вверх — задыхался от ветра и мороза на крутой тропе. Часто не успевал бриться и, случайно заметив, что щетина согревает лицо, оскунл полусушня сказать Тоне:

— Мне борода пойдет?

Она догадалась:

— Для теплоты? Валяй, заводи! В Москве сбреешь. Я не терплю барбудос местного производства.

За зиму они с Тоней ни разу не поругались. Разве вот только однажды она удивила его неожиданной фразой.

Началось с ерунды. Она спросила:

— Откуда у тебя такая странная фамилия: Бесогонов? За кем-то, значит, бесы гнались? Имя тоже поискать — Тит!

Он, посмеиваясь, рассказал ей о семейном предании, услышанном в раннем детстве от отца.

Был, дескать, у них чудаковатый прадед Арефий. Профессию он имел редкостную: умелец по иконам древнего, старообрядческого письма. После первой оттепели он перекидывал через плечо берестяной короб с красками собственного изготовления и прощался до зимы с семьей. Скрываясь от преследования официальной церкви, он объехал и обошел всю Россию, зарабатывал неплохие деньги у тайных двуперстников.

Как-то за киот, сделанный в молельне замоскворецкого купца, ему вручили пятьдесят рублей золотом. Опасаясь железнодорожных воров, Арефий решил пешком по лесной тропе пойти к Троице-Сергиевской лавре, где под самыми стенами твердыни законного православия его уже ожидал новый заказчик. На рассвете Арефий протопал верст десять и вдруг услышал: шумит за спиной!

«Она, нечистая сила!» — догадался Арефий и положил на тропинку золотую пятерку.

Откупился, еще прошел с версту — снова шумит. Пришлось вторую пятерку отдать. Так до лавры все свои пятьдесят рублей и выложил.



Неверующий Тит, выполняя свой пионерский долг, заявил отцу:

— Бога нет, нечистой силы нет. Был ветер.

Отец дал ему в лоб легкого щелчка:

— Молод прадеда осуждать! Главное сообрази: человек над копеечкой не трясся, а жизнь богатую прожил. С того и фамилия наша пошла: Бесогоновы. Раньше иная была. Не каждый новую фамилию основать способен.

От прадеда Арефия и осталось в семье Бесогоновых трогательное и немножко смешное пристрастие ко всему древнерусскому. Отца звали Титом, и он вопреки матери, которая хотела, чтобы сын стал Эдуардом, поспешно оформил свидетельство о рождении Тита Титовича Бесогонова.

— Сразу ясно: русский парень! — хвастался отец. — А Эдиком даже английского короля звали...

Тоня выслушала Тита и покачала головой:

— Байки! Я не верю в чудаков. Золотом не швыряются.

Тит с недоумением посмотрел на жену. Он обиделся за прадеда Арефия. Он его понимал, а Тоня нет.

Тоня была наблюдательной. Она обняла его ласково за плечи,

— Не сердись. Наш век совсем другой. В нашем веке на облаках не живут. В нашем веке над ними летают...

Вот и все. А потом в конце зимы она сказала, что ждет ребенка. Он чего-то застенялся, смущенно пробормотал:

— Вот здорово!

— Нормально! — засмеялась Тоня. — Ты будешь папой, я буду мамой.

Но нормально не получилось. Тоня начала прихваривать. Она часто жаловалась на головокружение, хваталась за сердце, пила валидол. Раньше она

переносила высоту совершенно безболезненно, теперь же сказывался разреженный воздух Бай-Гуркана.

Она несколько раз спускалась в районную поликлинику, возвращалась побледневшая и усталая, не раздеваясь, укладывалась на койку.

— Мне нужно уехать, — сказала Тоня, вернувшись однажды из райцентра. — На время... Домой... В Москву... Так мне посоветовали в райздраве. Отпуск, правда, пока за мой счет. Декрет оформят позже...

Он вздрогнул и не возражал. Он не имел права возражать.

Тоня уехала, и Тит перестал спускаться в Бай-Гуркан...

Письма Тоня присылала не часто, но зато длинные, по пять-шесть страниц.

Письма у нее получались остроумные и злые. Начинала она с обычного «все в порядке», и дальше следовало нечто вроде рецензии на просмотренные кинофильмы и на знакомых Титу людей.

О родителях, например, она писала так:

«Папан мой принял наш брак стоически, но переживает, что я вышла замуж не за высшее образование».

«Маман всплакнула, но нашла утешение в твоей бороде. Она втихарию шепнула мне, что, по наблюдениям ее молодости, бородатые мужчины обладают особым темпераментом».

Ребятам Тит не читал писем. Он был глубоко убежден, что они до них не доросли и, кроме очередного упражнения в остроумии, от них ничего путного не услышишь.

К осени он совсем захандрил. В далекой, немилосердно далекой Москве Тоня вот-вот переступит порог родильного дома с его ребенком на руках, всех остальных будут встречать мужья с цветами, будут вокруг нее объятия, поцелуи, а она совсем одна. Ее мамаша не в счет. Еще подковырнет: «Твой-то так и не выбрался!»

А выбраться ему не представлялось никакой возможности. Договор на два года без отпуска — документ официальный, и в нем нет параграфа, предусматривающего поездки молодых отцов к своим первенцам...

Костя Шагалов присел как-то к нему на койку, с минуту пристально разглядывал:

— Глаза потухли, цвет лица морально подготовленного самоубийцы. Пора вмешаться коллективу. Коллектив — сила. Коллектив — основа нашего государства.

— Отстань! — буркнул Тит и отвернулся к стенке.

Костя вздохнул, прошорхал унтами в другую комнату и целый вечер шептался с Димкой.

«Жалуют! — злился Тит. — И сочувствуют! И, конечно, про себя хихикают!»

Дня через три дверь их финского домика открыл толстый парень в роговых очках, в штормовке, обвешанной фотоаппаратами. Это был радист Мотя Янышев. Он поднимался еще выше в горы, на метеостанцию на леднике, чтобы сменить собрата по профессии, уходившего в законный отпуск.

С Мотей они когда-то мельком познакомились на базе, знали только, что он помешан на цветных снимках и его мечта — стать фоторепортером столичного журнала.

К удивлению Тита, встретили Мотю с величайшим радушием, словно он самый лучший друг.

— Садись, Мотенька! Садись! — засуетился Костя Шагалов. — Объявляю королевский прием!

Димка притащил домашние тапочки:

— Снимай сапоги! Сорок второй размер, пойдут? На меху!

Янышев жмурился от удовольствия, все принимал как должное, и его розоватая лысинка покрывалась потом:

— Небось, снимочек видали? Тот, что в спортивном журнале?

— Снимок — блеск! — заверил Костя.

— Классика! — поддержал Димка.

Тит хотел было сказать, что ни одного журнала они в глаза не видели месяца два, но Костя больно сжал его колено под столом, и он промолчал.

Причина «королевского приема», устроенного для Янышева, раскрылась после первой стопки.

Костя снова сжал колено Тита и сухо, кратко рассказал будущей «звезде фоторепортажа» положение Бесоногова. От имени работников метеостанции Бай-Гуркан он просил Янышева задержаться у них на неделю, подменить Тита на передачах, пока он сматается в Москву и обратно. Радист на леднике не умрет, подождет эти семь дней. В конце концов ждал два года — неделя не в счет.

— Да... Де-ла... — протянул Мотя, выслушав Шагалова.

Он снял очки, потер их рукавом куртки и замолчал.

— Согласен? — не выдержал Димка Горелов. — У тебя товарищ помощи просит. Понимаешь?

— Понимаю... — Лицо Янышева жалобно сморщилось. — Не могу я, ребята. Завтра туда на яках продукты везут. Я ж специально подгадал. Я с ними договорился...

— Организую тебе отправку, — наседали Костя, проводников и транспорт.

— Нет! — решительно покачал лысинкой Янышев. — Не могу...

— А ты все-таки гад, Мотья, — начал было заводиться Дима.

— Тихо! — перебил его Костя. — Не можешь — и точка! Вопрос исчерпан! Давай лучше выпьем, Мотенька!

Спустя полчаса о просьбе забыли, к Янышеву вернулось прежнее самодовольное настроение, а Костя и Димка снова ублажали его изо всех сил.

Они накачали его так, что на руках перенесли на раскладушку. Мотья уснул мгновенно, а Костя сразу отрезвел, повернулся к Титу:

— Немедленно мчись вниз. Скоро уходит машина «Сельхозтехники». Вот деньги, мы с Димкой собрали поровну. Вернешься — отдашь...

— Да вы что!..

— Тихо! В райцентре найдешь ту деваху, что вас расписывала. Она поможет купить что надо. Сам ты в этом деле лопух. Не являться же к Тоньке с голыми руками. Сутки тебе на самолет, сутки обратно, и чтобы в следующий вторник был здесь.

— Он же не согласился...

Но логика у Кости была непробиваемая. Он беззаботно пожал плечами:

— Куда он теперь денется? В два ночи я его разбужу и вежливо попрошу к аппарату.

— Вежливо не получится, применим другой способ... — показал зубы Димка.

Во второй половине дня Тит был в районном центре; откуда ходили самолеты до Душанбе.

Он быстро отыскал загс, и Галя-Гульчихон его узнала, обрадовалась:

— Ой, это вы? Ребенка регистрировать, да? Мальчик, девочка?

Он путано объяснил ей, зачем он здесь. Галя-Гульчихон все поняла с полуслова, заперла свое учреждение и потянула его в магазин.

— Я считаю, — она семенила рядом и разговари-

вала тоном, не терпящим возражений, — нужно купить главное, существенное для ребенка и что-нибудь не московское, из наших мест, для матери...

В магазине, когда она потребовала детскую коляску под грозным названием «танк», он жалко пролепетал:

— Как же я с ней...

— Доберетесь, — отрезала Галя-Гульчихон. — Вы мужчина и отец. А коляска — это очень существенная вещь!

Спротивляться было бесполезно. Толкая перед собой «очень существенную вещь», он покорно поплелся с Галей на рынок, где они купили три огромных золотистых дыни с шершавыми боками, погрузили их в коляску, а сверху насыпали спелых гранатов, готовых вот-вот брызнуть рубиновым соком. Коляска по весу начала оправдывать свое грозное название. Потом Галя-Гульчихон повела его по узким улочкам Саныша и попросила обождать у калитки, глубоко врезанной в дувал. Она вернулась минут через пять и подала ему сверток:

— Здесь мой личный подарок вашей жене. Ой, не спорьте! У нас так положено! Не нарушайте национальных обычаев!

Вконец растерянный и благодарный, он не нарушил национальных обычаев, положил в коляску шуршащий, расцвеченный яркими красками Востока отрез на платье.

По дороге на аэродром он решил заглянуть на почту, авось, есть письмо от Тони. Письмо было. Он торопливо разорвал конверт и начал читать.

До последней строчки он запомнил это ее единственное короткое письмо. Запомнил сразу и на всю жизнь.

«Дорогой мой бородатый муж!

Пора сказать тебе правду: ребенка у нас не будет. Ты должен понять, что я не собиралась торчать в дыре, если даже дыра расположена на крыше мира. Я повторяю тебе: в наш век в облаках не живут, в наш век над облаками летают. Еще месяц-второй, и моя московская прописка горела бы синим пламенем. Я нашла приличный предлог для отъезда. Беременная женщина плохо переносит горы. Убедительно? Кроме того, эта женщина — врач. В консультацию ей показываться незачем, проверять ее никто не собирался, а случайности бывают всякие и контролю не подлежат. Наш с тобой ребенок в будущем. Я не могла тебе открыться в Бай-Гуркане: боялась, потеряю тебя. Ты ведь совсем сырой и наивный. Ты пока просто материал для настоящего человека. А я о таком и мечтала. Я очень богатая, Тит! Богатая и щедрая! Я создам из тебя личность. Кончишь договорный срок — и сразу сюда, в Москву, в любой институт. Я люблю тебя, дурень! Привет от мамахен и папахена».

...Много позже в научно-популярном журнале он прочел, что есть такой специальный метод киносъемки: человек сидит в неподвижном макете, а декорация вокруг вращается, и на экране создается полная иллюзия быстрой езды...

Что-то вроде этого происходило с ним и в тот вечер. Ему казалось, что он никуда не идет, никуда не торопится: не было больше ни цели, ни мыслей, ни желаний. Но почему-то на него и на детскую коляску сразу наехала закусочная райцентра. Знакомых в зале не было, но какой-то дядька в брезентовом плаще громко возмутился:

— Ты что, сюда с дитем, бродяга!

— Да нет... — пролепетал он. — Тут дыни...

— Дыни? — захохотал дядька в брезентовом плаще. — Силен, бродяга! Садись!

Мгновенно, будто из преисподней, возник тип без малейших признаков лица. Красный шарф, кепка, а лица он не имел. И тип без лица протянул ему стакан водки.

— Пей! Я угощаю, ты угощаешь!

Дальше в памяти все перепуталось, все исчезло в удушливой, вертящейся темноте.

Он кого-то пытался провезти на детской коляске среди ночи по главной улице райцентра, с кем-то целовался, кого-то стукнул по морде, кто-то здорово бил его, и во рту солонело от крови.

Отдельно он запомнил лишь жалобное дребезжание коляски, которую спустил с обрыва в горную реку. Река в одну секунду сплющила детскую коляску о камни, со свистом подлетело кверху оторванное колесо, и темным пятном долго крутился отрез на платье — подарок для Тони от Гали-Гульчихон...

...Очнулся он на холодном, глинобитном полу, открыл глаза и увидел своего посаженного отца, свидетеля при бракосочетании — шофера милиции Турсуна.

Турсун пил чай вприкуску и читал газету.

В тяжелой, гудящей голове шевельнулся жгучий стыд, захотелось немедленно провалиться сквозь землю, но пришлось выдавить из себя жалкие, виноватые слова:

— Вроде я вчера перебрал...

— Нет, — отложил в сторону газету Турсун. — Ты норму взял — пятнадцать суток.

— Да?

Тит приподнялся и удивленно оглянулся. Комната никак не выглядела камерой предварительного заключения: ковры на стенах, радиолы, полки с книгами.

— Чего глядишь? — усмехнулся Турсун. — Я тебя домой забрал. Начальника уговорил.

На душе стало немного легче, и он попытался объяснить:

— Понимаешь, Турсун...

— Я прочитал, — перебил его шофер милиции. — Я прочитал письмо. Тьфу! Сволочь баба!

— Сволочь! — покорно согласился Тит.

— Но ты! Ты тоже баба! — вскипел Турсун и забегал из угла в угол. — Она сволочь! Ты дурак! Правильно?

— Правильно, — опять подтвердил Тит.

Шофер сразу успокоился, сел и строго спросил:

— Деньги у тебя были? Чужие деньги, говоришь? Копейки нету. Письмо есть, документы есть, денег ни копейки. Вставай, чай пить будем, думать будем...

И он придумал, придумал и все решил за него, добрейшая душа, отважный шофер милиции Турсун из горного кишлака.

— Во-первых, — загибал Турсун толстые пальцы, — обратно тебе в Бай-Гуркан не надо. Вспомнишь много, затоскуешь, друзья посочувствуют. Сопьешься. Белая горячка будет. С метеослужбой я договорюсь. Я у них работал, у меня там связи. Нозогорадиста пошлют. Зачем невинному человеку за дурака страдать? Правильно?

— Правильно.

— Во-вторых, деньги достать надо. У меня на книжке мало-мало есть, и чайханщик, муж двоюродной сестры жены, одолжит. Заработаешь — вышлешь. Правильно?

— Правильно.

— В-третьих, я тебе записку дам — большому человеку. Я его три года по пустыне возил. Он от меня шоферить научился. Он сейчас в Тахта-базаре,

в Туркмении. До Тахта-базара зайдем доберешься. Не пропадешь...

Он и не пропал. Записка Турсуна к Павлу Николаевичу Бармину определила всю его дальнейшую судьбу...

Через месяц он выслал Тоне подтверждение на развод и приказал себе не вспоминать, не думать о ней...

Но вот сны... Что делать с проклятыми снами? И зачем вместе с Тоней снится эта худенькая москвичка со вздернутым носиком и голубыми, чуть испуганными глазами?..

...На циферблате часов без двух минут двенадцать. Он включил аппаратуру, вызвал лагерь Стрельцовой.

Маша Темякова ответила кратко: «Воды нет. Ждем Лену».

Он закусил губу и на свой риск и страх отступил: «К вам идут отары старого Алты. Как поняла? Прием?»

«Давай без шуток. Прием!»

Скрипнула дверь, и вошел Мерэд. Тит настороженно посмотрел на кандидата наук: у Мерэда был непривычно взволнованный и решительный вид...

ЧЕТВЕРО У КОСТРА

Скрученные ветви саксаула грозно трещали, в черное небо стремительно взлетали острые языки пламени, кружились в воздухе белесые, светящиеся хлопья пепла. Самое выносливое дерево пустыни словно лихорадочно торопилось сгореть, торопилось отдать ночи накопленный солнечный жар.

Обхватив руками колени, Люся не мигая смотрела на костер. Она смертельно устала, кружилась голова, хотелось спать, и не хватало сил всерьез оглянуться на сегодняшний день...

Склонившись поближе к костру, Юра что-то писал в тетради, временами удовлетворенно хмыкал и тихонько посмеивался.

Ашир, приспособив лампу от аккумулятора, ковырялся в моторе, а Лена то присаживалась на несколько минут на кошму, то стремительно вскакивала, быстро поднималась на гребень бархана, осматривала близкий, затухевший чернотой ночи горизонт.

— Будто назло — ни одной фары! — сердито сказала Лена. — Не нужны, так шлятся по этой колее взад и вперед, зря бензин жгут. Который час?

— Половина десятого, — отозвался Ашир.

— Значит, мы сидим ровно три часа. Скоро ты там?

Ашир невозмутимо ответил:

— Все равно ехать нельзя. Мотор исправлю — где воду возьмешь? Радиатор течет, чулек старый был, разохся весь. И не полный чулек был.

— Ну, знаешь! Шофер сам обязан следить за водяной тарой!

Окрик Стрельцовой не подействовал на Ашира, он продолжал с прежней невозмутимостью:

— Хороший совет беда рождает. Я тебе говорил: надо чулек сменить, надо воды добавить. Заторопилась, не разрешила. Предупреждал: с мотором плохо — приказала ехать. Ты начальник, и ты женщина, а когда женщина плачет, — мужчина не спорит.

— Положим, я не плакала! — огрызнулась Лена. — Моих слез еще никто не видел!

— Ну кричала...

Люся равнодушно слушала их перепалку, оцепенение и усталость не проходили, она, наверное, уснула бы сидя, но Юра захлопнул тетрадь и виновато почесал в затылке.

— Неудобно признаться: я не прочь чего-нибудь пожевать.

— Я тоже,— раздраженно повернулась Лена.— Но извини! На ночевку в песках не рассчитывала! Отбивных не захватила!

«Она нервничает, злится, от злости ищет виноватых и несправедлива ко всем подряд. Ну и пусть...» — с тем же усталым равнодушием подумала Люся и протянула руку к своему тощему рюкзачку:

— Я взяла. Только консервы, на всякий случай. И хлеб. Будешь?

— Конечно!

Юра, ловко орудуя перочинным ножом, вскрыл банку тушенки, поднес к носу и блаженно зажмурился:

— Ух, и пахнет здорово!

Он поставил банку у края костра, и через несколько минут тушенка забурилась янтарными пузырями.

— Прошу к столу! — торжественно произнес Юра. — Вилки, ложки и прочие приметы цивилизации отсутствуют. Рекомендую изобретенный мною способ!

Он окунул в банку узкий ломоть хлеба. Люся тоже попробовала пропитанный жиром бутерброд и вяло пожевала.

— Песок... На зубах скрипит.

Будто обрадовавшись, Лена немедленно, с ехидной озабоченностью спросила:

— Не нравится?

Люся хорошо понимала, что взвинченной до предела Стрельцовой сейчас нельзя возражать, достаточно одного неосторожного слова — и она взорвется.

Она понимала Лену, сочувствовала ей и все-таки не сдержалась, с вызовом ответила:

— Да! Не нравится! Ашир! — позвала она шофера. — Садись кушать. Не останется.

— Спасибо! Пока не могу. Мотор закончу...

Лена не взорвалась, Лена с удивлением посмотрела на Люсю и тоже отломала кусок хлеба, потянулась к банке консервов. А Юра крутнулся на месте и заорал во все горло:

— Люся! Лена! Добыча!

В его руках беспомощно гребла по воздуху лапами черепаха, она шипела и судорожно водила из стороны в сторону змееподобной головой на морщинистой, дряблой шее.

— В песках верят, — криво усмехнулась Лена, — если черепаха пришла на костер, — ожидай счастья. Подвела примета: я жду суда...

— Чепуха! — отрезал Юра. — Все образуется. «Пройдет и это», как изволил выразиться царь Соломон. Но примета действительно неважная. Мне не нравится, что счастье со скоростью черепахи должно ползти к человеку.

— А знаешь, — Лена взяла у него черепаху, покачала ее на ладони, — черепахи ведь по-своему умные. Умные и дружные. Года два назад среди нас нашелся специалист по черепашему супу. Сначала ребята и пробовать не решались, отплевывались. Потом понравилось, даже из соседнего отряда приезжали. И тогда — не помню, кто первый изобрел, — к колышку палатки за ногу на ночь привязывали черепаху. Она вралась, шипела, а к ней сползались ее приятели. Они тоже шипели, озабоченно ковыляли, помочь не могли, но и не уползли до утра.

Утром мы весь улов подбирали и опускали в глубокий шурф, где и держали до приезда гостей. Шурф назывался у нас «черепаший фермой».

— Подло! — невольно вырвалось у Люси.

— Да, — грустно и спокойно согласилась Лена. — Не рыцарская охота. Я ругалась с ребятами, запрещала, но они отшучивались: «Дисциплину не нарушаем, норму вырабатываем. Не занимайся формализмом, начальник».

Лена положила черепаху на песок, легонько шлепнула ее ладонью по панцирю и поднялась с кошмы:

— Старый Алты с отарами уже на скважине. Ашир, ты в гараже не слышал: кто-нибудь по этой колее сегодня собирался?

— Да. Должны были трубы везти на вышку Карлиева. — Ашир лязгнул капотом мотора, присел у костра, взял оставленный ему бутерброд и, ни на кого не глядя, добавил: — Пока ночь, не опасно. Ночью овцы потерпят.

— А днем начнутдохнуть! Спасибо, утешил! Ты сам видел в прошлом году, что стало с отарами на колодце Шах-кую, когда кончилась вода. Все склоны барханов были покрыты трупами овец, и обезумевшие собаки металась между ними, не понимали, в чем дело, и выли, выли, выли... А чабана помнишь? Я протянула ему флягу, а он не смог и глотка сделать. Плакал. Туркмен плакал...

— Страшно! — вздрогнула Люся. — Что же будет?

— Стыдно будет! — резко сказал Ашир. — Очень стыдно! Меня вся пустыня знает, старики со мной первыми здоровались: верили, никогда Ашир с тропы не сойдет, никогда помощи не попросит. Девушка у меня есть, жениться хотел. Как я ей на глаза покажусь?

— Не психуй! Ты ни в чем не виноват... Всю ответственность я беру на себя! — Лена усмехнулась. — Ну, а глаза... В крайнем случае другие глаза найдешь. Ты парень видный.

— Других глаз мне не надо, начальник, — не остался в долгу Ашир. — Таких глаз больше на земле нет. И больше я у костра греться не хочу! Отсюда по колее обратно до Джумаятган пять километров. От могильника налево тропа, прямо на Полярную звезду. Там тоже километров пять и колодец Карза-су. На Карза-су всегда чабаны. К утру вернусь. С водой вернусь.

— Я уже думала об этом, — устало и тихо проговорила Лена. — Но тебе уходить нельзя. Вдруг появится какой-нибудь тип на колесах? Заправим радиатор и двинем.

— Все ясно! — поднялся Юра. — За водой потопал я! Десять километров — чепуха!

— Сядь! — поморщился Ашир. — Один шаг в песках — тысяча по асфальту. По песку ходить не умеешь, после первого бархана отдыхать ляжешь. Солнце встанет — в пустыне одному смерть.

— Я не один. Вместе с Люсей пойдем, — не сдавался Юра. — Я ее тренировал. Кстати, проверим тренировку.

— Так я вас и отпустила! — отмахнулась Лена. — Здесь не стадион. Заблудитесь, ошалееете от жажды, и с вами вдобавок возись.

— Тогда вот что. — Юра заговорил деловито и уверенно.

«Давно тебе пора вмешаться! — обрадованно встрепенулась Люся. — Ты же умный, ты должен найти выход! Обязан!»

— Предлагаю единственно правильное решение. На колодец пойдет Ашир, а если подвернется машина и нам отвалят водички, мы, надеюсь, до скважины доберемся. Прочти, Ашир.

Он протянул Аширу завернутую в целлофан кни-

жечку, и Ашир при свете костра вслух медленно прочел:

— «Удостоверение шофера-любителя»... имеет права управления автомобилями без права работы по найму. Спрячь.

— Почему?

— Это для милиционеров. А тут их нету. Ходить по пескам трудно — сидеть за рулем еще трудней. Без опыта не получится. И двух километров не получится.

— Хватит разговоров! — прикрикнула Лена. — Идти все равно некому. Я нужна на буровой, Аширу вести машину...

Но Юра не сдался:

— Послушай, Лена...

— И слушать не желаю! Прекрати болтовню! Приказываю ждать! Мы на проезжей колее. Разложим еще два костра, может, с другой колеи заметят. Пошли, заготовим побольше саксаула. Люся, заметишь фары или услышишь мотор, не стесняйся, плесни бензинчика на костер. Ашир, дай ей канистру.

Юра, словно окончательно снимая с себя ответственность, пожал плечами. Ашир поставил возле Люси канистру.

Люся постояла с минуту и поднялась на гребень бархана — фар на горизонте не было.

В душе шевельнулся смутный страх. Она с утра, целый день, ничего не боялась. Абсолютно ничего. И, когда здесь, между вот этими барханами, последний раз надрывно взревел мотор, когда выкипела в радиаторе последняя капля воды и стало ясно, что без помощи им не выбраться, она не испугалась. С ней в беду попали три человека, все трое ничуть не меньше ее любят жизнь и легко не сдадутся. Она все понимает, но смутный страх остается...

Люся вернулась к костру, заметила на песке Юрину тетрадь и раскрыла ее. Юра, оказывается, ведет дневник! Удивительная новость! Ничего ни разу ей он об этом не говорил...

Близко в темноте сухими, короткими выстрелами трещали сучья на кустах саксаула. Ашир, Юра и Лена громко переключались, а она лихорадочно читала страницу за страницей...

Прибежал Ашир с охапкой, Люся поспешно сунула тетрадь под канистру, Ашир улыбнулся ей и снова исчез. Она достала тетрадь и дочитала до конца...

Она поняла причину смутного страха. Страх был из-за Юры. Он сегодня совсем другой. Лена наорала на него, отчитала, как жалкого мальчишку, а он и не вздрогнул, не повел бровью, сник, безропотно выполняет ее нелепые распоряжения...

Разве это Юра? И в его дневнике... Ну, про дневник потом...

— Юра! — крикнула она. — Юра!

— Иду!

Он вынырнул из темноты, с размаху швырнул сучья на костер.

— Зеваешь! Гаснет! Что стряслось?

— Что нам делать, Юра?

— Ты о чем?

— Утром на скважине произойдет несчастье...

— Да... — Он пошевелил веткой угли в костре. — Несчастье из-за глупости...

— А если достать воду для радиатора? — Она положила ему руку на плечо. — Нам с тобой надо сходить на колодец. Только нам!

— Ты слышала, — он продолжал ковыряться в углях, передразнивал с усмешкой: — «Приказываю ждать!»

— Нельзя приказывать ничего не делать! Так не бывает! Она просто нам не верит, боится за нас!

«Похоже, я его умоляю! — спохватилась Люся. — А его нужно разозлить! Обязательно! Иначе ничего не получится!»

— Струсил?

Он вскочил. Люсиная рука слетела с плеча, глаза его сузились.

— Не подначивай! Тут не до шуток! Я не скрываю, передержал меня Бармин у парафина, я и не научился ориентироваться в песках. А командир здесь — Лена. Придется подчиниться.

Она отшатнулась от него, что-то в душе вздрогнуло и больно оборвалось, пришлось медленно опуститься на канистру.

— Вот и порядок! — Юра легонько обнял ее. — Не переживай. Все образуется...

Вернулись с саксаулом Лена и Ашир, на гребнях соседних барханов разожгли еще два костра, и Стрельцова отдала распоряжение:

— Спать по очереди! Кто первый подежурит?

— Я! — поспешно приподнялась Люся.

В ЭФИРЕ ПОМЕХИ

Тетя Паша сидела за спиной у Тита и, не торопясь, монотонно диктовала:

— «Согласно вашей заявке, послала вчера бочку малосольных огурцов. Точка. Возможности доставки помидоров выясняю».

Тит стучал на ключе, не вдумываясь в смысл слов. Его голова была забита совсем другими заботами. Тит страдал, Тит жестоко терзался угрызениями совести.

Не зря он вчера встревожился от необычного вида Мерета.

— Я тебя прошу... — с трудом пробормотал Меред, — очень прошу... Не говори Павлу Николаевичу про катастрофу у Лены на скважине. Как друга прошу...

— Ты очумел! — изумился Тит. — И не думай! Кому угодно, но старику соврать не могу!

— Врать не надо! — У кандидата наук на лбу выступили крупные капельки пота. — Помолчи только! До следующей связи помолчи! После обязательно расскажем! Вдвоем расскажем! Она все исправит, вода там есть!

Чтобы сразу покончить с неприятным разговором, Тит поднялся и казенным голосом отчеканил:

— Каждую служебную радиogramму я должен немедленно показать начальству. Все!

Но с Меретом произошло невероятное: он прыгнул к дверям, загородил их, в его темно-лиловых узких глазах сверкнули бешеные огоньки:

— Не пуш! Через мой труп! Ты и вправду не человек! Вместо души у тебя анод, катод, одна техника!

Ошеломленный Тит замер на месте и, проклиная свою слабохарактерность, согласился:

— Ты меня на чувствительность не бери! Заплачу! Ну, ладно, следующая связь с Леной завтра в двенадцать ноль-ноль. До завтра помолчу. Но в двенадцать ноль шесть Павел Николаевич будет знать даже про твои тигриные прыжки.

— Спасибо, Тит! — бросился обнимать его всегда сдержанный Меред. — Ты мой самый лучший друг!

...Тетя Паша деловито перечисляет бочки с огурцами и капустой, сыплются в эфир точки и тире,

а самый лучший друг влюбленного заместителя начальника экспедиции по научной части тревожно поглядывает на часы, вмонтированные в панель передатчика. Большая стрелка неумолимо подтягивается кверху, к цифре «12».

— Объясните,— бубнит из-за спины тетя Паша,— почему отказались от сушеной картошки.

И вдруг взрыв, катастрофа, ключ под пальцами дернулся, на секунду замер, Тит восторженно от возмущенного вопля:

— Да где я вам свежую найду! Тут вам не Полтава!

Не оборачиваясь, он ехидно поинтересовался:

— Так и передавать?

— Извиняюсь! — перевела дух старуха и обмахнулась листками радиogramм.— Кого хочешь из терпения выведут! Распустились! Скоро мороженое в пустыню потребуют!

— А что? — пожал плечами Тит.— Растут запросы. Торопитесь перестраиваться, тетя Паша.

Она огрызнулась:

— Не учи! Молод еще! Давай третью бригаду!

Он быстро нашел нужную волну, уступил свой стул, отошел к затянутому марлей окну и с удовольствием разжег давно погасшую трубку.

— С третьей проще. Она ближе. Обойдетесь без меня.

Тетя Паша привычно подвинула к себе микрофон, на всякий случай откашлялась и щелкнула тумблером:

— Третья, третья! Я тетя Паша! Я тетя Паша! Сообщите, в чем нуждается. Прием!

Тит жадно затаился и поморщился. Сколько раз он убеждал упрямую старуху: выходить в эфир по правилам, с нашими позывными! Черта с два послушала! «Я,— говорит,— не секретная! Я тетя Паша, нечего мне за непонятные цифры прятаться!»

А из динамика в радиорубку ворвался визгливый, захлебывающийся голос:

— Я третья! Я третья! Тетя Паша, у нас сегодня Зоя — именинница. Посоветуйте, что можно сделать вкусенького! Прием!

Тетя Паша снова щелкнула переключателем и, совершенно не заботясь, что ее, возможно, слышат на Гавайских островах и в Антарктиде, начала преспокойно рассуждать:

— Зоя? Которая, рыженькая? Сейчас подумаю. Хорошо бы миндальный торт, но у вас миндаля нет. Я ваши запасы знаю. Сделайте песочник. Бери карандаш, записывай.

«Что там у них за рыжая Зоя?» — машинально заинтересовался Тит. Он напряг память и никакой рыжей с третьей бригады не вспомнил. Опять почему-то отчетливо увидел лицо Люси, ее доверчивые, большие глаза, и снова смутная тоска и раздражение заполнили душу. Кажется, у него всерьез сдали нервы. Исчезла, испарилась надежная броня из иронии, и он забыл, что через год ему стукнет ровно тридцать лет...

Надо бы сосредоточиться, собраться, каждую минуту в радиорубке может появиться Бармин — он обязательно наведывается в первой половине дня, — но мешала тетя Паша.

Он курил и, уставившись на старуху, обалдело слушал рецепт песочного торта, летящий над пустыней и над всем земным шаром.

— Пиши,— невозмутимо диктовала тетя Паша.— На два стакана муки сто пятьдесят граммов масла, три четверти стакана сахара. Будешь мерить кружкой, бери белую, эмалированную. Она как раз стакан... Два яйца добавишь. Без ванилина обойдешься,

а сверху положи варенье или повидло, что у вас осталось. Поняла? Перехожу на прием!

А динамик в ответ испуганно завизжал:

— Повторите про ванилин! Повторите про ванилин! Прием!

— Обойдешься без ванилина! — гаркнула тетя Паша.— У меня все!

Она встала, ловко бросила в рот тоненькую папироску и в поисках спичек совсем по-мужски похлопала по карманам своей полотняной куртки.

— И верно, растут запросы. Хочешь не хочешь, а свежую картошку доставать придется.— Она выпустила дым сквозь ноздри.— Что у Ленки стряслось? Зачем опять в пески рванула?

— Не знаю,— промямлил Тит.

— Темнишь! — усмехнулась тетя Паша.— И Люську за собой потянула. И студент с ними сбежал. Нечистое дело тут. Точно. Ну да со студентом понятно. Любость! Ладная они пара, глядишь, еще и свадьбу здесь сыграем. Люблю свадьбы. Будь здоров!

— Приветик!

Тит с облегчением вздохнул. Он весь кипел. Тетя Паша права: возможно, свадьба будет. Вполне возможно! Ну и пускай! Пускай она выходит за Юру замуж! Ему-то что?

Поглядывая на циферблат, он измерил шагами из угла в угол радиорубку, и табак от лихорадочных затаек сердито трещал в трубке...

Тит резко остановился, с ненавистью взглянул на часы и вдруг понял: Люся чем-то очень напоминает его самого, каким он был шесть лет назад, а студент — Тоню Маевскую! Честное слово, все обстоит именно так! Люся тоже «материал» для студента. Безропотный, покорный материал, а в результате — обязательно несчастье, обязательно искалеченная жизнь...

Дверь в радиорубку пронзительно скрипнула, влетел Меред, громким шепотом выпалил:

— Бармин!

— Думаешь, вдвоем легче врать? Учи — уговор прежний. Мое молчание кончается. в двенадцать ноль шесть.

Бармин поздоровался с Титом, присел к столу и развернул журналы радиogramм с буровых отрядов. Он шелестел страницами, и Титу показалось, что листает он журнал нарочито медленно, что он тоже украдкой поглядывает на часы.

— Все ясно,— сказал Бармин.— Значит, не передала только Стрельцова?

«Неужели знает?» — Тит почувствовал на висках холодные и липкие капельки пота.— Про отъезд Лени ему, конечно, доложили. Но вот про овец и колодец...»

Стараясь придать голосу абсолютное равнодушие, он ответил:

— У нее связь позже, Павел Николаевич.

— Ну, за нее я спокоен. В общем, здорово получается, Меред...

— Да! Да! — фальцетом нелепо поддакнул канديدат наук.

— Что «да, да»? — уставился на него Бармин.— Ты чего кислый? Ты лучше на сводки посмотри — мы с тобой правы. Вода здесь будет. И нам удастся соорудить хорошо продуманную систему колодцев. Профессор закурил сигарету, отмахнулся ладонью от дыма и продолжал:

— Странно устроен человек! Лет этак двадцать назад я бы наверняка пел, танцевал и мчался куда-то. Как Леночка. Не выдержала! Не дописала отчет, укатила, не попрощалась.

— Она передавала вам привет! — с отчаянием выпалил Меред.

Бармин круто повернулся на стуле:

— Ах, так вам известно, из-за чего она сорвалась?

На кандидата наук было жалко смотреть. Его смуглое лицо побелело, всегда открытые, спокойные глаза бегали по сторонам. Тит отвернулся и ни с того ни с сего принялся щелкать переключателем диапазонов запасного передатчика.

— Не знаю...

— А я знаю! — торжествуя произнес Бармин. — Еще раз проверить, еще раз убедиться — главное качество настоящего исследователя.

У Тита заняли зубы. Ему стало страшно, что Павел Николаевич, пронизывающий, умный, всегда все понимающий Павел Николаевич Бармин даже и не пытается догадаться, что его водят за нос. Настолько им верит, что не замечает ни побелевших щек кандидата наук, ни вспотевшего радиста.

Тит оставил в покое злосчастный переключатель диапазонов и спросил:

— А студент?

— И студент! — Бармин засмеялся. — Признаюсь вам по секрету, я давно ждал, когда ему надоест парафин. Выговор я ему, для порядка, вкачу, но он молодец! Честное слово, молодец! А вот девушка меня немного беспокоит...

Тит машинально, уже совсем не контролируя себя, вслух подумал:

— И меня тоже...

— Да-а? — протянул Бармин и лукаво подмигнул Мереду. — Ты не находишь, что борода проявляет повышенный интерес к чужой невесте?

— Вас ждут в камералке, Павел Николаевич, — взмолился несчастный кандидат наук.

Но Бармин словно и не услышал вопля Мереду.

— Насчет девушки могу сказать следующее: если сбежит, — правильно. Выдержит недельку-другую, шурф у Лены легкий, — решим, что с ней делать дальше.

Профессор повернулся к столу и опять зашелестел страницами журнала.

— Дай листик бумаги, Тит. Я кое-что хочу выписать.

Стрелки на циферблате соединились в одну линию на цифре «12».

Тит неуклюже и тяжело, как в дурном сне, открыл в углу тумбочку, достал отрывной блокнот, протянул его Бармину и встретился взглядом с Мередом.

Кандидат судорожно дергал шеей, приглашал выйти за дверь радиорубки.

В коридоре он прошептал:

— Как его отсюда увести?

— Поджечь бензохранилище!

— Мне не до шуток!

— А мне весело! — схватился за голову Тит. — Из-за ваших овец сам бараном стал! Не знаю! Ничего не знаю!

— О чем вы там секретничаете? — Бармин посмотрел на них сквозь открытую дверь, поднялся и спрятал исписанные бумажки в нагрудный карман ковбойки. — Стрельцовой не пора появляться в эфире?

— Нет! — отрезал Тит.

— Но уже двенадцать...

— Я перенес время. — Он ненавидел себя сейчас. — В двенадцать в эфире помехи, я перенес на четырнадцать. Так удобнее...

— Почему меня не поставил в известность?

— Забыл, Павел Николаевич...

— Развинулся! Без пяти два позовешь. — Бармин задержался на секунду в дверях и жестко доба-

вил: — А время вернешь прежнее. Мне так удобнее! Понял? С помехами что-нибудь придумай. На то и радист. Пока!

Тит бросился к столу, путаясь в шнурах, напялил наушники и, нажимая на головку ключа, рывком:

— Дорого мне обходятся ваши букеты!

— Ладно! — отмахнулся Меред. — Давай скорее!

Радист Тит Бесогинов великолепно знал почерк Маши Темяковой, радистки бурового отряда Стрельцовой. Он мог различить торопливую, но меланхолическую морзянку среди тысяч других, несмотря на свист и треск в эфире...

И все же радист Бесогинов переспросил радистку Темякову. А когда она подтвердила свой ответ, он встал, и Меред с испугом от него отшатнулся.

— Стрельцова на вышку не прибыла...

АШИР ПРИНОСИТ ИЗВИНЕНИЯ

Большее он не имел права скрывать правду. Сначала он обманывал себя, а теперь обманывает двоих вконец измученных, выбившихся из сил людей.

Но и сказать сейчас правду тоже нельзя. Правда может их всех погубить. Нужен отдых, короткий отдых.

Ашир обернулся и спокойно сказал:

— Привал. Десять минут привал.

Лена шагнула в сторону, прилегла под кустом саксаула, Юра еще постоял, облизнул до черноты запекшиеся губы.

— Черт! Горит во рту!

— Да! — кивнул Ашир. — Воды все равно нет. Ложись, ложись, легче будет.

Юра растянулся рядом со Стрельцовой, а шофер прислонился к раскаленному склону бархана и глубоко надвинул козырек пограничной фуражки.

Он думал о старом Алты. Он до последней морщинки знал лицо знаменитого на всю пустыню чабана: нос с крылатыми ноздрями и горбинкой, седую бороду полумесяцем и узкие, пронзительные глаза.

И он знал, что при встрече старый Алты скажет: «Зря тебя человеком считали! Как ты посмел одну девочку в пески отпустить?»

И бывшему пограничнику, лучшему шоферу экспедиции, нечего будет ответить. А если он и попробует что-нибудь объяснить, он услышит слово, похожее на выстрел: «Сем бол! — Молчи!»

Шофер Ашир Сахатов слишком долго слушался Стрельцову, выполнял ее путанные приказания.

Он не имел права выезжать в обратный рейс на полуразвалившейся машине, с полупустым, рассыпавшимся чулком воды.

Он обязан был не подчиниться Стрельцовой и сам сходить за водой на Карза-су.

Да и в самом начале, еще по пути из отряда в Карабай, у него должно было хватить ума вежливо посоветовать чабану Алты не поворачивать на новый колодец. Старшим, конечно, советы давать не положено, но Алты обругал бы его за непочтение — и только. Он бы не сказал, как скажет сейчас: «Зря мы тебя человеком считали!»

И еще Ашир Сахатов думал о колхозной кассирше Мехри. Она теперь обязательно отвернется от него — от мужчины, у которого оказалась слишком покорная спина, незоркие глаза и слабая воля.

— Что делать будем? — пробормотал Юра и рванул на себе ковбойку.

— Нельзя, — очнулся от своих невеселых дум Ашир. — Нельзя раздеваться. Совсем конец будет.

— Он и так будет, — ответил студент и снова откинулся на песок. — Словно и не двадцатый век! Забыли о нас! Все забыли!

С трудом ворочая распухшим языком, Ашир попробовал его успокоить:

— Не забыли. Не знают. Узнают — быстро найдут. Отсюда до жилья недалеко.

— Живых найдут или мертвых? Нас или Люсю? — криво усмехнулся Юра.

— Начальник, — хмуро повернулся к Стрельцовой Ашир, — скажи ему, пусть помолчит. Пусть силы бережет.

Стрельцова, не поднимая головы, отозвалась зло и горько:

— Хорош начальник! Девчонка — и та не подчинилась!

Уже несколько недель Ашир видел, как переменялась Елена Игнатьевна Стрельцова.

Она часто раздражалась по пустякам, часто несправедливо набрасывалась на рабочих и тут же как-то слишком быстро и виновато замолкала, молчала целыми днями.

Что происходит в душе начальства — подчиненным знать не обязательно. Но Ашир подметил: грубо и некрасиво разговаривала она у костра с новым учеником коллектора — Люсей. А в чем девчонка из Москвы виновата?

Хотел или не хотел Ашир Сахатов, но он стал приглядываться к суетливому студенту Юре. Неужели он причина?

А засуетился он сразу, как только Ашир проснулся, нашел на кошке записку Люси и разбудил их. Короткая была записка: «Пошла на колодец за водой. Не беспокойтесь — Полярную звезду знаю».

Ох, и заметался же студент! Он помчался в темноту, заорал: «Люська! Люська! Отзовись, Люська!»

Потом вернулся, выхватил из кузова геодезическую рейку, что валялась в кузове, поломал на три части и распорядился:

— Факелы! Ашир! Давай тряпки, бензин! Она где-то здесь, близко. Не могла она далеко уйти, не могла! Она просто обиделась, она из-за упрямства не откликается. Я-то ее знаю!

И опять Ашир Сахатов поступил глупо: он повеял студенту. Очень уж у студента был деловой вид...

Они с факелами добрый час, а может, и два кружили по ближним барханам и кричали: «Люська! Люська!»

А когда она ушла? Никто не знал. Они все проспали глухим сном, измученные дорогой, ремонтом машины и сознанием собственной вины перед старым Алты.

Елена Игнатьевна словно окаменела, она совсем перестала быть начальником, и Ашир наконец не выдержал, отшвырнул факел и сказал — правда, поздно сказал:

— Неправильно! Надо на тропу к старому могильнику, мы ее догоним. Ночь короткая, а подымется солнце...

— Ты думаешь, с ней несчастье? — перебил его студент испуганно.

Ашир ответил:

— У нас говорят: «Самый короткий путь, который знаешь». А она не знает. Спасать ее надо...

...Стучит сердце в груди шофера Ашира Сахатова, тяжелые мысли у него в голове. Нет, не он спасет москвичку, не он поднимет ее с раскаленного песка...

...Еще несколько минут, и пора объявить правду,

пора идти дальше — навстречу своему спасению и своему позору...

...У него три фляги — все, что он слил с разошедшегося чулка. Две фляги они уж выпили. В рюкзаке одна, последняя — и та неполная. Ее придется делить по глотку. По одному глотку после каждого километра...

...До рассвета они шли легко. Студент все забегал вперед. Ясно: он любит москвичку, он больше всех за нее волнуется. Но для чего прыгать глупым джебраном, силы тратить?

...Путаются мысли шофера Ашира Сахатова, и соленый пот ползет под закрытые, набрякшие веки...

...Осталась минута, и пора объявить правду, пора идти навстречу спасению и позору...

— Вы слышите? — вскрикнул Юра. — Ты слышишь, Ашир?

— Слышу! — ответил Ашир. — Давно слышу: самолет.

— Так что же вы сидите? — затормозил его студент. — Они нас ищут, давайте костер, давайте...

— Рейсовая машина, — успокоил его Ашир. — В двенадцать часов обязательно пролетает.

— Темякова вышла в эфир, — пробормотала Стрельцова.

А студент увял, но продолжал, прищурившись, смотреть в раскаленное небо:

— Через двадцать минут — тень, вода, и никаких барханов.

Время отдыха кончилось. Ашир встал и поправил зеленую фуражку:

— Я сказать вам должен...

Он запнулся, и Юра нетерпеливо передернул плечами:

— Что там еще?

— Я вам сказать должен, я ошибся. У старого могильника было слишком много следов. Во все стороны следы. А тропа одна — на колодец Карза-су. Мы идем правильно. Мы на колодец идем. А москвичка пошла неправильно. Если бы сюда пошла, мы бы ее уже догнали.

Они смотрели на него спокойно и тупо, еще не понимая, что произошло.

— Она сбилась с тропы. Она куда-то в другую сторону пошла. — У Ашира Сахатова вздрагивал подбородок. — Отсюда до Карза-су три километра. Обратно мы идти не можем. Не дойдем. Мы только до Карза-су дойдем. Там всегда чабаны. Мы возьмем у них верблюдов.

Он не договорил. К нему прыгнул студент и рванул за воротник гимнастерки.

— Эх ты! Ах ты! Завел, заманил, запутал!

Юра отшатнулся от Ашира, на его губах запузырилась серая пена, он с бешеной легкостью выбежал на гребень бархана.

— Хватит! Я пошел! Я хочу жить!

— Стой! — крикнула Стрельцова. — Я тебе приказываю: стой!

— Ха! — всплеснул руками студент. — Хватит! Наприказывала! Люська пропала, и мне пропадать! Плевал я на твои приказы!

На одну секунду промелькнуло у Ашира давнее-давнее детское воспоминание. Такая же жара, так же мало воды, и он вместе с отцом идет с караваном верблюдов по Центральным Каракумам до колодцев Бала-Ишем. Старший каравана — караванбаши — выдает воду по полкружки в день, и один из караванщиков, молоденький, до этого все время веселый, вдруг швырнул на землю папаху, на губах его тоже выступила пена, и он побежал в сторону от тропы, он тоже захотел уйти подальше от людей,

которых посчитал своими главными врагами. Отец догнал его и...

Пять шагов сделал студент, и пять шагов сделал Ашир. Собрав последние силы, он с размаху ударил студента по скуле. Студент упал легко, уткнулся в песок лицом.

— Как ты посмел? — растерянно крикнула Стрельцова. — Как ты посмел, Ашир?

— Извините, Елена Игнатьевна, — повернулся к ней шофер. — Извините. По-другому нельзя. Ему смерть в глаза посмотрела...

Ашир стянул с плеч рюкзак, вынул последнюю флягу и приподнял голову Юры. Студент начал пить. Пил он не отрываясь, жадно, вода стекала струйками по подбородку, на рубашке затемнели влажные пятна. Потом он встряхнул флягу, словно хотел убедиться, что она пустая, и недоуменно посмотрел на Ашира и Лену:

— Что? А?

— Вставай, — сказала Лена. — Надо идти. Понял? Голос ее снова прозвучал знакомо и привычно. Была в нем уверенность и скрытая сила.

Ашир с уважением покосился на Стрельцову и облегченно вздохнул: «Все равно она настоящий начальник. Что было — прошло».

А студент опять зачем-то потряс флягой и всхлинул:

— Последняя? Я выпил последнюю, да?

— Да, — жестко ответила Лена. — Вставай! Мы идем на колодец Карза-су.

И она пошла. Пошла впереди Ашира, твердо ступая, не оглядываясь, слегка расправив плечи и чуть откинув назад голову в пропыленном берете...

«СТО ПЯТЫЙ» В ВОЗДУХЕ

Летчик вертолета был молодой. На его пунцовых щеках не заметно было ни малейших признаков растительности, и если бы снять с него синюю форму с золотыми шевронами на рукавах и наушники, он выглядел бы пай-мальчиком, круглым пятёрочником из десятого класса.

Он сразу признался, что на поиск пропавших без вести людей он летит впервые, и сейчас страшно волновался, крутил из стороны в сторону головой, стриженной под ежик, время от времени взвизгивал тонким голоском сквозь грохот винтов:

— Вон, вон! Слева! Смотрите! Чернеет!

Меред морщился, но не отрывался от иллюминатора. Летчик раздражал не только его — рядом сердито поерывал фельдшер Бияшимов, передергивал плечами Бармин. Последний в конце концов не выдержал:

— Помолчите! И попробуйте связь.

На худенькой шее летчика задвигались пятюльки ларингофона, он обиженно забубнил:

— Я — сто пятый! Я — сто пятый! Семьсот третий! Семьсот третий, выходи на связь! Прием.

Несколько раз он повторил свои позывные и отключился. Второй вертолет не отвечал. Значит, он еще не поднялся в воздух.

Но и они тоже не сразу вылетели...

Летчик больше не говорил, затих фельдшер Бияшимов, а Меред все продолжал болезненно морщиться...

...С радиограммой Маши Темяковой они с Титом вбежали в кабинет Бармина. Павел Николаевич их не перебивал, лишь слегка сузились у него глаза и дрогнул огонек спички, когда он закурил. Потом он тихо, очень тихо спросил:

— У Ашира серьезные неполадки с мотором?

Они поняли Бармина. На скважину к Стрельцовой проложено две колеи. Одна дальняя, более проходная, мимо колодца Карза-су, и другая, сокращавшая путь на добрых двадцать километров, по сыпучим крутым барханам Кош-гумбез. Какую колею выбрал Ашир Сахатов — вот о чем спрашивал Павел Николаевич Бармин.

— Не знаю... — растерянно пробормотал Меред. — О дороге мы с ним не говорили. Но Ашир зря рискует не станет.

— А Стрельцова? — Бармин швырнул в окно сигарету и с треском завертел ручку старинного телефона в деревянной коробке. — Соедините с медпунктом. Медпункт? Товарищ Бияшимов, попрошу вас никуда не отлучаться. За вами заедут из экспедиции.

Он дал отбой, пронзительно зазвенели блестящие звоночки на деревянной коробке. Меред и Тит невольно вздрогнули, но Бармин, словно не замечая их, рассуждал сам с собой:

— Один вертолет вернется в Карабай минут через сорок. Второй — попозже. Поиск все равно надо вести и на Карза-су и на Кош-гумбез.

— Павел Николаевич! — решительно шагнул вперед Тит. — Я хочу...

— А я не хочу! — взорвался Бармин и, тут же закулив новую сигарету, спокойно закончил: — Я ничего не хочу. Мне нужна только твоя трудовая книжка. И немедленно!

Остаться наедине с Барминым оказалось Мереду не по силам. Он почувствовал, что старику стыдно за них и горько. Много лет, до сегодняшнего дня, он им верил, как самому себе...

Меред выскочил вслед за Титом в коридор и стукнул кулаком по стене:

— Подлецы! Мы обыкновенные подлецы!

— Все любовь твоя, будь она трижды неладна!

Они вместе вернулись в кабинет Бармина, и Бармин кивнул Титу на стул:

— Садись. Пиши: «За вранье в служебное время выносятся строгий выговор с последним предупреждением».

— Вроде такой формулировки не бывает... — робко возразил Тит.

— Теперь будет. — Бармин размашисто поставил подпись в трудовой книжке радиста Бесогонова. — Печать после. И, будьте любезны, ключики. С шулерами не играю.

Два английских, до последней бороздки привычных ключа от квартиры на улице Станкевича, будто стеклянные, осторожно легли рядом на стол, и Меред угрюмо сказал:

— Начинать выговоры надо с меня, Павел Николаевич.

— С тобой разговор особый. Ты мой заместитель, с тебя больший спрос. А сейчас так: я лечу с первым вертолетом на Карза-су, ты со вторым, для контроля, на Кош-гумбез. Встретимся...

— Нет! — с отчаянием крикнул Тит. — Нет!

Щеки у него побелели, борода растрепалась, он умоляюще протянул к Бармину руки.

— Павел Николаевич! Павел Николаевич! Вот — пальцы трясутся! Какой с меня здесь толк! Мой сменищик справится — я его проверял. А дорогу на Кош-гумбез я наизусть знаю! Возьмите меня с собой! Возьмите!

Брови у Бармина вскинулись кверху, он внимательно посмотрел на радиста и покачал головой:

— Ты действительно не в форме. Что ж, попробую поручить тебе Кош-гумбез. Ждите у машины. Во дворе возле «газика» стояли тетя Паша и Курбандурды.

«Уже знают,— тоскливо подумал Меред.— И тут сработал узун-кулак».

— Что? — злым взглядом стрельнула тетя Паша в Мереду.— Ленка по пескам ездить разучилась?

— Ерунда! — попытался улыбнуться Меред.— Мотор забарахлил, застряли где-нибудь на колее.

— А овцы? — весь взъерошился Курбандурды.— Зачем старого Алты обманула? И зачем девочку, совсем ребенка, в свой обман потянула?

— Первый раз у нас такое! — сплонула тетя Паша.

— Не шумите, товарищи! Разберемся,— сказал Бармин, выходя из штаба.— Поехали!

В медпункте поселка Карабай они забрали с собой фельдшера Бияшимова. Пожилой, с широким, изрытым оспой лицом, Бияшимов лишних вопросов не задавал, но предупредил:

— Я — практик. Серьезный диагноз надо — врач надо...

На такыре, за поселком, где висела полосатая колбаса на мачте, они ждали первый вертолет еще с полчаса. Руки перед вылетом Бармин Титу не подал, сухо бросил через плечо:

— Взлетишь — немедленно связь с нами. Через каждые двадцать минут.

А Тит, наверно, впервые вспомнил, что в прошлом он военный моряк, вытянулся по стойке «смирно».

— Есть...

...Мельтешит, крутится полупрозрачная, голубоватая тень над песками от винтов вертолета № 105, вертолет потряхивает из-за небольшой высоты, между барханами двумя темными, рыхлыми полосами извивается по-прежнему безжизненная колея, и по-прежнему не отрывается от иллюминатора кандидат наук, заместитель начальника экспедиции Меред Непесович Непесов.

И, если не считать сердитого окрика на мальчиш-ку-летчика, по-прежнему молчит доктор геолого-минералогических наук Павел Николаевич Бармин...

Правильно! Разговаривать со своим заместителем не стоит. Меред понимает: ничего, кроме презрения, он не заслуживает. И Бармин правильно поступил, потребовав от него ключ.

...Английский ключ, оставленный сегодня на столе,— предательство памяти отца, старого Непеса. В отличие от остальных, заработавших ключ в пустыне, Меред по наследству получил право входить без звонка в квартиру на улице Станкевича...

...Каждый в экспедиции может перечислить удачу и достижения гидрогеолога первой величины Павла Николаевича Бармина. Каждый знает, что его поиски воды в Южном Казахстане превратили голую, засоленную степь в отличные пастбища величиной со Швейцарию, что в Отечественную войну он снабжал водой рудники, что здесь, в Каракумах, он открыл подземное озеро и нефтяные промыслы получили свой водопровод...

Но никто, кроме Мереды Непесова, не знает Бармина со дня своего рождения в прямом смысле слова...

...Сын родился весной тридцать третьего года, и искатель воды Непес пригласил на торжество другого искателя воды, русского Павла Николаевича Бармина. Они вместе уже несколько лет надолго уходили в пески, и Бармин внимательно сравнивал древние, народные приметы с собственными наблюдениями и выводами.

Они не были побратимами, как Павел Николаевич и Алты, но все равно были как братья. И в разгар праздника счастливый Непес поднял спеленатого сына, высоко пронес над гостями и положил на колени Бармину.

— Я отдаю его тебе, Акбашбала. Я породил его — ты сделай из него человека.

...Так о его первой встрече с Барминым рассказывали Мереду мать и отец...

...Сколько Меред помнит себя, столько он помнит и Павла Николаевича, хотя Бармин наведывался к ним неожиданно и не часто. Он всегда привозил маленькому Мереду подарки. В сорок первом он подарил ему компас. Гордо застегнув на запястье ремешок компаса, Меред пошел в школу, а отец на войну. И отец не вернулся...

— Связь! — крикнул летчик.— Семьсот третий в воздухе!

Меред отпрянул от иллюминатора, секунду напряженно ждал и услышал:

— Пока ничего... Пусто...

И у них пока ничего, и у них пока пустая колея, справа начались коричневые такыры, похожие сверху на гигантские соты меда...

...В голодную военную зиму мать вдруг получила по почте крупную сумму денег. Деньги прислал Бармин, и она в растерянности побежала к старому Алты советаться: брать или отправить обратно?

— Ты бы приняла от меня помощь? — спросил Алты.

— Да...

— Считай — я тебе помог.

— Большие деньги! — засомневалась мать.— Мне трудно будет вернуть...

— Доброту в долг не дают... — нахмурился Алты.— Ступай и купи мальчику теплую одежду...

Бармин опять появился у них после войны и забрал пятиклассника Мереду с собою в пески. Ему вручили пятилитровую зеленую кружку с делениями, дали тетрадь и серебристые карманные часы. Он обязан был сидеть у трубы, из которой текла вода, ждать, пока кружка наполнится до краев, вылить кружку, снова поставить под трубу и отметить в тетради количество литров в час.

Пятиклассник Непесов сразу сообразил, что от него требуется, но искренне возмутился:

— Зачем песок водой мочить, Павел Николаевич? Воду в бочку надо, чабанам отвезем.

— Ну и ну! — рассмеялся Бармин.— Многообещающее начало! С ходу рацпредложение! Молодец, знаешь цену воды!

Нет, он не знал тогда цену воды. Много позже студент первого курса Московского геологоразведочного института Меред Непесов шутки ради подсчитал, во сколько бы рублей обошлась бочка с водой, если бы бочками возили воду в пустыню поить отары...

В институт он поступил с трудовой книжкой старшего коллектора. Он приехал в Москву прямо на улицу Станкевича, и Бармин дал ему ключ, сказав просто:

— У меня останавливался твой отец.

Ключ он получил по наследству, но он оправдал его: ни разу Павел Николаевич Бармин не стыдился за своего воспитанника и ученика...

Ни разу — до сегодняшнего дня...

Тит, не задумываясь, нашел главную причину: «Все любовь твоя, будь она трижды неладна!»

Борода прав: когда из-за любви врешь, что-то очень всерьез неправильно в этой любви...

...Лена Стрельцова вошла в его жизнь после события, на первый взгляд ничем особенно не примечательного. Раньше он изредка встречал Лену вместе с Ксенией Васильевной Ардашниковой в штабе экспедиции, зная, что Лена родом из Красноводска, что у нее погиб муж, спасая мальчишку. Он вежливо здоровался с ней, и только. Потом Ксения Ва-

сильевна рассталась с геологией, и партию Ардашниковой Бармин передал Мереду. Но Меред не успел сам отправиться в партию — из Москвы, по вызову Бармина, прилетели для консультации два светила науки: палеонтолог и геоботаник.

— Оба «кабинетники», — доверительно шепнул Мереду Бармин. — Надо их малость растряссти. Они интересуются Узбоем, так что по дороге тебя заброшим в партию. Кстати, здесь Стрельцова, коллектор Ардашниковой. И ее заберем.

Меред нашел Лену, она выслушала распоряжение Бармина, молча кивнула, взяла рюкзак и молча села в машину.

За ними случайно увязался шофер Вася Петренко. Он вез воду в буровой отряд. На спуске в сухое русло Узбоя у Васи Петренко сломался задний мост. Сломался основательно. Часа полтора он пытался справиться с поломкой, но дело не выгорело, вдобавок «кабинетники» торопили и нервничали из-за задержки. Пришлось попрощаться с Васей. Ему оставили продуктов на два дня и пообещали выслать механика с новым задним мостом.

На Узбое «кабинетники» требовали остановок почти через каждый километр. Они оказались весьма дотошными и неугомонными. Берега Узбоя там высокие и крутые, Мереда и Лену они посылали как можно повыше за образцами, неуклюже лазили сами, и палеонтолог выражал бурный восторг:

— Прелесть! Изумительный экземпляр! Аммонит! Келловей! Верхняя юра!

А геоботаник ходил по обрывам степенно, с достоинством, недовольно что-то ворчал себе под нос.

До темноты они отъехали от Васи Петренко километров двенадцать. Измотанные подъемами и спусками, они расстелили кошму, разожгли костер, и палеонтолог достал из саквояжа бутылку коньяку, спросил у Бармина:

— Не возражаете?

— Даже академик Обручев, — назидательно поднял палец Бармин, — даже Обручев рекомендовал на привале стопку коньяка.

Они все, кроме Лены, выпили по одной, и Бармин взял бутылку:

— У меня к вам просьба: подарите мне этот остаток.

— Пожалуйста! Пожалуйста! — От изумления у палеонтолога отвисла нижняя губа. — Если вы один хотите...

— Да нет! — рассмеялся Бармин. — Я отнесу его Васе. Ему будет приятно, мне прогуляться полезно. К утру вернусь.

О том, что Меред пойдет вместе с Барминым, подразумевалось само собой. Они оба знали обычай пустыни: двенадцать километров по твердому глинистому руслу Узбоя — не расстояние, а человеку одному ночью среди песков обязательно тоскливо.

Но «кабинетники» ничего не поняли, они запротестовали:

— Пижоните не по возрасту, Павел Николаевич!

— Шофер не оценит ни вашего коньяка, ни вашего поступка!

Бармин помрачнел и жестко их оборвал:

— Хватит! Вы мои гости и будьте добры не злоупотребляйте гостеприимством!

«Кабинетники» поперхнулись и обиженно утихли. А Мереду в ту ночь показалось, что Павел Николаевич Бармин похож на земского врача вроде Чехова и одновременно на чекиста девятнадцатого года...

Чтобы сгладить свою резкость, Бармин улыбнулся: — Вы остаетесь в женском обществе. Не заскучаете!

— Нет, — поднялась с кошмы Лена. — Я иду с вами.

— Вот как? — озадаченно взглянул на Стрельцову Бармин. — Ну, что ж, но с условием: завтра работать в полную силу.

— Я выносливая, — спокойно, без рисовки ответила Лена.

Больше за дорогу она не произнесла ни слова. Меред шагал рядом и гадал: почему она пошла с ними? Или после смерти мужа она не находит себе места, старается даже усталостью заглушить горе, или у нее обыкновенное ухарство начинающего геолога, желание ни в чем не уступить бывалым людям?

Они отдали Васе Петренко коньяк и вернулись обратно на рассвете. «Кабинетники» и не заикнулись о вчерашних разногласиях, снова беспощадно гоняли по обрывам Мереда и Лену. А на следующий день в бывшей партии Ардашниковой Павел Николаевич при Мереде торжественно вручил Лене ключ. От своей свекрови она слышала, что означает этот ключ, вся вспыхнула, растерянно посмотрела на Бармина:

— За что, Павел Николаевич? За обычную порядочность награда? Три человека вспомнили о четвертом, и все!

— Нет, не все! — прищурился Бармин. — И ключ не за поход к Васе. Мне ведь тоже смертельно хотелось спать...

— Спасибо... — пробормотала Лена.

И Меред Непесов впервые увидел Лену Стрельцову. Увидел красивую, гордую женщину со строгими, чуть печальными глазами, с твердым и отзывчивым характером.

Странно, но она ему напомнила родную бабу, скакавшую до семидесяти лет на неоседланном коне и с одной пули валившую джейрана.

Туркмены умеют ценить и красоту и мужество своих подруг. Не зря туркменские женщины никогда не закрывали лицо чадрой и нередко сражались бок о бок с мужчинами.

Меред Непесов понял: только Лена Стрельцова может быть его женой...

...Уже который раз летчик повторяет одно и то же: «У семьсот третьего пусто, у семьсот третьего пусто...»

Это больше не тревожит Мереда. Он уверен: если и приказала Лена ехать через Кош-гумбиз, все равно Ашир не рискнет. Слишком он хорошо понимает, что значит в сыпучих песках ненадежный мотор. Он застрял здесь, на колее, которая ползет под вертолетом № 105, и ничего страшного с ними не случится. Будут экономить воду, спасаясь от солнца, полежат в тени кузова. Страшно сейчас у скважины, куда пригнал своих овец Алты. Эх, надо было сразу открыть Бармину правду!

А он не сумел перебороть привычки считать себя единственным человеком, ответственным за Лену Стрельцову...

...С первого дня, как он принял партию Ардашниковой, он постарался показать всем, что Лена Стрельцова предназначена для него самой судьбой. Он демонстративно дарил цветы, вместе с ней ходил в столовую, вежливо и безжалостно отстранял от Лены каждого, кто, по его мнению, мог оказаться случайным соперником. И очень скоро никто в экспедиции не сомневался: у Мереда и у Лены Стрельцовой большая и настоящая любовь.

А Лена вначале ни о чем и не догадывалась, спокойно принимала его подчеркнутую заботу при людях и покорно терпела деловитую суровость, когда они оставались вдвоем.

Наедине с ней он был сух, сдержан и разговаривал преимущественно о работе.

Он решил: пусть время хотя бы немного сгладит

память о муже, и пусть Лена почувствует, что характер у Мереди Непесова унаследован от многих поколений гордых сыновей пустыни и рано или поздно ей придется ему подчиниться.

Он отправлял Лену в самые тяжелые маршруты, придирчиво проверял отчеты, не упускал малейшей возможности по любому поводу сделать строгое замечание.

...Однажды они шли вдоль опутанной глубокими трещинами стены древней крепости, разрушенной монголами. Лена наступила на глиняный черепок, черепок треснул, и она отшвырнула его ногой.

Мереди тотчас подобрал черепок и принялся внимательно рассматривать.

— Я не специалист, — сказал он. — Но, судя по обжигу, это осколок очень древнего кувшина.

— Ну и что? — не останавливаясь, пожала плечами Лена.

— Ты попробуй представить: кто и когда пил из него воду? Может, в шестом веке араб из войска Кутейбы, может, всадник Чингиза, а может, и русский казак из отряда Бековича-Черкасского, посланный сюда Петром Первым. История и вода у нас неразделимы. Это надо знать гидрогеологу.

Как он потом обрадовался, случайно увидев, что она таскает глиняный осколок в рюкзаке...

...Но Лена наконец догадалась о своей странной роли невесты, которой не делают предложения. Она попробовала отказаться лететь с ним на годовой отчет в Ашхабад.

— Возьми кого-нибудь другого, — заявила она. — О нас много болтают, а замуж за тебя я не собираюсь.

Мереди на секунду замер и все же заставил себя официально напомнить ей:

— Ты отвечаешь за пробы воды на сравнительный анализ по хлоридно-натриевым и гидрокарбонатным солям. Без фоновых материалов в Ашхабаде тебе не обойтись.

— Мне не нравятся сплетни...

— Приказ о командировке я уже подписал...

А в Ашхабаде он снова дарил ей цветы, доставал билеты в кино и сидел рядом в ресторане «Фирюза» после защиты годового отчета...

...Покосившийся на бок грузовик они увидели издалека и все сразу. Летчик круто повел вниз, и вертолет, покачиваясь, завис прямо над кузовом грузовика. От ветра, поднятого винтами, забурило и побежал в стороны клубящимися струями песок.

— У машины никого нет! — крикнул летчик.

— Они на Карза-су, — ответил Бармин и вдруг напряженно приподнялся. — Ни черта не понимаю!

На гребнях соседних барханов чернели пепелища костров. Значит, они ночевали, жгли костры в надежде, что их заметят, и только утром отправились за водой. Почему они не пошли ночью? Почему ждали солнца?

— Обрати и через пять километров — прямо на север! — скомандовал Бармин. — И полную скорость!

Мотор вертолета загрохотал с новой силой, колея с покинутым грузовиком уплыла влево, и Мереди плотнее прижался лицом к стеклу иллюминатора. Что здесь произошло? Неужели Лена растерялась и не нашла правильного решения?

Но разве она не поторопилась сказать старому Алты про колодец?

Разве Мереди не удивлялся переменам в ее характере? Последние месяцы Лена нервничала, была раздражительная и откровенно злая.

Она оживлялась, только когда был рядом Юра. В Москве Лена веселилась, болтала без умолку,

выдумывала лишний предлог, чтобы съездить со студентом на какой-нибудь склад или в геотрест. И снова виноват он, Мереди Непесов. Его любовь, похожая на бдительный, надоедливый надзор, создала вокруг Лены пустоту. Создала одиночество. И она не выдержала, с радостью потянулась к студенту, а студент ничего не заметил...

Но все равно Мереди проиграл. Он еще сможет вернуть ключ, но не сможет вернуть Лену Стрельцову. Букеты кончились...

...Вот развалины могильника Джума-ятган, и вот уже колодец Карза-су.

Среди лохматых папах чабанов мелькнула пограничная фуражка Ашира. Шофер замахал рукой, но летчик не рискнул сесть рядом с колодцем. Голый, перемолотый за века в пудру тысячами копыт овец и верблюдов песок мог глубоко затянуть шасси.

Они приземлились в километре, и Бармин спрыгнул первым.

— Вы остаетесь! — крикнул он летчику. — Радируйте «семьсот третьему» поиски прекратить!

После кабины вертолета их оглушила раскаленная тишина. Отчетливо доносился скрип ворота на колодце, сочный всплеск воды в цементном корыте, нетерпеливое блеяние овец. Под ногами звонко шуршали песчинки.

А навстречу им медленно брели три человека. Четвертого с ними не было! Не было Люси!

Бармин расстегнул ковбойку и почти побежал. Они не бросились друг другу в объятия. Словно боясь переступить какую-то неодолимую черту, все трое остановились перед ними за несколько шагов.

— Где она? — хрипло крикнул Бармин.

Лена тоскливо посмотрела воспаленными, слезящимися глазами, достала из нагрудного кармана сматую бумажку и протянула Бармину. Он прочел, и Лена заговорила...

Мереди не поверил своим ушам: девчонка, не знающая пустыни, одна, ночью, пошла искать воду!

Бармин, не дослушав Лену, уже торопился к вертолету, угрюмо бросил на ходу:

— Но она пошла все-таки?

— Ну и глупо!

— Глупо? — яростно переспросил Мереди Бармин и остановился. — Как для кого! Есть люди, которые не могут ждать артиллерию. Есть они всегда: на войне и теперь! Ладно! Некогда разговаривать!

— Я главный за беду! — выскочил вперед Бармина Ашир. — Я проспал.

— За людей отвечала Стрельцова.

От этого «отвечала», а не «отвечает» у Мереди сжалось сердце, но сейчас его переживания ровным счетом не имели значения. Надо немедленно найти в песках Люсю...

РАЗГОВОР ЗА СТЕНОЙ ПАЛАТКИ

Как он сказал? Как он сказал, шофер Ашир?

Он сказал: обогнуть старый могильник справа... Нет! Она, кажется, все перепутала. Ашир сказал, надо оставить развалины слева и идти прямо на север, на Полярную звезду.

Она идет правильно. Только нет Полярной звезды. Вместо нее солнце. Сплошное солнце, которое заполнило небо и постепенно, беспощадно расплавляет ее тело. Юра говорил, что солнце — это плазма. Она и идет сквозь огненную, бушующую плазму.

Она поднялась на следующий бархан, схватилась за ветку саксаула, ветка треснула, и она упала. Поднималась долго, но все же поднялась, привалилась

спиной к кусту, и рядом, метрах в трех от нее, из норки выскочил суслик.

Изнывая от страха и любопытства, он привстал на задние лапки и замер.

Она сказала или подумала: «Что смотришь? Все равно дороги не подскажешь...»

Он свистнул и исчез, растворился, его сожгла неслышно ревущая, огненная плазма.

И тут она увидела озеро! Вода! Впереди была вода! Много, много воды! Голубая гладь озера дохнула на нее освежающей прохладой, разлапистые кроны деревьев по берегам раскачивались от ветерка, и весело белел треугольник паруса.

Она упрямо вытаскивала ноги из раскаленного песка, песчинки сухо, мелким наждаком скребли по лодыжкам и в одно мгновение со злым шуршанием глубоко затягивали ее ступни.

Порой ей чудилось, что она уже провалилась в песок по горло, и она начинала лихорадочно махать руками, чтобы вынырнуть из неподвижных, серых волн песка, поскорее глотнуть воздуха. Но воздух нестерпимо обжигал гортань, разрывал легкие колючим кашлем.

Только бы дойти до озера!

А озеро отступало все дальше и дальше, над ним за клубилась туманная дымка, почернели, растаяли деревья, под землю провалился парус...

Дыхание у нее кончилось, она с разбегу ткнулась лицом в крутой склон бархана и, судорожно загребая пальцами песок, сползла на животе вниз... Все стало безразлично: озеро оказалось миражем...

Но почему на губах вода? Настоящая холодная вода!

И откуда здесь Тит, и у Тита слеза на реснице?

— Тит? — прошептала она. — Тит?

— Лежи! Лежи! Все в порядке!

— А Юра? Что с Юрой?

— Они сейчас прилетят. Я им сообщил...

...Тит исчез, и вернулась ночь. Пустыня ночью помогала. Она была синей и черной. Черное небо и синие от близких огромных звезд пески. Пить не хотелось, солнца вообще не существовало.

Все казалось возможным и доступным.

Могильник она нашла легко. Груда искрошившихся камней, два колышка, и на колышках обрывки тряпок. Мыслей о смерти могильник не внушал...

Там, возле машины, без воды, Юра, Лена и Ашир. А где-то у захлебнувшейся от жажды скважины гибнут овцы.

Она пошла, потому что... Почему? Почему она пошла?

Разве она самая смелая из четверых? Себе врать бесполезно! Она шла по ночной пустыне и с нетерпением ждала возмущенного окрика за спиной.

Вот сейчас, через минуту, через две минуты, Юра проснется, прочтет ее записку, догонит, обругает, попробует силой вернуть обратно. Она, конечно, не согласится, и они вдвоем добудут воду...

Юра не проснулся... Юра не догнал ее...

Он продолжал безмятежно спать на кошме. Юра умеет поспать...

А на рассвете солнце стремительно и жадно ворвалось в небо, небо вспыхнуло, в нем сгорели последние звезды, в глубоких лощинах, между песчаными холмами, вздрогнули и растаяли тени.

Но ночью можно идти! Если так уж случилось, что от нее ждут помощи, она обязана достать воду!

Пора! Довольно валяться и ныть! Пора вставать, искать чабанов на колодце Карза-су...

— Слишком много солнца, — сказал рядом кто-то невидимый. — Ее надо в больницу. Дней на десять...

Остро кольнуло в левую руку, она медленно и легко начала подниматься над землей...

Проснулась она от жары и изумленно оглянулась. Жары не было. Она лежала на раскладушке в палатке, в углу горела аккумуляторная лампа, и над ней склонилось широкое лицо в оспинках.

Значит, жара ей приснилась. А разве может сниться одна жара и больше ничего?

— Кто вы?

— Бияшимов я. Фельдшер я. Как чувствуешь?

— А Юра? Где Юра?

Фельдшер Бияшимов понимающе кивнул:

— Позову. Ненадолго позову. Надолго нельзя...

Он вышел, и вместо него в палатку как-то боком, осторожно шагнул Юра. Он торопливо повторил вопрос широколицего фельдшера:

— Как ты себя чувствуешь?

— Не понимаю... Расскажи все...

— Успокойся. — Он присел на табуретку возле

раскладушки и погладил ее ладонь. — Мы у Лены в лагере. Ну и наделала ты переполоха! На всю пустыню прогремела! Тебя случайно, совершенно случайно, нашел Тит со второго вертолета.

— А овцы? Овцы погибли?

— Обошлось. Завтра полетишь в райцентр, в больницу. Я тебя буду сопровождать.

— Зачем?

— Да так... — Он поморщился и неопределенно пожал плечами. — Кажется, я здесь не ко двору... У Люси шумело в голове, остро резала глаза аккумуляторная лампочка, и она с трудом вспомнила, о чем хотела спросить Юру:

— Для кого пишут дневники?

— Для себя. — Он насторожился. — А что?

— Я прочла твою тетрадь.

— Понравилось? — Он попробовал улыбнуться.

— На мемуары похоже. И меня там нет. Я стала твоей женой, а ты и не заметил.

Он чуть пожал ее ладонь, прикоснулся губами к щеке и шепнул:

— Об этом не пишут. Ты все равно моя жена.

— Не знаю... Теперь не знаю...

— Глупышка! Ты просто...

Он хотел еще что-то добавить, но в палатку вернулся Бияшимов, положил руку на плечо:

— Иди отдыхай, молодой человек. Ей спать надо.

Проглоти таблетку, дорогая...

...Второй раз она проснулась от скрипучего, кашляющего смеха. Смеялись за стеной палатки. В палатке было темно, только через полуоткрытый поллог пробивалась луна. На соседней раскладушке спал в одежде фельдшер Бияшимов.

— Значит, и ты во мне сомневался, Николаич? — спросили сквозь смех.

Знакомый голос Бармина ответил:

— Смущал ты меня своей новой «линией жизни».

— А я от линии не отступил. Вода кончилась — я и пальцем не пошевелил. И радиogramме от Тита не поверил. Решил: издевается.

— Ну, а потом?

— Потом, вижу, верно, старый Алты отары гонит.

И знаешь, Николаич, что меня задело? Ребятки из бригады даже не позвали! Без тебя, мол, Крошкин, обойдемся! Сами демонтаж начали. Все работали! Радистка Машка Темякова и та в глинистом растворе перемазалась.

— И ты обиделся?

— Сперва затосковал. После обрадовался.

— Почему?

— Классно работали! Недаром ученики Крошкина! Когда Алты подошел, я уже вкалывал на полную катушку.



— Он не удивился?

— Алты хитрый! — За палаткой опять засмеялись. — Алты посмотрел на меня и руками развел: «Про тебя злые люди врал, что больше ответственности не берешь». Я его срезал, ловко срезал: «В наш век и мертвые отвечают, не то что пенсионеры!»

По песку прошуршали шаги, Люся услышала еще один знакомый голос.

— Всем выговоры! — громко и возмущенно сказал шофер Ашир. — А мне? За мужчину не считаете, Павел Николаевич?

— Т-сс! — зашипел на него Бармин. — Разбудишь Соколову. И не завидуй. Пробьешься в начальники — выговором не обнесу.

— Не хочу я в начальники, — проворчал Ашир. — Со мной старый Алты не поздоровался и не

попрощался. Я в Карабай к невесте показаться боюсь...

С минуту за палаткой молчали. Ашир, очевидно, ушел, и Бармин задумчиво произнес:

— Выговоры я щедро нараздавал. Вот благодарности ни одной. А следовало бы...

— Кому?

— Девчонке. За ее душевный порыв. Да жаль, за это благодарность пока не объявляют...

— Оно, конечно, — охотно согласился скрипучий голос. — Молоденькая, но характер с кремнишкой. Ключ-то хоть не забыл?

— Что ключ! — вздохнул Бармин. — Ключ она утром увидит...

Но ключ она увидела сейчас. Он лежал на табуретке в зеленом пятне от луны. Растерянно и робко Люся приподнялась на раскладушке и осторожно взяла в руки прохладный, плоский кусочек металла...



НАЗНАЧЕНИЕ

Рассказ в документах.

Составил Егор Яковлев.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Начало 1921 года.

Из доклада председателя Канского уездного исполкома Енисейской губернии В. Г. Яковенко «О применении новых методов при проведении продовольственных разверсток»

(Опубликован на правах рукописи).

...О том, что в период империалистической и гражданской войны сельское хозяйство пришло в упадок, говорить много не приходится.

Об этом лучше всего говорит резолюция VIII съезда Советов, констатирующая, что «засевы в последние годы сократились, обработка земли ухудшилась, животноводство пришло в упадок».

...Если наша продовольственная политика до сих пор главным образом напирала на «изъятие излишков», то все вышеперечисленные факты, всем известные и никем тоже не оспариваемые, должны заставить наших продработников считаться с ними. Если даже они и не будут с ними считаться, то через год-другой им самим придется столкнуться с крестьянским хозяйством, которое действительно не будет иметь излишков.

Если в 1917—1918 годах Советское правительство заготовило

	35 мил. пудов хлеба		
в 1918—19	107 »	»	»
в 1919—20	180 »	»	»
в 1920—21 (по 1 янв.)	200 »	»	»

то этими цифрами особенно обольщаться не следует. Нет никакого сомнения, что в эти годы мы имели

еще излишки (на окраинах довольно значительные, в Центральной России уже совершенно небольшие), но такие ничтожные цифры, как 100 или 200 миллионов пудов хлеба, конечно, не смогут ослабить продовольственного кризиса в городах и фабрично-заводских районах.

Не следует забывать, что до войны из России вывозилось до 600 мил. пудов хлеба, а сейчас весь хлеб остается у нас.

Хлеб был. Хлеб был и в 1919 г. и в 1920 г., но мы не сумели взять его в полной мере. Но это еще полбеды.

Хуже то, что взятое нами взято такими способами, за которые нам часто приходилось и приходится краснеть, которые убили в крестьянине любовь к своей пашне, приучили его к небрежному отношению к своему хозяйству («все равно, дескать, возьмут» — это не голос контрреволюционеров, а голос многомиллионного мелкого хозяйчика, средняка, на которого мы бьем свою ставку, ибо кулак как таковой уже исчез в центре России и почти исчезнет в Сибири в 1921 г.).

Нашим продовольственникам следует подумать и хорошо подумать не о том, сколько можно путем кабинетных выкладок и расчетов наложить разверсток в следующем году, а о том, как поступить, чтобы поднять крестьянское хозяйство до того, чтобы государство могло оперировать не только такими ничтожными цифрами, как 100 или 200 мил. пудов.

...Подсатынное обложение, объявленное заранее, заставит поневоле крестьянина заниматься старательно своим посевом, побудит его к увеличению посевной площади...

Пометка В. И. Ленина на докладе В. Г. Яковенко

В папку о продналоге. Яковенко член ВЦИК, Канского уезда.

Надо не видеть «интригу» или «противовес» в
инакомыслящих или инакоподходящих к делу, а
ценить самостоятельных людей.

В. И. Ленин

Март 1921 года.

Из воспоминаний делегата X съезда РКП(б)
И. М. ШЕРА:

...После решения съезда о замене продрозверстки
продналогом Владимир Ильич обратил внимание на
то, что для успешного проведения в жизнь принятых
съездом мероприятий нужны опытные люди, и про-
сил делегатов указать ему крестьян, хорошо знаю-
щих сельское хозяйство и пользующихся авторите-
том у населения, для привлечения их к работе в ор-
ганы Наркомата земледелия.

Во время перерыва я вместе с другим делегатом от
нашей организации, Н. Д. Леушиным, поднялся на
трибуну и обратился к Владимиру Ильичу. Я назвал
ему фамилию В. Г. Яковенко и стал рассказывать о
том, какой популярностью и уважением он пользует-
ся у крестьян Канского уезда, о большой работе,
которая была им проделана, когда он руководил пар-
тизанским движением в Сибири, о его талантливом
руководстве массами.

Владимир Ильич внимательно выслушал меня, а
затем задал нам несколько вопросов. Мы сразу же
поняли, что Владимир Ильич уже знает о В. Г. Яко-
венко и, возможно, даже о написанной им брошюре
о недостатках продрозверстки и улучшении взаимо-
отношений с крестьянством. Наши ответы нужны
были Владимиру Ильичу для того, чтобы уточнить
уже известные ему факты.

Меня это крайне поразило. Трудно было понять,
как это Владимир Ильич, выполняя огромную рабо-
ту как глава партии и государства, в условиях страш-
нейшей разрухи, напряженного состояния в партии в
связи с дискуссией о профсоюзах, при огромных труд-
ностях связи с местами, был так хорошо осведомлен
не только обо всем, что происходило в необъятной
стране, в частности, в Сибири, длительное время
оторванной от центра, но и об отдельных работни-
ках.

Нигде не записав о В. Г. Яковенко, Владимир Иль-
ич, прощаясь, сказал, что все сказанное нами будет
им учтено...

В. Г. ЯКОВЕНКО О СЕБЕ

...житель села Тасеева. Отец занимался плотнично-
столярным делом. Оставшись 9 лет после смерти от-
ца, до 19 лет прожил в батраках. Обзаведясь собст-
венным хозяйством, имел 4-х лошадей, рогатый скот,
8 десятин пашни, но, вступив на военную службу в
1910 г., хозяйство ликвидировал. На военной службе
пробыл 4 года в инженерной части и 3 года на фронте
унтер-офицером, имел три «Георгия», образования
никакого не получил — самоучка. В первые годы вой-
ны был настроен «патриотически»...

(В. Г. Яковенко. «Записки партизана»).

АНКЕТНЫЙ ЛИСТ

делегата VIII Всероссийского
съезда Советов Рабочих,
Крестьянских, Красноармейских
и Казачьих Депутатов.

Фамилия, имя и отчество

Яковенко Василий Григорьевич

Возраст

тридцати одного года

Национальность

русский

Какой партии Вы принадлежите?

член Российской Коммунистической партии

От какого Совета делегированы?

Енисейского губ...

От какого количества избирателей?

1 200 000

Участвовали ли Вы в предыдущих съездах Советов
в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м, 6-м и 7-м?

не участвовал

Какое образование получили?

никакого

Какую советскую работу в настоящее время испол-
няете?

член Енисейского губисполкома председатель
Канского Уисполкома и предс. Упарткома.

Пострадали ли Вы от контрреволюции?

после свержения в Сибири Советов был пригово-
рен к смерти, но спасся в тайге. С ноября 1918 года
за руководство партиз. восст. в Тасеевском районе—
Колчаком был объявлен вне закона, уничтожено все
имущество и за меня расстреляно много родствен-
ников.

20. XII. 1920 г.

Яковенко.

Больше выдвигать для новой проверки тысячи*
и тысячи рядовых трудящихся, испытывать их,
систематически и неуклонно, сотнями, передвигать
на высшие посты на основании проверки опытом.
В. И. Ленин

**НУЖЕН НАРКОМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ.
ЕСТЬ КАНДИДАТУРА!**

17 декабря 1921 года.

Заместитель наркома земледелия

И. А. ТЕОДОРОВИЧ —

В. И. ЛЕНИНУ.

Дорогой Владимир Ильич!

Позвольте сказать несколько слов по вопросу о
Наркоме земледелия из крестьян.

В числе возможных кандидатов на этот пост раз-
решите назвать одну фигуру, на мой взгляд, имею-
щую к этому много данных. Это — Василий Гри-
горьевич Яковенко, сибиряк, крестьянин-старожил
села Тасеевского, хлебнейшего села хлебнейшего в
Восточной Сибири Канского уезда. По внешним дан-
ным, это — мужик лет за 40, рослый, могучий, воло-
сатый бородач от сохи, влюбленный в «землю». Ны-

не он — председатель Канского Уисполкома. Работает на этом посту, подчиняясь приказанию Енисейского губкома; по склонности же своей — рвется в деревню на землю.

Человек этот имеет интереснейшую биографию. В период «первой» Советской власти в Сибири — он рядовой крестьянин. Во время колчаковщины в декабре 1918 года он примыкает к восстанию и избирается председателем Тасеевского волисполкома. Напомню в двух словах историю Тасеевского восстания. Тасеевская группа — единственная в Восточной Сибири — непобежденная Колчаком, — нанесла последнему ряд блестящих ударов и территориально захватила огромное пространство. Душой восстания и его организатором — был Яковенко. Я имел — скажу прямо «счастье», будучи подчиненным Яковенку «партизаном», наблюдать его работу в течение года «партизанства» и полугода (в 20-г. — январь-август) при Советской же власти. Из бесед с Яковенко убедился, что он являлся в то время типичным представителем того «энтузиазма масс», о котором Вы как-то говорили в одной из последних своих речей. Безоговорочно преданный лозунгам Советской власти, дисциплинированный и трезвый, он удивительно умел сочетать вышеназванный «энтузиазм» с чисто мужицкой хозяйственностью и реалистичностью, сказавшимися в той налаженности партизанского «тыла», какой знаменит Тасеевский фронт против Колчака. Авторитет его среди крестьянства — был поразительным. Вера в его личную честность и разумность — повсеместны.

За последний год моего пребывания в Москве я не знал, что случилось с Яковенко. Но на нашем земельном съезде я встретился с двумя делегатами из Енисейской губернии, Молчановым и Малаховым, очень крупными местными работниками. Они мне сообщили, что Яковенко горячий сторонник новой экономической политики. Молчанов (предгубчека) сказал, что благодаря присутствию Яковенко в Канске все осложнения с крестьянством в этом уезде (осложнения по его словам могли быть крупного характера и угрожали Красноярску) были ликвидированы находчивостью, смелостью и личным влиянием Яковенко. То же подтвердил и Малахов, агроном по профессии.

Соколов (из Сибревкома) говорил мне, что пока Яковенко в Канске, Сибревком может быть спокоен за Канский уезд. Таково влияние среди крестьянства этого человека. На мой взгляд, он будет очень уместен на посту мужицкого наркома. Его дисциплинированность, преданность Соввласти — вне сомнения. Знание мужицкой души, крестьянского быта, кровная связь с деревней, безупречность личная, героическое прошлое, окружающее его своеобразным ореолом борца против помещиков и генералов, — может быть... использована наркомземским аппаратом для любой сельскохозяйственной кампании...

17 декабря 1921 года.

В. И. ЛЕНИН — Л. Б. КАМЕНЕВ¹.

Посылаю Вам это письмо в дополнение к нашей последней беседе. Считаю абсолютно необходимым, чтобы как можно больше цекистов познакомились на предстоящем съезде лично с Яковенко. Перешли-

¹ Л. Б. Каменев — в то время член Политбюро ЦК РКП(б).

те это письмо, пожалуйста, всем членам Оргбюро в первую голову, а потом ознакомьте других цекистов. Попросите Молотова¹, когда он прочтет это письмо, позвонить мне.

22 декабря 1921 года.

В. И. ЛЕНИН — В. М. МОЛОТОВУ и всем членам Политбюро ЦК РКП(б).

Прошу ускорить ознакомление всех членов Политбюро с тем сообщением Теодоровича относительно сибирского крестьянина Яковенко, которое было мною Вам послано.

24 декабря 1921 года.

В. И. ЛЕНИН — Е. М. ЯРОСЛАВСКОМУ².

Прошу Вас дать самому и собрать от всех находящихся здесь ответственных и влиятельных сибирских товарищей отзывы о крестьянине Яковенко (кажется, предисполкома Канского, Енисейской губернии). Отзывы нужны поподробнее. На предмет обсуждения вопроса в ЦК о назначении Яковенки наркомом земледелия.

Возраст? — Около 40 лет.

Опыт? — Непосредственное знакомство с советской работой.

Уважение крестьянства? — Большое.

Знание хозяйства? — Средняк, очень большого хозяйства не вел.

Твердость? — Властный, твердый человек.

Ум? — Умный, сметливый.

Преданность Соввласти? — Преданность доказал и в период партизанства и позже.

Очень прошу провести это БЫСТРО и как следует.

25 декабря 1921 года.

Из книги записи приемов у В. И. Ленина.

И. Н. Смирнов должен дать сведения о Громове и др. крестьянах и подтвердить письменно, что Яковенко крупнее Громова.

26. XII исполнили.

25 декабря 1921 года.

В. И. ЛЕНИН — В. М. МОЛОТОВУ.

Прошу поставить на голосование всех членов Политбюро постановление немедленно вызвать в Москву Яковенко, поручив Чуцаеву или другим сибирским делегатам в той же телеграмме вставить распоряжение об его временном замещительстве. Вызов предлагается на предмет ознакомления с ним и возможно-

¹ В. М. Молотов — в то время секретарь ЦК РКП(б).
² Е. М. Ярославский — в то время секретарь ЦК РКП(б) — вписал ответы в машинописную копию письма В. И. Ленина.

сти назначения его на должность наркома. Основание — отзыв Теодоровича, уже разосланный членам Политбюро, и три отзыва сибиряков, которые прилагаю.

Отзыв о В. Г. Яковенко бывшего председателя Енисейского губревкома А. П. Спундз.

Яковенко был бесспорно лучшим по идейности сибирским партизаном. Я не знаю нигде случая, чтобы крестьянское движение настолько близко соприкасалось с партийными организациями (хотя и с заметно «под мужика» подкрашенным направлением). Но и эта подкраска хотя и не совсем полиняла, смягчилась при нашем приходе в Енисейскую губернию. Яковенко умеет сохранять постоянную прямо-таки интимную связь с крестьянством. Как организатор Яковенко с уездом бесспорно справился выше среднего. Его уезд все время шел впереди по хлебу, был наиболее спокойным по настроению и т. д.

Яковенко человек самостоятельный и сильный характером. Его можно было бы поставить для связи и авторитета перед мужиком и на крупную, пожалуй, всероссийскую работу...

31 декабря 1921 года.

Телефонограмма дежурного секретаря М. И. Гляссер.

Сообщаю по поручению Владимира Ильича, что сегодня он виделся с т. Яковенко, который произвел на него хорошее впечатление. Владимир Ильич высказывается за его назначение и просит членов Политбюро уделить хотя бы полчаса для разговора по телефону с Яковенко (в самое ближайшее время, в виду того, что Яковенко пробудет в Москве недолго.) О результатах В. И. просит ему сообщить. Вызвать Яковенко по телефону 38—60, через коменданта общежития делегатов.

Изучать людей, искать умелых работников. В этом суть теперь; все приказы и постановления — грязные бумажки без этого.

В. И. Ленин

НАРКОМОМ УТВЕРДИТЬ

9 января 1922 года.

Решение президиума ВЦИК

Утвердить В. Г. Яковенко народным комиссаром земледелия.

16 февраля 1922 года.

«Известия ВЦИК». Корреспонденция «У крестьянского наркома»

...Доступ к тов. Яковенко простой: принимает без задержки. Вид — крестьянин, — «наш брат Исакий».

Товарищ Яковенко только что входит в курс, разбирается с делами. По ряду земельных вопросов он имеет немногословные, без тезисов, соображения, но совершенно ясные и вполне практичные.

Страшно занят, но весьма приветлив, как говорит-ся, рад человеку.

— По вопросу об устройении земли должен вам сказать, что нами принимаются все меры к удовлетворению землею всех нуждающихся. Но дальнейший дележ и без того небольших земельных наделов вряд ли желателен, да это заняло бы много спецов, какими в данное время Наркомзем не располагает. Остается переселение...

Нами в Сибирь послано сведущее в деле переселения лицо, которое хорошо знакомо с Дальним Востоком и Амуром. Ждем хороших результатов, а пока, по возможности воздерживаясь от мелкого дробления, будем углублять земледелие повышением урожай хлеба с той же земли, не покладая рук работая над переселением... дабы не допустить междоусобия, похода деревни на деревню, брата на брата. Словом, все сделаем, чтобы удовлетворить батрацкую нужду.

Сельскохозяйственные комитеты хотелось бы видеть учреждениями не канцелярскими, а нашими крестьянскими, чтобы они тесно были связаны с батраком, держали курс на батрака...

Так же я смотрю и на сельскохозяйственные курсы. Затеваются они сейчас среди голода и разрухи. Не за всеми курсами обеспечены пайки. Теперь слушатели курсов чаще всего крестьяне: в одно ухо влетит, в другое — вылетит. Нужно, чтобы каждые курсы печатали все, что у них говорится на уроках, тогда с такою карманною книжечкой за паузой слушатель-крестьянин будет чувствовать себя прочнее и бодрее...

Для батрака, быть может, мы пустим показательные поезда, в которых будут музеи, выставки, образчики, инструктора, лектора, библиотеки, — как только немного улучшится транспорт, топливо и продовольственный вопрос. В особенности таковые нужны для Сибири.

Что касается проекта массового обучения крестьянской молодежи за границей на опытных фермах и крестьянских хозяйствах, то должен вам сказать, что, конечно, в этом проекте много хорошего; у нас мало учебных заведений, немногочисленны в них учат, да всю Россию в школы не загонишь, сразу не обучишь; может быть, мы к этому способу и подойдем, не все же Европа на нас будет рогатиться, обернется и она к нам лицом, поймет и она, что забота о русском батраке не только выгодна нам, но и ей...

Мы убеждены в том, что с каждым шагом Советской власти будет выделяться все большее и большее количество людей, освободившихся до конца от старого буржуазного предрассудка, будто не может управлять государством простой рабочий и крестьянин. Может и научится, если возьмется управлять!

В. И. Ленин



ЛЕНИН В СОВЕТСКОМ ПЛАКАТЕ

Советский плакат имеет свою славную революционную историю. Это искусство оперативное, монументальное, специфическое. Плакаты, нарисованные на злобу дня, становятся достоянием архивов. Но есть и такие, перед которыми бессильно время. К ним относятся листы с изображением Ленина, созданные при жизни Владимира Ильича.

Известно, что впервые в мире образ Ленина-вождя был создан в октябрьской графике. Но не все знают, что многие композиционные первооткрытия в этих плакатах, образный сплав идей и мыслей революционных художников-плакатистов в последующие годы использовались скульпторами, живописцами как переосмысление плакатного первоисточника.

Более полувека в нашей стране издаются плакаты о Ленине, но до сих пор не составлен их каталог. В советском искусствоведении образ Ленина в революционном плакате не выделяется в качестве предмета специального исследования; эта тема, по сути дела, не освещалась подробно в критической литературе за всю историю Октября.

Изучая архивные материалы, энциклопедии, искусствоведческие комментарии, я насчитал 15 плакатов о Ленине, созданных при жизни вождя художниками-плакатистами Моором, Черемных, Дени, Соколовым, Страховым и другими.

Сразу после Октября основное внимание Коммунистической партии, а следовательно, и пролетарского искусства было направлено на то, чтобы научить трудящиеся массы правильно разбираться в создавшемся политическом положении, научить их понимать сложные и запутанные вопросы, которые вытекали из этого положения. Основным назначением политического плаката с первых дней его возникновения «было участие в классовой борьбе, и классовая борьба стала, в сущности, его изтергальной темой»

(Д. Моор). Этим объясняется тот факт, что в плакатном искусстве преобладали произведения, где образ был реализован лишь как «наполнение этой общей идеи плаката конкретной, живой действительностью». Здесь, мне кажется, основная причина того, что в 1918—1924 годах создавалось мало произведений с изображением конкретных исторических лиц. Не много плакатов было посвящено и основателю Советского государства, да и тираж этих листов был очень скромным. Этой мыслью я поделился с одним из создателей советского революционного плаката, А. И. Страховым, и вот что услышал в подтверждение: «В первое десятилетие Октября плакаты о В. И. Ленине насчитывались единицами. Вы говорите о 15—18? Больше вряд ли было. В те годы очень редко что-либо печаталось о вождях, об отдельных личностях. Например, в моей «Азбуке Революции» по этой же причине нет слова «Ленин». Работая до 1922 года в Екатеринославе, наша мастерская не сделала ни одного изображения ни Ленина, ни его соратников. Мы рисовали революционный народ, митинги, врагов Советов. Мы несли в массы лозунги дня».

Когда же появился первый плакат с образом Ленина?

Мне удалось обнаружить 12-кадровый плакат неизвестного художника со стихами неизвестного поэта, сделанный в 1918 году. В 12-м, последнем кадре есть изображение Ленина, выполненное в художественном отношении малоинтересно.

В 1919 году была опубликована интересная работа Моора «Ленин с факелом», хранящаяся в Ленинской библиотеке. Примечателен плакат неизвестного художника «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма», датируемый 1920 годом. В 1920 году в Казани был опубликован редчайший по выразительности плакат художника Н. Дени «Тов. Ленин очищает землю от нечисти», сделанный по рисунку М. Черемных. Кроме того, в 1920 году Дмитрий Моор создает известный плакат «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», посвященный 1 Мая. На плакате изображен вождь, принимающий парад международного революционного пролетариата.

«Мы относились к искусству, как к восстанию», — говорил Д. Моор. Личность этого талантливого и самоотверженного художника, которого очень любили товарищи по ремеслу, которого В. Маяковский называл «нежно и громко» Моорище, ставя ударение на первом «о» и сравнивая художника с «огромным бушующим и грозным морем», достойна светлой памяти и уважения. Взгляд на плакатное искусство как на партийное дело, исполнение революционного пролетарского долга как личной органической потребности — вот наиболее яркие черты Моора и его товарищей по искусству. Единственным мерилom правды был для них масштаб революции. Это определило тематику и проблемность произведений первых советских плакатистов и систему тех художественных средств, с помощью которых они выражали свое страстное, взволнованное чувство первооткрывателей нового мира.

Эдуард ВЕПРИКОВ,
студент Ленинградского института живописи,
скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.

С. Преображенский

ЕЩЕ О «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ»

(Роман и история)

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Дорогие товарищи!

Мне, как актеру, приходится довольно часто не только выступать в концертных программах, но и проводить беседы со своими слушателями. Это понятно, если учесть, что у меня бывает много выступлений перед молодежью, школьниками и учителями.

Как исполнителю роли Олега Кошевого в фильме «Молодая гвардия», мне обычно задают много вопросов о том, как я работал над этой ролью, бывал ли я сам в Краснодоне, были ли у меня личные встречи с писателем Фадеевым, как я вообще понимаю образ Олега и т. п.

Последние годы меня буквально «одолевают» с вопросом: кто же в действительности был комиссаром «Молодой гвардии»?

Вначале я удивлялся, потому что для меня было совершенно ясно, что таким комиссаром был Олег Кошевой. Но мне стали показывать статьи, появившиеся в 1959—1960 годах в «Комсомольской правде», брошюры, потом документальную повесть «Это было в Краснодоне», а также некоторые предисловия и послесловия к роману «Молодая гвардия», и я понял, что в этот ясный вопрос внесено и вносится столько путаницы, что нетрудно растеряться не только школьникам, но и их учителям.

Роман Фадеева «Молодая гвардия» вышел на разных языках миллионными тиражами. Одноименный фильм, поставленный по этому роману, просмотрели сотни миллионов людей. Краснодарский музей «Молодая гвардия», где я побывал сам, посетили за эти годы около трех миллионов юношей и девушек со всех концов страны. Я читал их взволнованные строки о Кошевом, Громовой, Шевцовой, Тюленине... На романе, фильме, на всех этих музейных реликвиях воспитались и продолжают воспитываться поколения людей. Для них «Молодая гвардия» и ее герои — Кошевой, Тюленин, Громова, Шевцова, Земнухов и другие молодогвардейцы — стали не только близким и родным, но и нашим святым героическим прошлым, которым все мы законно гордимся.

Работники Краснодарского музея с болью говорили мне, что они постоянно сталкиваются с недоуменными вопросами: а почему у вас в музее — одно, а в некоторых газетных статьях — другое? Почему пишут неправду о Кошевом? Почему извращают роман Фадеева?

Все это путает читателей, сбивает с толку школьников и учителей, подрывает и дискредитирует замечательный роман А. А. Фадеева.

Мне приходилось разговаривать со многими людьми, которые не хотят верить всей этой «информации», но она существует и благополучно тиражируется, продолжая засорять мозги людей. И что хуже всего — все эти домыслы никак не опровергаются, а больше того, «в кулуарах» идут разговоры, что эти «версии» подтверждаются какими-то «документами» и воспоминаниями очевидцев. При этом даже делаются ссылки на якобы новые материалы, которыми располагают следственные органы государственной безопасности...

В результате у многих тысяч школьников (да и не только у них!) подрывается доверие и к учителям и к роману А. А. Фадеева, а в конечном счете, и к самой героической истории Краснодарского подполья.

Такое положение нетерпимо. Я прошу редакцию «Юности» тщательно проверить все обстоятельства дела и внести ясность в этот вопрос.

Это более чем необходимо: в феврале 1970 года исполняется двадцать семь лет со дня гибели «Молодой гвардии».

ВЛ. ИВАНОВ,
лауреат Государственной премии СССР

Д а, Вл. Иванов действительно прав. С легкой руки некоторых журналистов и «исследователей», склонных скорее к поспешным «открытиям», нежели к действительному изучению фактов истории и установлению истины, в нашу печать, в отдельные литературоведческие статьи и, что много тревожнее, в некоторые учебные и методические пособия для учителей и школьников проникли весьма сомнительные, а иногда и просто неверные факты и утверждения, относящиеся к отдельным событиям и лицам, связанным с подпольной комсомоль-

ской организацией Краснодона «Молодая гвардия».

В 1959—1960 годах появились публикации корреспондента «Комсомольской правды» К. Костенко: «Так боролись и умирали молодогвардейцы», «Он не стал на колени», «Первый комиссар «Молодой гвардии». Первые из этих двух корреспонденций вошли в специальную брошюру «Новое о героях Краснодона», а несколько позднее явились основой документальной книги К. Костенко «Это было в Краснодоне».

Сам по себе факт появления такой книги не мо-

жет вызывать особых возражений, несмотря даже на то, что о молодогвардейцах у нас уже существует довольно большая литература (повести, пьесы, сценарии, брошюры, статьи, воспоминания). Этой теме посвящен и известный роман А. Фадеева «Молодая гвардия».

Появление книги Костенко следовало бы даже приветствовать, если бы, прочтя ее, читатель узнал что-то действительно принципиально новое по сравнению с тем, что ему уже известно, или если бы в ней были исправлены какие-нибудь грубые ошибки, допущенные в предыдущих изданиях.

Очевидно, книга так и задумывалась автором. Во всяком случае, в предисловии к ее второму изданию (1963) К. Костенко, отдавая должное роману Фадеева («...замечательный роман, давно ставший любимой книгой советской молодежи и широко известный за рубежом»), прямо указывает, что его книга учитывает новые факты деятельности молодогвардейцев и рассказывает «...о подлинных обстоятельствах трагической гибели молодогвардейцев». Основная цель книги, как ее понимает автор, состоит в том, чтобы «...уточнить многие факты деятельности подпольной организации, которые по тем или иным причинам неверно отображены в романе А. Фадеева». (Разрядка моя.— С. П.)

Какие же новые факты и подлинные обстоятельства гибели молодогвардейцев установил К. Костенко и что представляют собой те многие факты их деятельности, которые Фадеев «неверно отобразил» в своем романе?



В 1959 году органами государственной безопасности был арестован предатель нашей Родины В. Подтынный, служивший во время фашистской оккупации заместителем начальника краснодонской городской полиции, принимавший непосредственное участие в арестах, избиениях, пытках, а также в кровавой расправе над многими молодогвардейцами.

Следствие по делу Подтынного продолжалось более двух месяцев. Для изобличения палача были привлечены материалы прошедших еще в 1947 году судебных процессов над изменниками Родины и фашистскими карателями О. Древитцем, Я. Шульцем, И. Черенковым, Г. Усачевым, А. Давиденко и другими. Все эти материалы полностью подтвердили преступную деятельность Подтынного в Краснодаре, и по приговору Сталинского (ныне Донецкого) областного суда В. Подтынный был приговорен к лишению свободы на длительный срок. Однако по ходатайству краснодонской общественности этот приговор пересмотрел Верховный суд УССР, и В. Подтынный был расстрелян в начале 1960 года.

25 июня 1959 года К. Костенко опубликовал в «Комсомольской правде» свою первую корреспонденцию: «Так боролись и умирали молодогвардейцы». В ней описывались многие из тех нечеловеческих жестокостей, которым подвергались в фашистских застенках юные патриоты Краснодона, погибшие мученической, героической смертью.

Хотя эта корреспонденция и мало что добавляла к тому, что, по существу, мы уже знали из более ранних официальных сообщений и главным образом из романа А. Фадеева, тем не менее она прозвучала весьма убедительно, вновь и вновь напоминая советским людям, и в первую очередь молодежи, о всех ужасах и изуверствах фашизма, воскресив в нашей памяти светлые образы юных героев Краснодона, погибших за честь и независимость Родины.

Однако в корреспонденцию К. Костенко, которую все мы восприняли как документированный отчет о

следствии и судебном процессе над Подтынным, вкрались достаточно серьезные ошибки.

Так, например, К. Костенко сообщал, что осужденный еще в 1943 году советским судом предатель М. Кулешов «...заявил на следствии, что молодогвардейцев выдал Третьякевич, не выдержавший побоев. Это была ложь, по-видимому, рассчитанная на то, что подлинному предателю удастся скрыться...» (Разрядка моя.— С. П.)

Такое предположение К. Костенко лишено всяких оснований. На самом деле М. Кулешов показал по этому поводу советским следственным органам следующее:

«...В декабре 1942 года в Краснодонском районе была открыта партизанская комсомольская группа под названием «Молодая гвардия». Открытие этой группы произошло по доносу Почепцова Г. П.» (след. дело № 147721, т. 1, стр. 12. Разрядка моя.— С. П.).

Материалы следствия по делу Кулешова подтверждают далее, что он и не мог скрыть от советских органов имя подлинного предателя «Молодой гвардии» Почепцова, равно как не мог рассчитывать, что тому «удастся скрыться». Почепцов был арестован почти на месяц раньше Кулешова, что, кстати, расходится с утверждением К. Костенко (в книге «Это было в Краснодаре», стр. 218), будто «...первым, кого настигла карающая рука правосудия, был Кулешов»¹.

Позднее Кулешов действительно заявлял, что молодогвардейцев предал не только Почепцов, но и Третьякевич, который, не выдержав пыток, «...назвал фамилии участников организации и рассказал о том, что руководящий центр ее находится в Краснодаре и состоит из штаба, в который входят: он—Третьякевич, Земнухов, Тюленин и Сафонов» (след. дело, т. 1, стр. 16). Однако Кулешов оклеветал тогда не одного Третьякевича; заодно он также оговорил А. Попова, И. Земнухова и Г. Лукашова, продолжая, однако, называть Почепцова первым и основным предателем «Молодой гвардии».



Отвлечемся ненадолго от корреспонденции К. Костенко, чтобы закончить разговор о предательстве «Молодой гвардии» — вопросе, основательно запутанном за последнее время.

Обратимся к некоторым фактам и документам.

Арестованный Г. Почепцов показал советскому следствию и судившему его Военному трибуналу, что он, работая с октября 1942 года трактористом Первомайского молокосовхоза, узнал от А. Попова о существовании в поселке подпольной комсомольской группы и вступил в нее.

«Наша Первомайская группа,— рассказал он далее,— была связана со штабом, находящимся в г. Краснодаре, в состав которого входили Кошевой Олег, Земнухов Иван, Третьякевич Виктор, Туркенич Иван и Левашов Василий...» (след. дело, т. 2, стр. 11).

Почепцов, как он заявил следствию, стал «общаться» с членами штаба, бывать на подпольных комсомольских собраниях, знакомиться с работой организации и отдельных ее руководителей.

Почти накануне нового, 1943 года Почепцов узнал, что какие-то комсомольцы-подпольщики совершили ряд налетов на автомашины, доставившие в Красно-

¹ Сообщаем в качестве справки: Г. Почепцов был арестован 17 марта, его отчим В. Громов — 12 апреля, а М. Кулешов — 16 апреля 1943 года. Все они были приговорены Военным трибуналом к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 19 сентября 1943 года в г. Краснодаре, публично.

дон новогодние подарки от высшего немецкого командования для раздачи солдатам.

Утром первого января 1943 года он увидел, как к «...дому Евгения Мошкова подъехали сани с полицейскими, которые произвели у Мошкова обыск, нашли с чем-то мешок и арестовали Мошкова» (там же).

Днем к Почепцову зашел комсомолец Д. Фомин и с тревогой сообщил, что полицейские «только что» арестовали Третьякевича, а следом за ним и Земнухова.

Испугавшись, что полиция нашла след подпольной организации и поэтому могут арестовать и его, Почепцов решил спасти свою шкуру ценой предательства и, вслеськи поощряемый отчимом В. Грозовым, уже состоявшим на службе в немецкой полиции (Почепцов сознался ему в своей связи с комсомольцами-подпольщиками), в тот же день написал заявление-донос на имя начальника шахты Жукова, в надежде, что тот, будучи активным пособником оккупантов, обязательно передаст его заявление по назначению.

«Я нашел следы подпольной молодежной организации и стал ее членом,— писал Почепцов в своем доносе.— Когда я узнал ее руководителей — я вам пишу заявление. Прошу прийти ко мне на квартиру, и я расскажу вам все подробно...»¹.

Заявление было датировано «задним числом» — 20 декабря 1942 года: Почепцов надеялся таким образом убедить полицейских, что желание сообщить им о подпольщиках родилось у него еще до ареста Мошкова, Третьякевича и Земнухова. Он не предполагал, что арест этих молодогвардейцев был вызван хищением новогодних подарков; об их принадлежности к организации полиция еще не подозревала. Только донос Почепцова соединил оба эти факта воедино. (Позднее удалось установить, что начальник полиции Соликовский, несмотря на жестокие избиения юношей, так и не добился от арестованных признаний в хищении подарков и собирался уже, «высыпав им еще плетей», отпустить их домой, но тут «подоспел» донос Почепцова.)

Мошкова, Третьякевича и Земнухова стали пытать, желая добиться от них показаний о деятельности «Молодой гвардии», о ее руководителях и участниках. Ребята мужественно переносили побои и издевательства и ни в чем не признавались.

Окончательно их предал и одновременно разоблачил большую группу других молодогвардейцев все тот же Почепцов, вызванный в полицию на допрос в связи со своим доносом. Вот что он рассказал по этому поводу позднее советским следственным органам:

«...На допросе я рассказал о всех лицах, которых знал по комсомольской организации, и о том, что они делали как подпольщики...» (след. дело, т. II, стр. 11).

На прямой вопрос следствия и Военного трибунала, признает ли он себя виновным в предательстве «Молодой гвардии», Почепцов ответил: «Да, членов подпольной организации предал я — Почепцов». (Там же. Разрядка моя.— С. П.)

После первого же допроса Почепцов получил от начальника немецкой полиции предложение сотрудничать с ними, дал на это согласие и тут же назвал — дополнительно к уже преданным им — фамилии тех молодогвардейцев, которых знал (А. Попов, Б. Глован, Д. Фомин, С. Сафонов, Г. Лукашов, Н. Жуков, В. и А. Бондаревы, А. Николаев и некоторые другие). Все они были арестованы, а потом зверски замучены.

¹ Текст заявления-доноса взят из показаний Г. Почепцова.



Материалы судебных процессов, прошедших над изменниками Родины и фашистскими палачами еще в 1946—1947 годах, свидетельствуют о поистине великой духовной стойкости и беспримерном мужестве героев-молодогвардейцев.

Нельзя оставаться равнодушным, листая эти пожелтевшие от времени страницы нашей истории.

Прочитайте хотя бы несколько признаний осужденных в свое время фашистских палачей — как истребляли они юных краснодонцев и какой пример патриотизма показали эти подростки, многие из которых, не сойдя еще со школьной скамьи, по праву вошли в бессмертие!

Осужденный эсэсовец О. Древитц на допросе 6 ноября 1947 года рассказал, как были убиты ими в Гремучем лесу на окраине г. Ровеньки комиссар «Молодой гвардии» Олег Кошевой и отважная разведчица Любовь Шевцова:

«...Когда арестованных поставили на край заранее вырытой ямы, Кошевой поднял голову и, обращаясь к рядом стоящим, громко крикнул: «Смерти смотреть прямо в глаза!» Последние слова загнули выстрелы. Затем я заметил, что Кошевой еще жив — он был только ранен. Я подошел к лежащему на земле Кошевому и в упор выстрелил ему в голову...»

Из числа расстрелянных во второй партии я хорошо запомнил Шевцову. Она обратила мое внимание своим внешним видом. У нее была красивая, стройная фигура, продолговатое лицо. Несмотря на свою молодость, держала она себя очень мужественно. Перед казнью я подвел Шевцову к краю ямы для расстрела. Она не произнесла ни слова о пощаде и спокойно, с поднятой головой приняла смерть...»¹.

Осужденный бывший старший следователь краснодонской полиции Г. Усачев на допросе 6 ноября 1947 года показал:

«...Должен сказать, что не только Громова и Земнухов, о которых я показывал, вели себя на допросах с достоинством, присущим советским людям, но и подавляющее большинство молодогвардейцев.

Несмотря на избиения, они упорно не выдавали своих товарищей. Только после нечеловеческих истязаний, не страшась последствий, они начали открыто говорить о своей работе против немцев.

Окровавленных, избитых до потери сознания комсомольцев бросали в камеры, после чего я или другие следователи оформляли их показания протоколами. Допрашивая молодогвардейцев, я требовал от них показаний о принадлежности к организации, выдачи оружия и своих друзей по подполью...»

Осужденный Стаценков, лично участвовавший в расстреле тринадцати молодогвардейцев, показал: «...пыткам и истязаниям подвергались почти все арестованные участники «Молодой гвардии».

Молодогвардейцы отказывались давать показания о деятельности и участниках своей организации, и за это их подвергали нечеловеческим мучениям...»

По вечерам арестованные молодогвардейцы в камерах пели «Интернационал» и другие революционные песни, за что их избивали полицейские...»

Осужденный А. Давиденко, лично пытавший молодогвардейцев Мошкова, Попова, Лукашова, Жукова и многих других, на допросе 10 ноября 1947 года показал:

¹ О роде Л. Шевцовой в истории «Молодой гвардии» и ее героической смерти, с учетом новых обнаруженных материалов, подробно рассказано в брошюре нынешнего руководителя воронежских чекистов С. И. Косенко «Прометей Краснодона» (изд. «Молодь», 1968, на украинском языке).

«...На допросах комсомольцев мы жестоко избивали их плетью и обрывками телефонного кабеля. Наряду с этим, чтобы заставить их говорить, мы подвешивали молодогвардейцев за шею к скобе оконной рамы в кабинете Соликовского, инсценируя казнь через повешение...

Молодогвардейцы принимали смерть мужественно и спокойно. Вместе с ними был казнен председатель Краснодарского горсовета, коммунист Яковлев. Со связанными руками, смело, с поднятой головой, он сам подошел к стволу шахты и во весь голос воскликнул: «Умру за Сталина!» Его живым сбросили в ствол шахты».

Осужденный И. Черенков, пытавший Ульяну Громову, Земнухова, Ковалева и многих других юных патриотов, на допросе 10 ноября 1947 года показал: «...Молодогвардейцев избивали плетью, кулаками, всем, что попадалось под руку. В здании полиции постоянно были слышны душераздирающие крики и стоны.

Арестованных водили залитых кровью, с разбитыми лицами, в одежде, разорванной в клочья...

Мучениями и пыткам подвергались все без исключения члены организации «Молодая гвардия»...

Героически вел себя Земнухов, за что был жестоко и многократно избиваем...

После одного из очередных избиений Ульяны Громовой Черенков спросил у нее: почему она держит себя так вызывающе? Громова мне ответила:

— Не для того я вступила в организацию, чтобы потом просить у вас прощения; жалею только об одном, что мало мы успели сделать! Но ничего, быть может, нас еще успеет вызволить Красная Армия!

Не менее смело вела себя на допросах Клавдия Ковалева, от которой я не мог добиться признаний... Так и не сознавшись, она была расстреляна вместе с другими молодогвардейцами.

Несмотря на зверское обращение с арестованными, воля их не была сломлена, вынужден был признать этот палач. Большинство молодогвардейцев на допросах вели себя патриотически, никаких показаний не давали и только после применения к ним пыток стали кое-что рассказывать о своей подпольной работе. Однако и в этом случае они держались мужественно и открыто высказывали свою ненависть к фашистам и допрашивавшим их полицейским следователям.

Тюленина долго искали. Потом его привели в окровавленной одежде, с опухшим от побоев лицом. Он едва держался на ногах.

Немец-следователь «набросился на него с криком «Партизан!» и стал избивать его кулаками, пока тот не упал на пол и потерял сознание...

«...Тюленин держал себя на допросах с достоинством, — показал другой фашистский палач, Шенк. — Мы удивлялись, как могла выработаться такая сильная воля у совсем еще молодого человека. Наверное, презрение к смерти породило в нем эту твердость характера. Во время пыток он не вымолвил ни одного слова о пощаде и не выдал ни одного из молодогвардейцев. От него ничего так и не добились...

Позднее многие фашистские палачи, представшие перед советским правосудием, говорили, что они были поражены мужеством и стойкостью молодогвардейцев. Все они утверждали, что никто из участников «Молодой гвардии» не поколебался, не предал товарища и не попросил пощады.



А. Фадеев был знаком со следственными материалами по делу Почепцова — Кулешова — Громова: он подтвердил это в выступлении на собрании московских писателей-прозаиков 4 февраля 1947 года.

Невольно возникает вопрос: чем же объяснить, что Фадеев все же не назвал в романе имя настоящего предателя?

Ответить на него за писателя, которого нет среди нас, довольно трудно. Однако есть некоторые основания предполагать, почему в сложных условиях того времени Фадеев иначе поступить и не мог.

Писатель знал, что Почепцов предал не всех участников «Молодой гвардии»: этого Почепцова и не мог сделать, потому что, не занимая в подпольной организации руководящего положения, он многих ее участников просто не знал: в «Молодой гвардии» насчитывалось тогда уже около ста человек.

Кроме того, Фадееву было известно, что осужденная в 1947 году О. Лядская (которая упоминается и в его романе) тоже признала себя виновной и рассказала, что «...являлась агентом-provokатором полиции, предала некоторых участников «Молодой гвардии», которых потом избивали на очных ставках» (след. дело № 7682, стр. 103).

Таким образом, налицо были уже два предателя.

Нельзя также забывать, что, когда Фадеев начал писать роман, на В. Третьякевича, несмотря на его гибель от рук фашистов, продолжало еще лежать подозрение в измене в связи с показаниями М. Кулешова (допрашивавшего Третьякевича), а также отрицательной в том же плане характеристикой, которую дал ему И. М. Чернышев, привлекавшийся по делу «Молодой гвардии», но оправданный по суду из-за недостаточности улик; Фадеев не мог не знать и о том, что отношение к Третьякевичу среди самих молодогвардейцев было неодинаковым. Вероятно, именно по этим соображениям писатель решил вообще не упоминать имя Третьякевича в романе¹.

Теперь-то мы знаем, что в результате тщательной проверки, проведенной спустя много лет органами государственной безопасности и воронежскими (тогда луганскими) организациями, с Третьякевича полностью снято подозрение в измене, но в те годы все выглядело гораздо сложнее.

Однако «Молодая гвардия» погибла, и погибла потому, что была предана. Следуя исторической правде, писатель должен был отразить в своем романе это предательство. Тогда-то он и решил создать обобщенный, собирательный образ предателя «Молодой гвардии» под вымышленной фамилией Стаховича², за которым не было какой-либо конкретной исторической личности.

Во время одной из встреч с читателями у Фадеева кто-то спросил: «А верно ли, что Стахович в романе это Третьякевич в жизни?» Писатель категорически ответил: «Нет!» — и тут же объяснил, почему такое и всякое иное аналогичное предположение лишено смысла, когда речь идет о вымышленном персонаже в художественном произведении.

Вообще надо сказать, что, создавая книгу о молодогвардейцах и используя в качестве ее исторической основы подлинные факты и судьбы реально существовавших людей, А. Фадеев не раз прибегал в описаниях некоторых событий и обстоятельств, а также отдельных действующих лиц к художественному вымыслу, что вполне закономерно для избранного им жанра.

Однако вымысел и история у Фадеева настолько переплетены, что трудно отделить одно от другого.

¹ Так это и осталось до наших дней и, в связи со смертью А. Фадеева, уже не может быть, к сожалению, исправлено в романе.

² В свое время в романе «Разгром» Фадеев тоже «выдумал» образ предателя Мечника, случайное совпадение фамилии которого с фамилией реально существовавшего героя-партизана послужило поводом к запросам ряда читателей, на которые писатель дал ответ в одном из писем (позднее опубликованном).

Он прибегает к вымыслу, не нарушая общей исторической правды жизни, и, кроме того, считает своим долгом прямо заявить читателям, что пишет «...не действительную историю «Молодой гвардии», а роман...», в котором «...как во всяком романе есть вымысел»; писатель даже указывает при этом почти во всех случаях, где именно и почему вынужден он прибегать к такому вымыслу.

К сожалению, автор корреспонденций и книги «Это было в Краснодаре» не следует этому хорошему примеру: он скромно умалчивает, что и корреспонденции его и книга во многом не документальны.



Возвратимся вновь к статье К. Костенко «Так боролись и умирали молодогвардейцы».

Несмотря на некоторые неточности, автор еще не подвергает здесь сомнению и пересмотру общеизвестные факты о руководителях «Молодой гвардии».

К. Костенко пишет: «В материалах судебного следствия по делу Подтынного есть копия показаний эсэсовца Древитца, который во время оккупации служил в жандармерии города Ровеньки. Как известно, здесь были расстреляны руководитель «Молодой гвардии» Олег Кошевой и бесстрашная связистка подпольщиков Люба Шевцова». (Разрядка моя.— С. П.)

Это было написано 25 июня 1959 года: Кошевой еще признается руководителем «Молодой гвардии».

Через месяц (28 июля 1959 года), отвечая на вопросы читателей «Комсомольской правды»: кем же был Виктор Третьякевич в «Молодой гвардии» и какова вообще его судьба (о которой он вскользь упомянул в первой корреспонденции),— К. Костенко выступил со второй статьей: «Он не стал на колени».

Надо сказать, что к тому времени бюро Луганского (ныне Ворошиловградского) обкома КПУ по материалам специально созданной комиссии уже установило (постановление от 10 февраля 1959 года), что Виктор Третьякевич принимал «...активное участие в деятельности подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия». С его имени была снята всякая тень подозрения в измене Родине, и Третьякевич был внесен во все списки активных молодогвардейцев.

Вместо того, чтобы, отталкиваясь от этого авторитетного заключения, рассказать читателям о В. Третьякевиче, К. Костенко стал, не имея к тому решительно никаких оснований, пересматривать чуть ли не всю историю «Молодой гвардии».

Без ссылки на документы или свидетельства он неожиданно заявляет, что «...первым комиссаром, одним из главных руководителей ее (то есть «Молодой гвардии».— С. П.) был Виктор Третьякевич».

Потом, видимо, поняв, что такое безапелляционное утверждение полностью расходится с уже установленным и документально подтвержденным представлением о руководителях краснодонской молодежной организации, К. Костенко продолжает:

«Уже значительно позднее, когда в организацию влились новые группы молодежи, когда в городе появились уже обстрелянные, имевшие боевой опыт краснодонцы — лейтенант Иван Туркенич, стрелок-радист Евгений Мошков, разведчица Люба Шевцова,— состав штаба изменился, Командиром организации стал Туркенич, комиссаром — Олег Кошевой. А Виктору Третьякевичу поручили руководить боевой оперативной группой».

13 декабря 1960 года был опубликован Указ Пре-

зидиума Верховного Совета СССР, которым В. Третьякевич посмертно награждался орденом Отечественной войны 1-й степени «за активное участие в деятельности подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», а также проявленные личные героизм и отвагу в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками».

На другой же день (14 декабря) К. Костенко выступает с новой, третьей по счету, корреспонденцией: «Первый комиссар «Молодой гвардии».

Вопреки ранее установленным и широко известным данным, К. Костенко заявляет здесь, что уже на первом собрании краснодонских подпольщиков (называется даже точная дата и место собрания — «16 сентября в доме Третьякевичей»), где молодогвардейцы выбирали свой штаб, «...комиссаром единогласно избрали Третьякевича. В состав штаба... вошли Олег Кошевой, Иван Земнухов, Василий Левашов...»

И дальше: «...С первых и до последних дней существования «Молодой гвардии» Виктор (Третьякевич) был одним из главных организаторов и руководителей комсомольского подполья в Краснодаре».

Чтобы как-то подкрепить эту новую версию о комиссаре «Молодой гвардии», К. Костенко вынужден широко прибегать в своей «документальной» книге к художественному домыслу, хотя, как нетрудно убедиться, его газетные выступления да и книга «Это было в Краснодаре» лежат за пределами художественной литературы (они, видимо, и не задумывались, судя по всему, как художественные произведения).

Автору приходится домысливать диалоги между Третьякевичем и Земнуховым, между чиновником из гестапо и начальником полиции Соликовским, выдумывать историю со списком молодогвардейцев, который якобы передал в полицию Почепцов, указав первым в нем имя Третьякевича...

Поскольку на этот список ссылаются и другие «исследователи», о нем следует сказать несколько слов. Прежде всего такого списка вообще не существует; во всяком случае, пишущие о нем — видеть его не могли. Сохранились лишь показания по этому поводу Почепцова, который заявил советскому следствию, что, будучи вызван для допроса в немецкую полицию (в связи со своим доносом на молодогвардейцев), он назвал известных ему «...участников подпольной комсомольской организации — Земнухова Ивана, Третьякевича Виктора, Мошкова Евгения, Кошевого Олега. Сказал, что Земнухов Иван был членом штаба подпольной комсомольской организации...» (след. дело № 147721, т. 2, стр. 11).

Позднее Почепцов выдавал фашистам имена и некоторых других участников «Молодой гвардии». Однако ни о каком списке, тем более начинающемся с фамилии Третьякевича, в материалах следствия сведений не содержится.

К. Костенко пришлось также выдумать и сцену допроса Третьякевича, описание которой не основано на каких-либо документах или свидетельствах. Единственный факт, который нашел отражение в материалах следствия, — это показание осужденного в 1947 году И. Черенкова о том, что, будучи подведен палачами к месту казни, «...Третьякевич около шахты стал сопротивляться, и его столкнули в шурф живым» (след. дело № 7682, стр. 111).

В книге «Это было в Краснодаре» творческая фантазия К. Костенко развернулась в полную силу.

Здесь, как и в корреспонденциях, но уже погуще, целая серия вымышленных бесед между собой погибших молодогвардейцев, разговоров давно расстрелянных полицаяв и изменников Родины, бесед, о содержании которых никто ничего не знает и знать не может.

Описывается, например, эпизод, когда Третьякевич выдает вновь принятым в комсомол ребятам временные удостоверения, подписывая их: «Комиссар Слави». На самом же деле сохранившиеся со времен подполья временные комсомольские удостоверения подписаны Олегом Кошевым (его псевдонимом «Комиссар Кашук»), в чем нетрудно убедиться, побывав в Краснодарском музее «Молодая гвардия».

Столь же «точно» документирован эпизод подготовки молодогвардейцев к взрыву немецкого дирекциона. Если судить по книге Костенко, инициатива в проведении этой операции принадлежала якобы Олегу Кошевому, который на одном из последних заседаний штаба «Молодой гвардии» предложил своим товарищам взорвать немецкий дирекцион «...к чертовой бабушке... вместе с его хозяевами и гостями» («Это было в Краснодаре», стр. 124).

Известно, что эта операция как несвоевременная, недостаточно продуманная, могущая повлечь за собой массовые репрессии по отношению к населению города, была отменена по указанию руководителей партийного подполья Краснодона.

В действительности операция эта — как она описана в подлиннике отчета непосредственного участника ее подготовки И. Туркенича — была предложена не Кошевым, а Евгением Мошковым.

Судя по всему, новая версия больше устраивала К. Костенко, чтобы лишний раз подчеркнуть всю «незрелость» Кошевого как руководителя организации (ведь Третьякевича-то тогда рядом не было!).

Собственно говоря, проведение такой отчаянно-дерзкой операции и могло быть предложено Олегом Кошевым: он имел право на это, ну, хотя бы по своей молодости! Но зачем понадобилось искусственно приписывать ему то, чего он на самом деле не делал и не предлагал?!

Нельзя, конечно, сказать, что вся книга К. Костенко «Это было в Краснодаре» написана неверно, с ложных позиций. Нет, в ней есть и довольно интересные подробности, детали, почерпнутые, в частности, из материалов судебного процесса над Подтынным. Но все это интересно и значительно только в той мере, в какой опирается на подлинные факты, документы, а не на вымысел автора.

Однако вымысла здесь, к сожалению, гораздо больше, чем подлинных фактов.

Может быть, все-таки К. Костенко добросовестно заблуждался в своих утверждениях, не изучив как следует фактический материал, или стал по неопытности (или еще каким-либо причинам) невольной жертвой чьей-то недобросовестной информации?

Вряд ли! К. Костенко достаточно опытный журналист. Выпуская свою книгу без исправлений в первом тираже, он как бы подчеркивал, что позиции его достаточно обдуманы и устойчивы.

Больше того. Получив от Краснодарского музея «Молодая гвардия» развернутую и достаточно обоснованную рецензию на второе издание своей книги (рецензия называлась «Почему нельзя выпускать в свет третье издание книги К. Костенко «Это было в Краснодаре»), которая должна была по меньшей мере насторожить К. Костенко как автора, он не сделал даже попытки связаться с воронежскими и краснодонскими организациями, чтобы перепроверить весь фактический материал своей книги. Игнорировав мнение научных работников Краснодарского музея, он стал активно продвигать третье издание своей книги в Донецком областном издательстве. И, надо сказать, в этом он преуспел! Книга была уже отпечатана в довольно большом количестве экземпляров. (Следует отметить, что издательство постаралось отлично оформить эту кни-

гу. Однако в отличие от первого и второго изданий книги Костенко в третьем ее издании среди помещенных фотопортретов руководителей «Молодой гвардии» есть все, кроме... Олега Кошевого! Вряд ли тут нужны какие-либо комментарии!)

Только в результате вмешательства Ворошиловградского обкома партии дальнейшее тиражирование книги К. Костенко было прекращено, а уже отпечатанные экземпляры пришлось «пустить под нож».

Что же принципиально новое о «Молодой гвардии» сообщил нам К. Костенко в своих корреспонденциях и в книге? Ведь он обещал нам «низвержение основ»!

Если отвлечься от некоторых подробностей и деталей, все «новое» в освещении истории «Молодой гвардии» сводится у К. Костенко к утверждению, что единственным комиссаром «Молодой гвардии» был Виктор Третьякевич, а Олег Кошевой, играя вообще в подпольной организации второстепенную роль, лишь заменял иногда (как член штаба) Третьякевича, когда тот на несколько дней уходил из Краснодона по специальным заданиям.

Никаких других принципиально важных и к тому же новых «открытий», могущих вызвать под сомнение или опровергнуть ранее установленные исторические факты или основные положения романа А. Фадеева, в выступлениях К. Костенко не содержится.



В 1961 году Ленинградское отделение Учпедгиза выпустило методическое пособие для школ «А. А. Фадеев в школе».

Автор этой, в общем, полезной книги М. П. Касторская, достаточно серьезно и основательно анализируя «Молодую гвардию» А. Фадеева и высказывая при этом некоторые полезные методические рекомендации учителям, к сожалению, не потрудились над самостоятельным изучением (или хотя бы элементарной проверкой) исторической основы фадеевского романа. Слепо, очень некритически, почти слово в слово повторяя все основные положения известных уже нам выступлений К. Костенко о «Молодой гвардии», она окончательно запутала школьных учителей, невольно вынудив их каждый раз испытывать неловкость перед школьниками, пытающимися понять, чем же все-таки объяснить вопиющие противоречия между романом, о котором они слышали так много хорошего как о произведении правдивом, основанном на подлинных фактах жизни, и теми объяснениями подлинной истории молодогвардейцев, которые они слышат от своих учителей?

Хотела того М. П. Касторская или нет, но Олег Кошевой, как он показан ею — не в анализируемом романе, а в жизни, — выглядит очень бледной, маловыразительной личностью. Появляется он очень редко, да и то как-то «среди других» (стр. 76). Ну, какая же это «...душа и вдохновитель всего дела», как характеризует его боевой командир «Молодой гвардии» Иван Туркенич!

Вообще надо сказать, что молодогвардейцам, посмертно удостоенным высокого звания Героя Советского Союза, почему-то не повезло на страницах книги М. Касторской: даже и фотопортреты руководителей «Молодой гвардии», помещенные в этой книге, подобраны слишком тенденциозно: только В. Третьякевич, И. Земнухов и ныне благополучно здравствующий В. Левашов. А где же трагически погибшие герои, руководители «Молодой гвардии» Кошевой, Тюленин, Громова, Шевцова, где их командир И. Туркенич?



Активным пропагандистом нового взгляда на историю «Молодой гвардии», на роль и значение в ней отдельных руководителей стал, как это ни странно, бывший директор Краснодарского государственного музея «Молодая гвардия» А. М. Литвин, казался бы, призванный по долгу службы оберегать историю героической краснодонской организации молодежи от всякого рода искажений и извращений.

В 1961 году издательство «Молодь» выпустило сборник документов и воспоминаний о молодогвардейцах под общим названием «Молодая гвардия».

Наряду с другими документами в этом сборнике напечатан тщательно препарированный отчет командира «Молодой гвардии» И. Туркенича — единственный документ, довольно подробно рассказывающий о рождении и делах «Молодой гвардии», к тому же написанный рукой человека, руководящая роль которого в истории «Молодой гвардии» никогда никем не оспаривалась¹.

Отчет Туркенича, написанный сразу же после краснодонских событий — в первой половине 1943 года, в сокращенном виде был опубликован в журнале «Смена» (1943, №№ 21—22) под названием «Дни подполья».

Посмотрим, как этот отчет выглядит в упомянутом нами сборнике «Молодая гвардия», где он напечатан под тем же названием — «Дни подполья».

На стр. 70-й приводятся слова Ивана Туркенича о той обстановке, которая сложилась в Краснодаре в августе — сентябре 1942 года, когда, собственно говоря, и возникла «Молодая гвардия».

«...Сразу же после прибытия гестапо начались массовые аресты коммунистов, комсомольцев, орденосцев, старых красных партизан. Всех их расстреливали. Тридцать шахтеров за неявку на регистрацию закопали в землю живыми.

В эти дни кровавого фашистского разгула гестаповцев и зародилась наша «Молодая гвардия»...»

После этих слов составители сборника почему-то пропускают (и притом без полагающихся в таких случаях отточий!) довольно значительную фразу из подлинного отчета Туркенича, идущую вслед за приведенной выше цитатой:

«Инициатором был Олег Кошевой. Он находил себе друзей по школе — Ваню Земнухова, Виктора Третьякевича, Васю Левашова...»

Далее в сборнике приводятся слова Туркенича о подпольной встрече комсомольцев, на которой присутствовали «...Олег Кошевой, Ваня Земнухов, Виктор Третьякевич, Вася Левашов, Георгий Арутюнянц, Сергей Тюленин... Было решено создать штаб организации. Наметили кандидатуры, в число которых вошли Третьякевич, Кошевой, я, Левашов, Земнухов, Тюленин.

По предложению Сергея Тюленина мы решили назвать свою организацию «Молодая гвардия».

Меня, как человека военного, товарищи избрали впоследствии командиром подпольной организации...»

¹ Иван Туркенич случайно не попал в руки гестаповцев. Когда в Краснодаре начались массовые аресты, ему удалось перейти линию фронта. Сражаясь в рядах Советской Армии, он доблестно прошел с боями через всю Украину. В 1944 году его приняли в ряды КПСС. 15 августа 1944 года Туркенич пал смертью храбрых в бою за освобождение польского города Глогов.

«Это был человек большого сердца, решительный, волевой, — пишет о нем в своих воспоминаниях Герой Советского Союза, майор С. П. Серых — Его уважали и офицеры и солдаты. В жестоких освободительных боях... Туркенич проявил военное мастерство, небывалую отвагу и выносливость...»

Однако в подлиннике отчета Туркенича вопрос этот освещен иначе:

«...Мы создали штаб руководства своей организацией, в состав которого вошли Олег Кошевой, Ваня Земнухов, Сергей Тюленин, Виктор Третьякевич, Василий Левашов и я...»

Олега избрали комиссаром, меня командиром, Тюленина Сергея начальником штаба, Ваню Земнухова — шпионом-разведчиком.

Здесь же было решено свою организацию именовать «Молодая гвардия» по предложению Сергея Тюленина...»

В журнале «Смена» (1943 год) Туркенич вновь подтвердил, что «...Олег Кошевой, душа и вдохновитель всего дела, был назначен комиссаром. Иван Земнухов — ответственным по разведке и конспирации. Меня, как человека военного, товарищи избрали впоследствии командиром подпольной организации...»

Надо было видеть, как Олег Кошевой, который был моложе меня почти на шесть лет, руководил нашей выросшей, разветвленной организацией. Мы работали с Олегом дружно, постоянно советовались, и я часто удивлялся его ясному, живому уму, организаторским способностям и неугасимому боевому духу...»

Характеристика Туркенича ясна, не требует комментариев и в течение многих лет никем не оспаривалась.

Зачем же понадобилось фальсифицировать этот документ?

Нас могут спросить: а, собственно говоря, при чем здесь А. Литвин, какое отношение имеет он к появлению в печати так неуклюже препарированного отчета Туркенича?

Отвечаем: А. Литвин имеет к этому делу прямое отношение. Он был одним из составителей этого сборника (это указано на обороте титульного листа) как директор единственного в стране государственного музея «Молодая гвардия», без ведома которого не мог быть опубликован отчет Туркенича, подлинник которого хранится в Краснодарском музее «Молодая гвардия» (на что в сборнике имеется специальная ссылка).

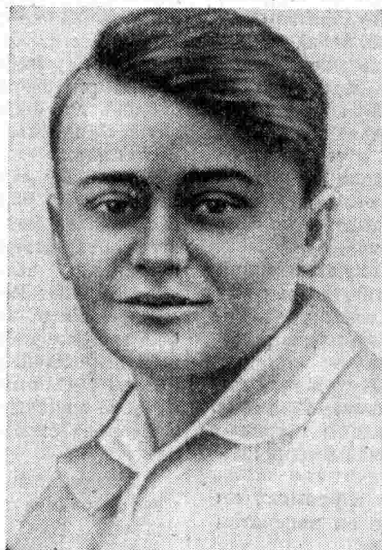
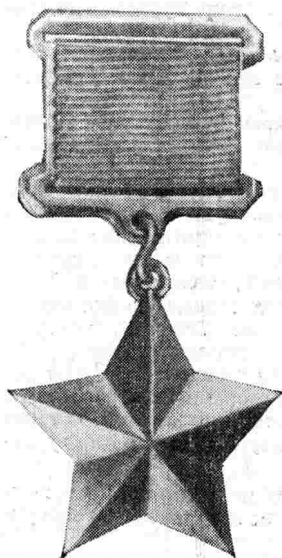
Мало того. Будучи директором музея и стремясь всячески утвердить свою (а мы видим, что и не только свою!) концепцию истории «Молодой гвардии», А. Литвин самовольно изменил — соответственно этой «концепции» — экспозицию музея.

Но и этого ему показалось недостаточным, и А. Литвин разослал в научные учреждения извещение о том, что руководимый им Краснодарский государственный музей «Молодая гвардия» располагает большим материалом по истории героической борьбы коммунистов и комсомольцев Краснодарского подполья», в описании которого «до последнего времени авторы допускали ошибки и неточности» — в надежде, очевидно, на то, что найдутся желающие предоставить ему трибуну, как «новоявленному» историку.

Во всяком случае, не без участия А. Литвина в «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза» (М., 1961) вопреки утверждениям таких официальных изданий, как, скажем, «Большая Советская Энциклопедия», появилось сообщение (т. 3, стр. 484), что «...во главе «Молодой гвардии» стоял штаб, в который входили комсомольцы И. В. Туркенич (командир организации), В. И. Третьякевич (комиссар), У. М. Громова, И. А. Земнухов, О. В. Кошевой, С. Г. Тюленин, А. Г. Шевцова».

В марте 1964 года бюро Ворошиловградского обкома КПУ прекратило бурную «научно-исследователь-

Молодогвардейцы—



Олег Кошевой
(1926—1943)



Ульяна Громова
(1924—1943)

скую» деятельность А. Литвина, освободив его от обязанностей директора Краснодарского музея «Молодая гвардия» за допущенные ошибки в работе, за самовольное изменение экспозиции музея и искажение исторических фактов.

Однако «исследования» А. Литвина и печатные выступления К. Костенко сыграли свою отрицательную роль. Именно они-то и послужили причиной появления ошибочных утверждений в методическом пособии М. П. Касторской, частично в книге А. Колотович и Н. Осинина «Дорогие мои краснодонцы» (Новосибирск, 1968), а также в отдельных работах и статьях некоторых наших уважаемых литературоведов¹.



А теперь постараемся хотя бы в самых общих чертах восстановить основные вехи подлинной истории «Молодой гвардии» — по документам и материалам, имеющимся в распоряжении органов государственной безопасности и Краснодарского музея «Молодая гвардия».

Краснодон был захвачен фашистами 20 июля 1942 года, а освобожден советскими войсками 14 февраля 1943 года. Таким образом, его оккупация

¹ Следует сказать, что автор данной статьи тоже в какой-то мере испытал влияние информации о «новом» в краснодонских событиях. В свое время он получил официальное сообщение от А. М. Литвина (как директора Краснодарского музея «Молодая гвардия»), что «...Виктор Третьякович был комиссаром «Молодой гвардии» с первых дней ее организации и до конца. Других комиссаров в «Молодой гвардии» не было».

Правда, это сообщение мало повлияло на изменение основных позиций автора этих строк в оценке исторических фактов, зафиксированных в романе А. Фадеева. Оно лишь подсказало ему необходимость самостоятельного изучения существа вопроса по документам-первоисточникам, результатом чего и явилась настоящая статья.

гитлеровскими захватчиками продолжалась около семи месяцев.

Мы уже ссылались на отчет командира «Молодой гвардии» Ивана Туркенича, из которого можно заключить, что подпольная комсомольская организация в Краснодаре начала создаваться в августе—сентябре 1942 года сперва в виде отдельных групп, действовавших еще разрозненно, не будучи объединенными в единую организацию².

Это подтвердили в свое время и другие оставшиеся в живых участники «Молодой гвардии».

Один из активных участников «Молодой гвардии», Анатолий Лопухов, пишет в своих воспоминаниях:

«...Существование «Молодой гвардии» началось с пяти человек, в августе 1942 года» (из архива Института истории партии ЦК КПУ, ф. 7, оп. 10, е. х. 180, лл. 45—53).

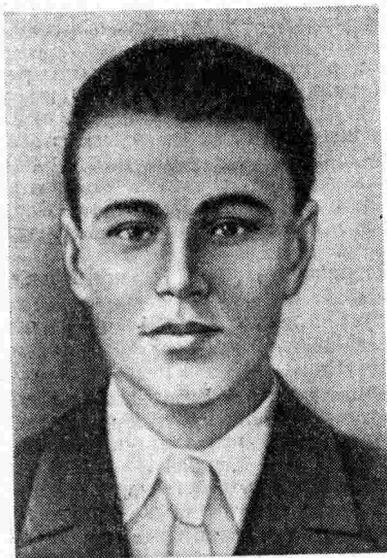
Участница «Молодой гвардии» Ольга Иванцова, вызванная 25 октября 1946 года в качестве свидетельницы по делу группы изменников Родины, рассказала следующее:

«...в августе 1942 года я, по сложившимся обстоятельствам, вернулась в Краснодар, где установила связь с руководителями существовавшей в городе подпольной комсомольской организации Олегом Кошевым и Ваней Земнуховым...» (след. дело, т. 7, стр. 255).

Один из активных молодогвардейцев, Георгий Арутюнянц, подтвердил 22 октября 1947 года как свидетель по тому же делу:

² Сам Туркенич, вырвавшийся из фашистского окружения, в которое попала его воинская часть, появился в Краснодаре в августе 1942 года и сразу же как человек, ранее хорошо известный многим краснодонским комсомольцам, к тому же человек военный, уже «обстрелянный» в боях с гитлеровцами, был втянут в подпольную организацию Краснодона.

Герои Советского Союза



Иван Земнухов
(1923—1943)



Сергей Тюленин
(1925—1943)



Любовь Шевцова
(1924—1943)

«Участником патриотической организации молодежи «Молодая гвардия» я являлся с августа 1942 года» (там же, т. 6, стр. 31).

Активная участница «Молодой гвардии» Валерия Борц заявила 16 ноября 1946 года:

«В Краснодарскую подпольную комсомольскую организацию я вступила в августе 1942 года, вскоре после захвата немцами города Краснодона» (там же, т. 6, стр. 2).

Допрошенный в качестве свидетеля по тому же делу Н. Н. Коростылев, помогавший молодогвардейцам при немецкой оккупации, показал:

«Начиная с августа 1942 года комсомольцы стали регулярно размножать и распространять по Краснодону и в поселках антифашистские листовки» (там же, т. 6, стр. 172).

Молодогвардеец Радий Юркин в своих воспоминаниях пишет:

«В конце сентября 1942 года немецко-фашистские захватчики совершили в Краснодоне свое первое кровавое злодеяние. Они закопали живыми в городском парке 32 героя-шахтера. Об этом на следующий день стало известно подпольным комсомольским группам. Молодежь, воспитанная на лучших традициях Ленинского комсомола, не могла простить палачам их злодеяния. Участники подпольных комсомольских групп требовали от своих руководителей активных действий, хотели мстить за страшную смерть своих земляков. Но в условиях раздробленности групп, без опытного подпольного руководства перейти к активным действиям было невозможно.

В конце сентября 1942 года в город пришел молодой офицер Советской Армии, молодой коммунист Евгений Мошков. Он бежал из немецкого плена. Мошков знал Филиппа Петровича Лютикова еще по довоенному времени. Он... обратился к нему за советом: что делать и как быть?

Ф. П. Лютиков знал о существовании подпольных комсомольских групп. Он поручил Е. Мошкову свя-

заться с руководителями этих групп и предложить им объединиться в единую подпольную организацию». (Архив Краснодарского музея «Молодая гвардия», дело № 1619, лист 2—4.)

Участница «Молодой гвардии» Нина Иванцова заявила на следствии по делу изменников Родины 25 октября 1946 года:

«Наша подпольная организация «Молодая гвардия» организационно оформилась в конце сентября 1942 года, когда на квартире Олега Кошевого был избран боевой штаб» (след. дело, т. 6, стр. 18).

О существовании с осени 1942 года подпольной комсомольской организации дали показания во время следствия и суда над ними бывшие полицейские краснодонской полиции П. Ф. Авсецин, В. И. Кулешов, И. И. Колотович, А. И. Давиденко, Ф. Н. Лукьянов, С. И. Новиков, Д. П. Баукин, а также следователи полиции Т. В. Усачев, И. А. Черенков и ряд других (след. дела хранятся в соответствующих государственных архивах).

Основными инициаторами создания подпольной организации были Олег Кошевой, Иван Земнухов и Сергей Тюленин, которые, опираясь на активную помощь и поддержку ряда других краснодонских комсомольцев-активистов, вскоре после оккупации Краснодона стали организовывать в городе и близлежащих поселках подпольные группы антифашистски настроенной молодежи. Их инициатива была поддержана и в дальнейшем направлялась коммунистами-подпольщиками, оставшимися в Краснодоне во время оккупации (Лютиков, Бараков, Яковлев, Выставкин, Соколова и другие).

Виктора Третьякевича в то время в Краснодоне еще не было. Вернувшись вместе со своими родителями из Ворошиловграда¹, куда Виктор уехал к бра-

¹ В Ворошиловграде В. Третьякевич закончил 10 классов средней школы № 7. В середине июля 1942 года он вступил в партизанский отряд, где ко-

ту еще в ноябре 1941 года, он был сразу вовлечен в работу подпольной организации: его хорошо знали И. Земнухов, С. Тюленин и другие комсомольцы. Поэтому вхождение В. Третьякевича в руководящую комсомольскую группу подпольщиков Краснодона было вполне естественным. И надо сказать, что Виктор Третьякевич очень активно включился в работу подполья.

Когда подпольная комсомольская организация была окончательно оформлена, ее по предложению Сергея Тюленина назвали «Молодой гвардией». Был избран штаб организации, в который вошли Олег Кошевой, Иван Земнухов, Сергей Тюленин, Виктор Третьякевич, Василий Левашов, Иван Туркенич. Позднее, в октябре 1942 года, в состав штаба дополнительно были введены Ульяна Громова и Любовь Шевцова.

Все имеющиеся документы и материалы свидетельствуют, что комиссаром «Молодой гвардии» на всем протяжении ее существования был Олег Кошевой. Ни в одном документе, находящемся в Краснодарском музее «Молодая гвардия» и в органах государственной безопасности (в том числе и в архивно-следственном деле В. П. Подтынного, на которое особенно ссылается К. Костенко), Третьякевич как комиссар «Молодой гвардии» не упоминается.

Мы уже говорили, что командир «Молодой гвардии» И. Туркенич несколько раз подчеркивал, что комиссаром «Молодой гвардии» был О. Кошевой.

Но свидетельство И. Туркенича не одиноко. Его подтверждают и оставшиеся в живых молодогвардейцы.

В воспоминаниях активного молодогвардейца, бывшего даже членом штаба организации Василия Левашова, опубликованных в газете «Ленинское знамя» 26 октября 1948 года, сказано:

«Бдителен и предусмотрителен не по летам был наш боевой комиссар Олег Кошевой. Эта его черта бросилась мне в глаза еще в августе 1942 года, когда «Молодая гвардия» не была еще оформленной подпольной организацией» (разрядка моя.—С. П.).

Он же в статье «Правдивая эпопея», опубликованной 14 ноября 1948 года в газете «Советский воин», писал:

«Я принимал эту присягу при вступлении в подпольную организацию «Молодая гвардия». Помню, как в этот день всех нас, будущих молодогвардейцев, Олег выстроил и обратился к нам с короткой речью. В ней он говорил о героических традициях донбасских шахтеров, об обязанностях и чести комсомольцев. Мы внимательно слушали своего боевого вожака, стараясь запомнить каждое его слово».

Отвечая на вопрос о руководителях «Молодой гвардии», участник этой организации Анатолий Лопухов прямо сказал: «Комиссаром был у нас Олег Кошевой, а с сентября месяца командиром был Ваня Туркенич» (из архива Института истории партии ЦК КП Украины).

Валерия Борц, вызванная 16 ноября 1946 года в качестве свидетельницы по делу группы изменников Родины, на вопрос, кто был комиссаром «Молодой гвардии», прямо ответила:

«...комиссаром был Олег Кошевой» (след. дело, т. 6, стр. 2).

Комиссаром был его брат. В отряде он пробыл около полутора месяцев, после чего вернулся в Ворошиловград, а оттуда — в Краснодар.

Следует указать, что заявления некоторых товарищей о якобы специальном направлении В. Третьякевича ворошиловградскими организациями для подпольной работы в Краснодаре документально не подтверждаются.

Ольга Иванцова на вопрос Военного трибунала 17 августа 1943 года о том, кто был во главе подпольной комсомольской организации, ответила:

«Кошевой — комиссар организации, Земнухов — начальник штаба, Туркенич — начальник организации, Левашов и Третьякевич — члены штаба...» (след. дело, т. 2, стр. 320).

Радий Юркин в статье «Честь комсомольца» (газета «Советский воин» за 14 ноября 1948 года) писал:

«Когда на экране появился кадр, где члены штаба «Молодой гвардии» принимают в ряды ВЛКСМ Радика Юркина, я не мог глядеть спокойно. Еще раз я слушал исполненные высокого значения слова Олега Кошевого, чтобы я берег комсомольский билет, как свою честь».

Да, я сберег комсомольский билет, выданный мне тобою, наш храбрый Олег!»

В статье Георгия Арутюнянца, опубликованной в газете «Молодь Украины» 13 сентября 1946 года, указывалось:

«В музее «Молодая гвардия» в Краснодаре имеется волнующая картина. Художник изобразил момент, когда Олег Кошевой приводит к присяге 14-летнего молодогвардейца Р. Юркина».

О том, что комиссаром «Молодой гвардии» являлся Олег Кошевой, свидетельствуют также подписанные им и хранящиеся в Краснодарском музее временные комсомольские удостоверения молодогвардейцев Анатолия Попова, Демьяна Фомина, Ольги Иванцовой. На оборотной стороне этих удостоверений имеются отметки о приеме членских взносов, сделанные и подписанные Кошевым начиная с июля 1942 года.

В распоряжении органов государственной безопасности имеются и другие свидетельства — показания ряда изменников и предателей, а также бывших карателей, принимавших в свое время участие в следствии по делу «Молодой гвардии».

Несмотря на то, что показания эти порой бывали весьма путанными, противоречивыми, все же и они проливают свет на вопрос о руководителях подпольной организации молодежи.

Так, например, Г. Почепцов на допросе 9 июля 1943 года, говоря об известном ему распределении обязанностей среди членов штаба «Молодой гвардии», заявил: «Кошевой — комиссар всей организации «Молодой гвардии» (след. дело, т. 1, стр. 112).

На вопрос, что ему известно о конкретных обязанностях, которые выполнял Олег Кошевой, Почепцов ответил, что Кошевой «...давал задания мне, Фомину и Тюленину уничтожать под железнодорожным мостом любую проходящую легковую немецкую автомашину и немцев, ехавших в ней, с тем чтобы забирать у них оружие. Принимал или занимался приемом в комсомол членов подпольной молодежной организации, не состоящих в комсомоле. Принимал взносы у комсомольцев, в присутствии членов штаба принимал присяги от участников организации на верность» (след. дело, т. 1, стр. 112).

О практической деятельности В. Третьякевича Почепцов показаний не давал, заявив на допросе, что о работе других руководителей «Молодой гвардии» ему ничего неизвестно (там же, стр. 113).

После начала арестов молодогвардейцев в Краснодаре Олег Кошевой вместе с Сергеем Тюлениным, сестрами Иванцовыми и Валерией Борц пытались перейти линию фронта, но это им не удалось. Олег вернулся в Краснодар. Домой зайти он не смог: там была организована постоянная засада полиции (об этом дали показания участники этой засады —

Баукин, Мельников и другие — во время следствия по их делам).

Олег виделся с матерью последний раз в доме соседки Лидии Михайловны Поповой, которая его обогрела и накормила. Было решено переодеть Олега и переправить в город Антрацит, к родственникам. Но спасти Олега не удалось.

Бывший начальник Ровеньковской районной полиции И. А. Орлов, осужденный в 1947 году, на допросе 14 ноября 1946 года показал:

«Кошевой Олег был арестован в конце января 1943 года немецким жандармом и железнодорожным полицейским на разъезде в семи километрах от г. Ровеньки и доставлен ко мне в полицию.

При задержании у Кошевого был изъят револьвер...».

К несчастью, Орлов лично знал Олега Кошевого как племянника своего знакомого по работе в довоенное время в Краснодоне. В сложившихся обстоятельствах Олег не имел возможности назвать себя другим именем. Так фашисты узнали, что в их руки попал тот самый Кошевой, которого они повсюду разыскивали.

На допросе 3 декабря 1946 года Орлов дополнительно показал по этому поводу следующее:

«При повторном обыске в полиции у него (Кошевого) были обнаружены зашитые в подкладку пиджака печать комсомольской организации и какие-то два чистых бланка...».

Первый допрос Кошевого производил я. Добился от него показаний, что он является одним из руководителей Краснодонской комсомольской организации «Молодая гвардия», как он говорил — комиссаром и членом штаба этой организации» (след. дело по обвинению Орлова, т. 15, стр. 101—124).

Однако давать показания о структуре организации и о своих товарищах по борьбе с фашистами Кошевой отказался.

В застенках гестапо Кошевого допрашивали, помимо Орлова, командир жандармского взвода Вэннер и его заместитель Фромме.

Они зверски пытали Олега и, как могли, издевались над ним. Но Олег мужественно перенес все это. Житель города Ровеньки А. А. Шевченко, которого некоторое время фашисты держали в гестапо вместе с Кошевым, впоследствии рассказал:

«...В январе 1943 года напротив моей камеры сидел Олег Кошевой. Когда его уводили из камеры на казнь, он крикнул: «Умираю за Родину! Но гадам фашистам все равно не жить!...»

Осужденный бывший следователь краснодонской полиции И. Ф. Кузнецов на допросах 20 декабря 1949 года и 9 января 1950 года рассказал, что ему, как участнику расследования дела «Молодой гвардии», было известно, что ее руководителем являлся Олег Кошевой (след. дело по обвинению Кузнецова, стр. 92, 120—122).

Предатель М. Кулешов дал на следствии ряд путанных, неточных сведений, которые якобы стали ему известны «со слов» Почепцова (хотя показания самого Почепцова во многом противоречат заявлениям Кулешова).

Так, например, Кулешов заявил, что при допросе Почепцов назвал ему Третьякевича как общего руководителя молодежной организации, в то время как сам Почепцов сообщал советскому следствию, что «...руководителя подпольной организации я не называл, т. к. он для меня и не был известен, а назвал центральный штаб...» (след. дело, стр. 20).

Бывший следователь краснодонской полиции И. А. Черенков, участник следствия по делу «Молодой гвардии», на допросе 3 июля 1946 года рассказал,

что «...начальником штаба именовал себя Третьякевич, его заместителем был Олег Кошевой, который, по существу, руководил всей организацией, и Иван Земнухов, на обязанности которого лежало привлечение новых членов в организацию. Молодогвардейцы называли еще одного участника организации, который выполнял руководящую роль, — Туркенича, военнослужащего Красной Армии, но арестовать его не удалось» (след. дело, т. 17, стр. 53. Разрядка моя. — С. П.).

Осужденные в разное время другие бывшие руководители немецких полицаев и жандармов в Краснодоне и Ровеньках — Ревитц, Гейст, Шульц, Усачев — также называют Олега Кошевого руководителем, комиссаром «Молодой гвардии». Так, например, бывший следователь краснодонской полиции Усачев прямо заявил, что «...в Ровеньках был расстрелян руководитель краснодонских комсомольцев Олег Кошевой».

Мы сознательно привели здесь много самых разных свидетельств, чтобы убедительнее показать, как иногда опрометчиво, необдуманно и поспешно поступают некоторые «исследователи», пытаясь «пересмотреть» историю, игнорируя при этом накопленный фактический материал, не замечая его или пытаясь дать ему другую, желательную им трактовку.

Трудно понять, кому и зачем все это понадобилось. Вероятно, одни делают это в погоне за дешевой сенсацией, которая обычно сопутствует их «открытиям». Другие поступают так просто из-за незнания фактического материала и нежелания серьезно в нем разобраться. Третьи... Впрочем, не будем пока говорить о них...

Но во всех случаях — хотя бы этого подобные «открыватели» нового в нашем революционном прошлом или не хотят — объективно они наносят огромный вред делу идеологического воспитания народа, и в первую очередь наших подрастающих поколений.

Хочется напомнить, что попытки «пересмотреть» историю «Молодой гвардии» предпринимались и раньше. Одна из таких попыток была сделана в 1948 году. Отвечая в ЦК КПСС по поводу поступившей туда жалобы на «несправедливость», покойный А. А. Фадеев вполне резонно писал¹, что в ту пору подобные жалобы отражали «...обывательскую возню, которую подняли над памятью погибших юношей и девушек некоторые из родителей и кое-кто из оставшихся в живых членов этой молодежной организации».

Цель этой возни: задним числом возвысить себя, сына или дочь из своей семьи, а заодно и всю семью, для чего принизить и опорочить тех из героев «Молодой гвардии» и их семьи, которые получили более высокую награду правительства или более высоко были оценены нашей печатью...».

Хочется верить, что подобные факты остались в далеком прошлом...



Советские люди по праву гордятся своими молодогвардейцами. От поколения к поколению идет слава об их бессмертном подвиге. Группа мужественных юношей и девушек, вчерашних школьников, — самому старшему из них было девятнадцать, — пройдя тяжелые испытания, перенесла нечеловеческие муки и страдания, не дрогнули перед врагом, не стали на колени, выстояли. В них пытались истребить дух свободы, радость творчества и труда, беззаветную

¹ А. Фадеев, Письма. 1916—1956 гг. М.; изд. «Сов. писатель», 1967, стр. 230.

преданность Родине. Но ничто не сломило их волю. Погибнув, они обрели Вечность.

В легендарных делах юных героев все увидели не только яркое проявление тех человеческих качеств, которые постоянно рождала в наших людях обстановка грозной опасности во время жесточайшей войны с фашизмом. Через всю их жизнь наглядно просматривалась та особая духовная цельность и моральная чистота, которые свойственны людям нового мира, советским людям — мужественным и вольнолюбивым, бесстрашным и гордым, людям с открытой душой и благородным сердцем.

Подвиг молодогвардейцев навсегда остался в сознании миллионов людей неразрывно связанным с именем писателя-коммуниста Александра Фадеева, кровью сердца своего создавшего по горячим следам краснодонских событий вдохновенную эпопею — роман «Молодая гвардия».

Роман этот уже давно стал энциклопедией жизни советских людей в годы Великой Отечественной войны, и прежде всего жизни нашей героической молодежи, той самой «книгой жизни», на которой и сейчас продолжают воспитываться все новые и новые поколения советских патриотов, строителей коммунизма. Велика сила эмоционального воздействия этого замечательного романа и на лучшую, передовую часть зарубежной молодежи. «Молодая гвардия»

Фадеева переведена почти на шестьдесят языков мира и разошлась среди читателей в миллионах экземпляров.

Вот почему мы не имеем права равнодушно проходить мимо тех выступлений, в которых без всяких оснований, по соображениям далеко не принципиальным подвергаются сомнению или пересмотру хотя бы отдельные факты или эпизоды подлинной истории Краснодонской «Молодой гвардии», являющейся одной из ярких и дорогих сердцу страниц истории нашего социалистического государства¹.

«...Нам дорого бережное отношение к революционным традициям», — писал великий Ленин. Вот почему наш священный долг — хранить и дорожить революционными, боевыми и трудовыми традициями нашего народа, приумножать их.

¹ Фактические данные о возникновении, деятельности, руководстве и гибели Краснодонской подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», использованные в этой статье, подтверждаются подлинными документами и материалами, хранящимися в: Краснодонском государственном музее «Молодая гвардия»; Ворошиловградском областном управлении КГБ при Совете Министров СССР; Ворошиловградском областном комитете Коммунистической партии Украины, а также в соответствующих государственных архивах» (Реданция).

...ВЫСОКИЙ РОМАНТИЗМ

БОЛЬШЕВИСТСКИХ ТРАДИЦИЙ

Недавно мне удалось обнаружить переписку А. А. Фадеева с одним из известных советских критиков и литературоведов, доктором филологических наук, профессором В. В. Ермиловым (1904—1965); переписка эта, представляющая большой историко-литературный и общественный интерес, в настоящее время готовится к публикации.

Среди найденных писем два, относящиеся к роману А. Фадеева «Молодая гвардия», были написаны вскоре после выхода романа во второй авторской редакции (1951).

В дружеском письме В. Ермилова мы находим не только непосредственный эмоциональный отклик критика на «второе рождение» фадеевского романа, но и анализ некоторых сторон этого выдающегося произведения советской литературы.

В ответном письме А. Фадеев, принимая отдельные критические замечания Ермилова, высказывает несогласие с его оценкой образа коммуниста-подпольщика Ф. П. Лютикова, одного из любимых писателем в жизни и в романе.

Помню, что оценка эта очень огорчила тогда Фадеева. Но он так и не принял ее до конца своей жизни. Позднее, в письме к литературному критику Е. Ф. Книпович, Фадеев писал: «...Я очень рад, что Вы оценили моего Лютикова. Ермилов прислал мне письмо, в котором — при очень положительной оценке всего — считает Лютикова несколько «общим», лишенным индивидуальных черт. И, надо сказать, это меня очень огорчило: я положительно был влюблен в этого старика и писал о нем с огромным удовольствием и свободой...»

Письма публикуются впервые.

С. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

В. В. ЕРМИЛОВ — А. А. ФАДЕЕВУ

6—7 октября 1951 года.

Саша, я прошу прощения за то, что пишу это письмо и не могу отплатить за твой труд, за те чувства и мысли, которые я испытал, заново пережив в целом

роман «Молодая гвардия» в его новой редакции, — не могу отплатить за это хоть каким-нибудь скромным трудом. Должно быть, — и даже наверное — следовало бы проделать хоть небольшой, но по возможности точный и деловой анализ по всем суровым и трезвым правилам критического искусства: сначала

отделить все то новое, что внесено в роман, и оценить это новое сначала само по себе, а затем опять включить его обратно во всю целостность произведения и проверить, насколько органично, закономерно входит новое в состав романа, не торчит ли где колом, или же повсюду вошло мягко и «незаметно», вошло как простое и естественное продолжение и развитие того, что заключалось в неразвитом или недостаточно развитом виде уже и ранее в романе.

Скажу сразу, что я склоняюсь ко второму ответу на вопрос. Мне кажется, что перед читателем как бы просто встали во весь рост, вдруг поднялись сильной, высокой стеной ранее обозначившиеся ростки, и роман стал еще более могучим и богатым, словно все в нем было, но зажиточный хозяин не все добро выставил сразу, до времени еще припрятывал кое-что, и вот — поднял из своей души.

Да, это так. Но я не могу проделать тот труд, который требовался бы для аргументации, — и главным образом по той причине не могу, что слишком взволнован всем романом в целом — в его новом качестве, но — в целом, — и не могу, да и не хочу отделять сейчас «новое» от «старого», потому что для меня всё в романе стало новым благодаря введению нового материала. Таким образом, то, что я пишу, — это первое, непосредственное впечатление. Да, я вновь испытал как бы первое, непосредственное впечатление от романа, и мне кажется, что уже сама по себе возможность такого читательского ощущения свидетельствует о том, что новый труд, вложенный тобою, усилил роман. Я почувствовал потребность, с которой не мог справиться, — просто сказать о том, что я был заново потрясен романом, потребность сказать тебе всего несколько слов.

Независимо от отдельных удач или неудач в том новом, что ты внес в роман, — а тут есть и очень сильное, есть и послабее, об этом несколько слов ниже, — в итоге введения всего этого нового материала произошло главное: роман как-то вырос, раздался в длину, высоту, ширину, приобрел более глубокую перспективу, полнее стал слепком, сколком нашего советского общества, проверяемого трагическим испытанием Великой Отечественной войны. Это качество романа отличало его и в прежней редакции, — сейчас оно еще более вышло наружу, оттого и роман раздался, пошире. И от этого, конечно, стали еще яснее его прежние недостатки, мешавшие ему вполне стать самим собою, — обстоятельство, как нельзя более убедительно свидетельствующее о честной и мужественной работе художника — работе-самокритике. В этой связи, мне думается, не лишено интереса попытаться воспроизвести некоторые читательские ощущения, близко связанные и с вопросом о сущности трагедии, трагического, — «Молодая гвардия», несомненно, представляет собою роман-трагедию.

В прежней редакции романа, конечно, тоже была видна руководящая, воспитывающая роль партии.

И в первую минуту, когда, помню, я узнал о партийной критике романа в связи с фильмом, я, для которого, как и для всех читателей, роман был дорог, был большим событием в жизни, подумал вот над чем: а ведь то обстоятельство, что, оставшись, по случайно сложившимся конкретным причинам, без непосредственной помощи и руководства партии, молодогвардейцы одни, в небывалых, не только непривычных, но и не могущих стать привычными, неслыханно страшных условиях, создали нелегальную организацию по всем правилам большевистского подполья, — не говорит ли это обстоятельство еще сильнее о том, как сильна партия в их душах, как проч-

но и глубоко вошли партия и ее традиции во всю жизнь, во все поры советского общества!

Я любил, казалось, всё, — вернее, почти всё в романе, и мне тогда казалась особенно дорогой именно эта молодость, оставшаяся одна и поэтому еще сильнее показавшая, что большевистская партийность стала ее душой, разумом, волей, ее воздухом — всем!

И действительно, в этом заключалась особенная, пронзительная сила романа и особенная острота его трагичности.

Но тут же, почти в те же первые минуты, мне начало становиться ясным то, что я чувствовал и прежде при чтении романа, не понимая, что я это чувствовал: какое-то глухое, подавленное чувство, ропот недостаточной художественной удовлетворенности, какую-то как будто излишне высокую напряженную ноту, особенно горько звенящую струну, как будто даже уже и ненужную, «добавочную», дополнительную тяжесть, сверх общей, не обходя мой тяжести романа.

Значение твоей новой работы-самокритики и заключается, в числе прочего, в том, что ты снял с сердца читателя эту дополнительную тяжесть и тем освободил роман для его ничем не стесненного, вполне свободного роста в душе читателя. И теперь стала особенно ясной природа вот той сумрачной, не находившей полного художественного разрешения (и не могшей найти его) «добавочной» тяжести, которая заключалась в прежней редакции романа.

Все дело в том, что, кроме и помимо трагизма борьбы с врагом и героической гибели, примешивалась еще и особая, добавочная горечь и звенящая, не могущая найти себе выхода обида за одиночество этих доверчивых, молодых, горячих жизней, оставшихся одних, сиротами, перед неумолимым холодом и уничтожающим огнем беспощадного врага. Да, именно сиротство. Как былинка, кровиночка в невообразимо страшной, нечеловеческой пустыне. И читательские слезы были уже не только за потерю их жизней, а еще за эту, обидную до невозможности, до непереносимости, уже разрывающую границы художественного восприятия, тоску за сиротство этого Радика Юркина, — особенно почему-то о нем думалось, — впрочем, конечно, потому, что он совсем уж ребенок, и о том, как моет спину Сереже Тюленину Ваня Земнухов, — и вот все это уже нельзя было переносить в той связи, в которой все это представляло в прежней редакции романа. Иными словами: примешивались, кроме ясных, цельных чувств ненависти к презренному и сильному врагу, любви к Родине — кроме этих высоких чувств, утверждаемых и воспитываемых романом, — различные, именно добавочные чувства.

Я совсем не уверен, удалось ли мне выразить мысль, передать художественные ощущения читателя, ставшие, однако, вполне ясными только сейчас, после того, как сам автор обнажил прежние недостатки своей новой работой? И сейчас получается новое художественное чувство от сознания, какие именно недостатки устранены, — чувство известного освобождения от того, что несколько мешало воспринимать свободно, всем существом истинную трагическую тему романа, освобождения для подлинно-высоких, точнее, беспримесно-высоких чувств, порождаемых романом.

Раньше, в той редакции, у читателя, например, возникало чувство злобы на Шульгу (и оно становится ясным только сейчас) — на Шульгу с его — прошу прощения! — такой полной глухотой, толстокожестью, даже самодовольством, особенно в отношениях с простыми людьми, и полным непониманием этих своих

свойств,— автор, вероятно, тоже их не понимал (а читатель понял только сейчас, благодаря новому труду, внесенному автором). А тогда у читателя рождалось чувство к Шульге, несколько похожее на чувство Елизаветы Алексеевны Осмухиной, нечто вроде того: вот по своей глупости и своему отрыву от народа, по своей закоснелости в условной, парадно-официальной, полубумажной жизни, с одной стороны, и в «текучке», с другой стороны, страшно, но глупо гибнет Шульга, а дети — наши дети! — борются одни, оставшись без взрослых руководителей! И как сразу Шульга, оставшись в небывалых условиях, глаз-на-глаз с врагом, оказался совершенно беспомощен, одинок и даже утерял все критерии отношения к советским людям! Как только остался без чина, так потерял и самого себя, как большевистского руководителя.

А сейчас, когда все заняло в романе свои места и тема Шульги тоже определилась — уже не как тема большевистского руководителя, допустившего лишь определенную, конкретную ошибку в не привычных для него условиях подполья, — а как тема отставшего руководителя, и когда читателю ясно, что не только такие, как Шульга, но и такие, как Лютиков, Проценко, Екатерина Павловна, Валько и другие, думали о судьбе ребят, и нет, не были наши ребята сиротами, были у них настоящие отцы, так и пропали, бесследно исчезли все «дополнительные», ненужные аспекты восприятия романа, и остались лишь цельные, стройные, высокие, исторические чувства, порождаемые произведением. Кстати, не следует ли усилить, еще несколько подчеркнуть где-то мысль об отсталости Шульги, которому в романе противопоставляются отнюдь ни от кого и ни от чего не отставшие Проценко, его жена, Валько, Лютиков, Бараков, генерал и другие? И мне кажется еще, что, может быть, следовало бы бросить штришок, несколько поясняющий конкретные, индивидуальные причины отставания Шульги. Ведь не всех же, в самом деле, заедает «текучка»! И что-то, может быть, следовало бы чуть тронуть в предсмертном разговоре Шульги с Валько, чтобы не воспринимался этот разговор, как полная не только «амнистия», но и самоамнистия Шульги (опять-таки бросающая на него тень самодовольства).

Итак, сделано главное: трагедия очистилась от «глухих» боковых примесей — для себя самой. Все дело в том, что слезы трагедии должны быть выплаканы, — для того и трагедия с ее «очищающей» функцией. В истинной, вполне завершенной трагедии — как, впрочем, и во всяком подлинно художественном произведении — не может быть невыплаканных, глухих слез. В прежней редакции романа они были. Сейчас их нет. Вообще, в романе нет ничего глухого сейчас. В прежней редакции сама гибель молодогвардейцев, казалось, происходила какой-то особенно страшной, глухой ночью, опять-таки в сиротстве. А сейчас как-то очень ясно ощутимо — и в соседстве с этими четкими, ладными танкистами и их командиром, которые уже вплотную соседствуют с Краснодоном, — и на фоне перехода Екатерины Павловны через линию фронта, и при ощущении сложной, разветвленной картины всех этих действий большевистского подполья, Советской Армии (тоже освободившейся от той забавной «колобковской» кустарности, которая ей была присуща в прежней редакции), сейчас как-то особенно ясно, что гибель молодогвардейцев происходит на глазах всего мира.

Трудно даже подытожить все, порою как бы незаметные, подспудные, порою тончайшие, в каких-то нюансах происшедшие, последствия в романе от вве-

дения нового материала! Вот где особенно ясно видно, что для нашего искусства политика и эстетика едины суть!

Сейчас в романе нет темы трагической жертвы, а ведь в прежней редакции она получалась чуть ли не по канонам древнегреческой трагедии, далеко не приложимым к нашей трагедии! Сейчас есть тема грозной борьбы всего народа, возглавляемой партией, где участвует и героическая молодежь, и теперь группа краснодонской молодежи включилась во всю свою эпоху, во всю историю, во всю жизнь, все заняло свои места. И оттого, что все получило перспективу, группа молодогвардейцев сейчас «просматривается» с двух сторон бинокля, — и мелко, издаലെка, и крупно, вблизи, и оттого, получив свое место в истории, она стала объемнее и еще значительнее, и все по-новому весомо, — и Олег, на которого мы теперь получаем возможность посмотреть и глазами Лютикова, ясно ощущается как подрастающий партийный вожак, и сама партийность ребят, не трагически отдаленная, а конкретная. Потому-то и переживаешь заново весь роман, что от соседства с новым материалом все в романе затронуто, ничто не осталось нейтральным по отношению к новому материалу, ничто не осталось в «тени» от него, все по-вернулось к нему, или он повернулся ко всему, и все приобрело большую плотность, жизненность. Ушел трагический романтизм. Остался прекрасный романтизм нашей бессмертной молодости, молодости коммунизма на земле, молодости вечного стремления человечества к самому прекрасному, самому лучшему.

Из вновь написанного, конечно, лучше всего все то, что относится к Проценко и его жене. Превосходно, на уровне лучших мест в романе, и еще лучше! — все, посвященное переходу Екатерины Павловны через линию фронта. А за одну лишь фигурку маленького проводника и за отношения, складывающиеся между ним, Екатериной Павловной и его матерью, автору обеспечена вечная благодарность читателя. Вот где самая высокая поэзия того материнства, свет которого разлит по всему роману, — в перекличке с горьковской «Матерью». И откуда эта сила так лепить детские фигурки и заставлять нас смотреть на них и глазами матерей и глазами сверстников, и так связывать с детскими образами самые глубокие мотивы романа! Один этот мальчик-проводник, с его степенной серьезностью, и скромностью, и мальчишеством с такой силой выражает общенародность великой борьбы! Прекрасна сцена встречи с танкистами. А главное, тебе удалось сделать то, что ты хотел сделать в первой редакции, но не смог, потому что не было поля действия для этого образа: выразить обаяние зрелой и еще молодой, скромной женственности Екатерины Павловны, дать портрет коммунистки, жены, друга, матери. Сейчас получилась большая новая художественная удача, очень важная для романа в целом, для более полной передачи нашей жизни, сущности нашего общества.

Из недостатков я указал бы на то, что еще остается найти штрих для окончательной индивидуальной характеристики Лютикова, чтобы этот образ, столь важный для романа, был так же неповторим, как, например, Валько, или Кондратович, или Проценко, и все те в романе, которых можно пощупать пальцем. Лютиков несколько гладковат — только оттого, что еще нет окончательного удара кисти, не хватает того «чего-то», которое есть у подавляющего большинства образов в романе. Генерал получился «вообще генерал эпохи Великой Отечественной войны» (кстати, нехорошо сказано: «Великая Отечественная

война родила его»), нет этого, данного генерала. И отчасти поэтому нет еще окончательного удара кисти в сцене прощания, — она чуть-чуть происходит как бы в гулкой, пустой комнате, не насыщенной, как будто вокруг живого Проценко не столько люди, сколько портреты или статуи, с самыми общими характеристиками («худощавое лицо», «мужественное» лицо, «полное русское» лицо и т. п.). Эта сцена не наполнена живыми человеческими отношениями.

Слишком уж глупы, карикатурны, гротесковы немцы из Дирекциона. Зачем тебе это нужно? Ведь роман дает такой великолепный сатирический памфлет на глупость самого «Vaterlanda» во всей его внутренней сущности, — зачем же показывать просто глупых немцев? Ведь не такая уж была заслуга водить за нос таких немцев, а в действительности, как известно, саботаж и диверсии стоили большого труда и риска. Крикливость одного из этих немцев хороша, смешна, но она не обязательно должна соседствовать с анекдотической глупостью. Нужно, по-моему, произвести некоторую политредактуру тех формулировок, где говорится о том, что эта война — «война резервов, людских и материальных», о том, что враг в первые месяцы войны одерживал победы благодаря таким факторам, как «всякий раз последние, отчаянные смертельные броски, когда уже не думают о резервах» (цитирую по памяти), благодаря жестокости, и прочие подобные рассуждения.

Все это очень неточно, ненаучно, надо строго держаться известных мыслей о временных и постоянных факторах.

Все это недостатки, неизбежные в большом труде и вполне поправимые.

Главное, что меня сейчас захватывает, — это ощущение — по-новому ясное — величия романа, а также ясное ощущение его места в русской родной литературе XIX—XX столетий. Молодогвардейцы — образы молодого человека нашего времени, — как важны они были бы для Горького, с его мыслями об эволюции образа молодого человека в русской и мировой литературе! Молодогвардейцы — какой-то итог (временный, потому что все развивается, меняется!), «отстой» исканий, мучений, мечтаний передовых русских людей... В них есть и нечто от пушкинской светлой, беспечной, юной и мудрой дружбы, и от гогаевского тарасабульбовского богатейства, размаха всех чувств, и от лермонтовской бунтарской романтической дерзости, и от обаяния душевной цельности, высокого строя мыслей и чувств тургеневских девушек при наташеровской жизнерадостной простоте, и базаровская грубоватая, прячущаяся мягкость и доброта, насмешливость, и рахметовская зрелая, сознательная готовность к любым мукам, пыткам, испытаниям во имя идеи. И все это в новом качестве, претворенное самым высоким романтизмом большевистских традиций, большевистского

подполья. И все это в первой, самой ранней юности, полудетстве и в массовом качестве... Но, боже ж мой, как невообразимо смешно это «фламинго»! Как оно верно, удивительно правдиво! И по-матерински нежно и печально.

Никогда еще не была так выражена эта естественность, простота проявления идейности в массовых, рядовых, многомиллионных людях. Рахметовы овладевали идеями, и шли под ее знамена, и себя приучали к ней, и готовились к мукам за нее. А здесь идеяность стала всем, она даже и в жестах, в походках. В романе особенно поразительно это умение показать и совершенную новизну историческую героев и то, что они не голые люди, что они естественный вывод из всего национального развития России, «выстрадавшей марксизм» ценою беззаветных исканий и жертв, что они звено в цепи, тянущейся в века, в прошлое и будущее. Но самое главное в том, что определяет величие романа, — это та сила души, вложенная в него, которая как будто непосредственно переходит в мастерство. Да, самое главное — сила души, вложенная в роман. Поэтому он и продолжает традицию русской литературы — традицию литературы подвига. За литературу платили кровью. Большая литература всегда была сердцем Данко, вырванным из груди, поднятым, как горящий факел. Она всегда была открытием нового в жизни, борьбой за это новое.

Вряд ли нужно объяснять, почему роман «Молодая гвардия» — подвиг. Кстати: вот поэтому ты напрасно допустил одну фразу, могущую быть принятой за призыв к читателю понять, как писателю было трудно. Я имею в виду ту фразу, где ты говоришь, что «человеку с душой» нельзя писать о тех мучениях. Этого не надо. Читатель и без того знает, как писателю было трудно.

В. ЕРМИЛОВ

А. А. ФАДЕЕВ — В. В. ЕРМИЛОВУ

17 октября 1951 года.

...Спасибо тебе за обстоятельное письмо о «Молодой гвардии». Я его несколько раз прочел (скажу прямо, не без удовольствия), но не ответил сразу: болел гриппом.

Критические замечания твои, вполне возможно, справедливы. В отношении генерала я это и сам чувствую и, возможно, в каком-нибудь из последующих изданий найду для него соответствующие дополнения. Насчет Лютикова: я пока что не вижу «гладкости» его, он мне пока что нравится. Ежели будут и еще такие мнения, как у тебя (это после выхода книги обнаружится из разговоров, из писем, как обнаружилось в свое время в отношении Олега), то я, конечно, вернусь к нему, как вернулся к Олегу.

В остальном ты, вероятно, прав.

Еще раз сердечно тебя благодарю...

Твой А. Ф.



А. Шпаер

ПЕРВАЯ КОМАНДИРОВКА

Каждому из нас, конечно, хорошо известны знаменитые слова, произнесенные Владимиром Ильичем Лениным на III съезде РКСМ, его призыв к молодежи: «Задача состоит в том, чтобы учиться». Иногда считают даже, что только с октября 1920 года эта задача и стала достоянием молодого поколения революции.

Но надо знать, что соединение борьбы с учением — один из главных ленинских заветов. И уже за полтора года до III съезда комсомола Владимир Ильич обратился к молодежи с настойчивым требованием «учиться строить новую школу».

Воспоминания старого большевика, члена партии с 1918 года Аркадия Львовича Шпаера знакомят нас с важным событием в истории комсомола. Это — выступление Ленина на первом Всероссийском съезде коммунистов-учащихся.

Великую Октябрьскую социалистическую революцию я встретил в тихом уездном городе Ельце. Очень скоро с установлением Советской власти весь облик его и жизнь в нем круто изменились. В городе действовала крепкая партийная организация, которая сумела направить волю и усилия трудящихся на решение самых неотложных революционных задач. Одной из острейших тогда, в 1918 году, была выкачка хлеба из кулацких закромов и отправка его голодающим рабочим центра. Эту задачу в Ельце решали с большевистской напористостью и весьма зримым успехом.

И потому так дорого было всем нам узнать, как высоко оценил усилия ельчан Владимир Ильич Ленин: «Им удалось то, что они собрали громадные излишки хлеба, — что не осталось ни одного дома в торговом Ельце, где бы буржуазия могла использовать выгоды от спекуляции».

И еще — из письма к А. Д. Цюрупе: «...по ряду отзывов и по свидетельству ревизовавшего этот уезд наркома внудел Правдина, положение в смысле удешевления кулаков и организации бедноты образцовое».

Помимо борьбы за хлеб, надо было заботиться и о пополнении для фронтов, где шли неслыханно тяжелые бои, организовывать отряды для ликвидации вспыхивавших в разных местах кулацких восстаний и борьбы с бандами, создавать новый общественный уклад, вести воспитательную работу в массах.

В общем, неотложных задач было много, и в первых рядах революции у нас в Ельце, как и во всей стране, была молодежь. Сколько моих товарищей и

друзей, совсем, казалось, еще незрелых пареньков и девушек, совершали подвиги, проявляя подлинное бесстрашие и неслышимую волю!

Они были молодыми — и взрослыми! В ту пору молодежь стремительно взрослела. Рано вовлеченные в круговорот событий, юноши и девушки, встав на революционный путь, остро чувствовали свою ответственность за все происходящее.

И в нашем городе вступить семнадцати-восемнадцатилет в большевистскую партию считалось делом привычным. Вступали и шестнадцатилетние. Вступление же в партию почти автоматически означало — взять винтовку, уйти на фронт... Но гул сражений то приближался к городу, то замирал, линия фронта была причудливо извилистой, а потому случалось и такое: вчера побывал в бою, а чуть ли не сегодня (если не был выведен из строя по ранению) — вновь в школе, среди своих сверстников.

Ставшие уже партийцами, школьники не порывали со своими школами. У них было партийное задание — вести постоянную работу среди учащихся, бороться за новую, советскую школу, привлекать школьников на сторону революции. Чтобы эта работа не велась отрывочно и вслепую, понадобилась организация — и тогда родился союз коммунистов-учащихся.

Вообще в те дни было множество молодежных организаций — кружков, союзов, клубов. Они стали возникать еще в конце семнадцатого года, когда под влиянием идей Октября широко развивалось юношеское движение. Деятельность некоторых из них носила чисто культурнический характер, но «погоду» делали не они.

В начале восемнадцатого года в нашем елецком «Клубе социалистической молодежи» была создана большевистская фракция; через нее многие товарищи, и я в их числе, вступили в партию. Наша фракция разоблачала меньшевиков, эсеров, бундовцев и вскоре стала очень влиятельной среди членов клуба.

Как известно, молодежные союзы, стоявшие на платформе Советской власти и согласные с мировоззрением партии большевиков, на своем I Всероссийском съезде (21 октября — 4 ноября 1918 года) объединились — был создан Российский Коммунистический Союз Молодежи. На него партия возложила задачу воспитывать рабочую и крестьянскую молодежь в революционном духе.

Однако и после организации комсомола — примерно еще в течение полугода — работой среди школьной молодежи руководил союз коммунистов-учащихся. Учащиеся-коммунисты вели яростную борьбу с теми, кто пытался сохранить в школе режим, унаследованный от царских времен, мечтали создать свободное, демократическое управление школой.

Жизнь вскоре показала, что распылять силы двух организаций, искусственно ограничивая сферу деятельности одной из них фабриками и заводами, а другой — школами, нецелесообразно.

Этот вопрос и предстояло обсудить I Всероссийскому съезду коммунистов-учащихся, происходившему в Москве 15—21 апреля 1919 года. На свой съезд члены союза должны были направить не более 200 делегатов от 8 тысяч членов.

От елецкой ячейки союза делегировали только одного. Сборы мои были недолгими. Выдали мне суточный хлебный паек (с ним вполне можно было расправиться в один присест!), воблу (порядком!), несколько кусочков сахара да горсть махорки. Так вот началась моя первая командировка.

Добраться до Москвы было нелегко. Все железные дороги были заняты переброской войск и военных грузов на фронт. До отъезда заполненные поезда на Москву шли нерегулярно, и чтобы проникнуть в вагон (сколько бы бумажек ни было у тебя на руках!), требовалось приложить немало усилий.

Поезд не спешил, подолгу стоял на станциях, и нескончаемо долгими были наши дорожные разговоры, порой настоящие политические схватки. Агитация и контрагитация велись в них резко, наступательно, в лоб, не обходясь и без ругани, а то и попыток физически воздействовать на противника...

...Москва встретила неприветливо: моросил дождь, было холодно. Время совсем раннее. Трамвай бездействовал, и добираться надо было пешком. Только к середине дня я дошел до нужного мне Малого Харитоньевского переулка. И общежитие наше и зал заседаний, насколько помнится, находились в одном здании — в Доме Наркомпроса.

...К концу дня все койки в общежитии были заняты, и вечером весь дом гудел — делегаты съезда обменивались впечатлениями об увиденном, с страстным выясняли, кто о чем думает и мечтает, чего ждет от съезда. Так было и в последующие вечера — далеко за полночь разговаривали, пели, шумели вовсю. Страстно обсуждали наше международное и внутреннее положение. То и дело бросались к висевшей на стене большой карте и пытались определить, как же следует проводить операции на том или другом фронте. Тут же перескакивали на другие темы. Неиссякаем был взаимный интерес, и так важно было узнать у какого-нибудь парня, ставшего уже тебе закадычным другом, как он относится к тому, что тебя взволновало, что он успел пережить, куда стремится! Стремилась же все в армию, скорее на фронт, едва только съезд закончится. Про-

являли свои чувства и чисто по-мальчишески (вполне естественно в нашем возрасте!); то и дело хватились за оружие, которого у каждого из нас было немало, увлеченно спорили, чей пистолет лучше... Разногласия сменялись клятвами дружить «до конца», на всю жизнь, а главное — все сделать для того, чтобы дела в стране пошли лучше. И как можно скорее...

Основным вопросом съезда было обсуждение форм и методов дальнейшей работы среди школьной молодежи. Делясь своими соображениями и рассказывая о тех трудностях, с которыми сталкивались почти во всех ячейках союза, делегаты приходили к выводу о необходимости слияния двух молодежных организаций.

Поэтому предложение Центрального Комитета комсомола о слиянии двух союзов получило полное одобрение съезда.

Устроители съезда позаботились, чтобы его участники прослушали квалифицированные доклады о международном и внутреннем положении страны, о политических проблемах дня. Проблем этих было много, и все они глубоко волновали собравшихся на съезд молодых коммунистов.

Уже на первом заседании съезда в президиум была подана уйма записок с просьбой выяснить, сможет ли и захочет ли приехать к нам Ленин. Об этом же — и бесконечные устные вопросы делегатов. На одном из заседаний нам сообщили, что этот вопрос выясняли в аппарате ЦК партии, и что, хотя Владимиру Ильичу доложат, но в Центральном Комитете возражают: Владимир Ильич еще не совсем оправился после перенесенного им тяжелого ранения. Правда, неизвестно, что еще решит сам Владимир Ильич, но все же после ответа ЦК партии у нас надежд почти не осталось. И вот третий день...

Шло утреннее заседание, кто-то выступал, и вдруг из задних рядов, близко от входной двери, раздался залиvistо-восторженный крик: «Приехал!... Приехал!...»

Все сорвалось с мест. В секунду не осталось ни одного человека на делегатских местах, в президиуме и на трибуне. Со всех сторон окружили Владимира Ильича, говорили что-то бессвязное, но от всего сердца идущее, приветствовали, благодарили. Шумной толпой шли к трибуне.

Мы, стоя, рукоплескали и в упоении, в каком-то экстазе что-то кричали.

Много раз поднимал руку Владимир Ильич, призывая зал успокоиться. Понадобилось решительное вмешательство президиума. Наступила настороженная тишина.

И вновь гром аплодисментов после первых слов Ильича: «Очень рад вас приветствовать».

Слушали, затаив дыхание.

А Ленин говорил: «Не знаю, сколько здесь представлено губерний и откуда вы приехали. Важно то, что молодежь, коммунистическая молодежь организовывается. Важно то, что молодежь собирается, чтобы учиться строить новую школу. Теперь перед вами новая школа. Старой, нелюбимой, казенной, ненавистной и не связанной с вами школы нет уж...»

Ленин говорил нам: «Работа наша рассчитана на очень долгое время. Будущее общество, к которому мы стремимся, в котором должны быть только работники, общество, в котором не должно быть никаких различий, — это общество придется долго строить».

Слушая его, мы переносились мыслями в то замечательное завтра, когда людям будет так хорошо, светло жить! Как бы его приблизить, это завтра? А какова же наша роль? И ответ:

«Сейчас мы закладываем только камни будущего общества, а строить придется вам, когда вы станете взрослыми. Теперь же работайте по мере своих сил, не берясь за непосильную работу, работайте под руководством старших».

Сколько нужно знать, выучить, освоить!.. Как перекликались родившиеся здесь раздумья со сказанным Лениным через год с лишним на III Всероссийском съезде комсомола, с его призывом овладеть мировой сокровищницей знаний! Тогда он сказал: «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество».

А сейчас, в девятнадцатом, слушая Ильича, мы получили путевку в жизнь... Каждое его слово захватывало...

С острой болью мы подмечали следы болезни на лице Владимира Ильича...

— Бледный он, или, может, мне показалось?! — тревожно спрашивал один.

Другой допытывался:

— Заметил, какие морщины у него?

— Сколько же он выстрадал! — думалось всем.

— Да я бы жизнь отдал, лишь бы он лучше себя чувствовал, — выразил кто-то, что переполняло нас.

Как-то притихшие, по-особому сосредоточенные, охваченные единым чувством, возвращались мы, коммунисты-комсомольцы, со своего съезда домой.

Наша елецкая ячейка союза коммунистов-учащихся влилась в созданную в городе комсомольскую организацию. Учащиеся, как и другие комсомольцы, участвовали в организации продовольственных и во-

оруженных отрядов, несли дежурства в ЧОНе, навели революционный порядок в городе и окрестных селах, стали агитаторами и пропагандистами. Многие, очень многие, ушли на фронт — на восток, на север, на юг, где мужественно бились за победу дела Ленина. Это и к ним относились слова Маяковского:

От первых боев
до последних
мы шли
без хлебов и без снов —
союз
восемнадцатилетних
рабоче-крестьянских сынов.

...Мне же по возвращении из Москвы пришлось отойти от комсомольских дел. Я был уже на «взрослой» работе: в редакции газеты «Соха и Молот». Она, замечу, сменила прежнюю «Советскую Газету», в которой летом 1918 года было напечатано известное ленинское «Письмо к Елецким рабочим».

Через четыре месяца после нашего съезда мне снова довелось близко столкнуться с нашими комсомольцами — при обороне города от наседавших на него белоказацких полчищ Мамонтова. Во главе обороны стоял прославленный герой гражданской войны Ян Фабрициус, в организации же ее принимали участие все елецкие коммунисты и комсомольцы. Сначала участвовали в этих боях, а осенью мы большой группой ушли с отрядом на борьбу с наступающими войсками Деникина...



Константин
Ваншенкин

Умирают друзья

Умирают друзья, умирают,
Погружаясь, уходят на дно.
Будто лампу с окна убирают,
И, как прорубь, чернеет окно.

Их составила́сь целая каста.
Уходили и прежде они,
Но такое случалось не часто
Даже в очень недавние дни.

Раньше пуля, уже на излете,
Просвистевшая изда́лека,
Выбирала кого-нибудь в рот
Или даже в составе полка.

В том окопчике, наспех отрытом,
На привале безветренным днем.
А сегодня мы полем открытым
В полный рост меж разрывов идем.

Убивают друзей, убивают
Годы прежних невзгод и атак.
Убивают друзья, убивают,
А их было немного и так.

Осенний рейс

Рассвет. Вся палуба седая.
И, постаревший от забот,
Уже от холода страда́я,
Покряхтывает пароход.

Но все равно прекрасно это:
Идти в тумане и дожде,
За гранью прожитого лета,
Почти на ощупь кое-где.

Еще себе казаться прежним,
Гудком подбадривать дружков
И знай бежать манящим стрежнем
Меж пожелтевших бережков.

В осенней мгле, по рекам дальним,
Покашливая в кулачок,
И к пристаням провинциальным
Подваливаться под бочок.



На рассвете его расстреляли.
Над землей начиналась весна.
Досмотреть ему даже не дали
Неожиданно сладкого сна.

Незнакомые два полица
Дверь открыли и глянули вкось,
За одно уже то порицая,
Что так рано вставать им пришлось.

Во дворе мокрым ветром подуло.
Стал к стене, словно в пламя костра.
Увидал эти круглые дула
И успел еще крикнуть: — Да здра...

И спиной поехал по стенке
В тот никем не рассказанный путь,
Будто палкой ему под коленки,
А не черными пулями в грудь.

Ярко вспыхнув, потухло сознание.
Тьма — и больше уже ничего.
Лишь далекое воспоминание
Трепетало над телом его.



Легко под самым берегом стою
И, равномерно двигая руками,
Удерживаю лодочку свою
Несильными, ленивыми гребками.

Едва ее теченьем сдвинет — стоп!
И вновь — назад! Но это каждый может.
Размыт в воде густого солнца столб,
Дрожит, качаясь, зыбкий столбик мошек.

Я жду тебя под берегом, внизу.
Наш уговор скреплен не только словом.
Уже решил, куда тебя свезу
По этим водам тусклым и лиловым.

Еще не раз придется на веку
Мне ждать тебя на стрежнях и в затонах.
Вот мы остановились наверху —
Отделаться от встреченных знакомых.

Стемнело. Успокоились стрижи.
Спускаешься. Всплеск маленького камня.
Пожалуйста, хоть что-нибудь скажи,
Чтоб я успел перевести дыхание.

Как жизнь моя прекрасно молода,
Как твердо верен я своим обетам,
Уже до смертной вспышки, навсегда!
Я, правда, редко думаю об этом.

Ослепление

Как будто бы чьих-то грехов искупление,
Порою нисходит на нас ослепление.

Не видит садовник раскрывшейся розы,
А шахматный гений — простейшей угрозы.

Не видит грибник, что в грибах вся поляна,
Беспечное сердце не видит обмана.

Не видит охотник когтей отпечатки,
А старый наборщик — смешной опечатки.

И страшно, когда, вдруг очнувшись за чаем,
Мы слезы в любимых глазах замечаем.

☆

Чтобы на гребень выносило
Тебя из бездны темных вод,
Нужна неведомая сила,
Опять влекущая вперед.

Что там перо или бумага!
К работе душу изготвь...
Неистребимая отвага,
Неизлечимая любовь.

☆

Сосны рушатся в клубах пыли,
Хоть имеют свои права.
Эту, тоненькую, срубили,
Эта высохла — на дрова.

Бьют по свежему, как по ране.
Но стоит в стороне редут —
По одной выходя к поляне,
Одинаковые растут.

Повезло золотой сосенке
Дорасти до большой сосны.
Повезло молодой девчонке
Жить, когда уже нет войны.



Александр
Бабин

Детский рисунок

Земля покоем дорожит,
Чтоб в жите быть,
в лесах...

На бруствере
солдат лежит —
Не тает снег в глазах.
А сын его,

его пацан,
Не хочет —
сиротой,
И поднимает он отца
С земли необжитой.
Идет отец,
и руки врозь,
И пятерни —
вразлет.

А на рябине —
ягод гроздь,
А в небе —
самолет.
Да только облака черны,
И ягода —

черна...
Солдатский сын не знал цветных
Карандашей — война.
Какая,

в сущности,
беда,
Что шлялся большаком
И спрашивал:
«Ты папка,
да!» —

У дядек с вещмешком.
Ему совали концентрат
Чужие мужики
И говорили:

«Так-то,
брат!» —

И прятали зрачки.
...Земля в лесах,
во ржи она,
В морщинках блиндажей...
У моего
у пацана,
Как говорит он,
«дополна»
Цветных карандашей.



**Татьяна
Кузнецова**



Билет на поезд я держу в руке.
Ах, скорый поезд! Как он быстро мчится!
Еще вчера он подлетал к реке,
Где было мне положено родиться.

Еще вчера он звал меня с собой,
Замедлив ход, чтоб не промчаться мимо.
И вот теперь колес ритмичный бой
И день и ночь звучит неумолимо.

Пока не близок крайний пункт,
Лети!
Пока от встречных твой маршрут свободен.
Пусть по обеим сторонам пути
Ко мне вплотную Русь моя подходит.

Мы все в ее лесах растворены,
Как листья, составляющие крону.
Зеленый шум березовой волны
Взметаёт нас светло и неуклонно.

Когда-нибудь над нами на весу
Раскрылья веток скрестятся тревожно.
Вы не ищите нас.
Мы в том лесу,
Мы в чашу забрели неосторожно.

Российский лес — он принимает нас.
Рожденные у рек,
Мы все когда-то
Уйдем в леса, уйдем в последний раз,
Доверившись стволам голубоватым.

Падем к земле, как желтая листва.
В двухтысячном году
Кто нас услышит?
И все ж мы будем жить, пока жива,
Пока Россия рядом с нами дышит.



Тоскую по трепетной пластике,
Дыханием грудь стеснена.
Мы вновь возвращаемся к классике,
Как будто встаем ото сна.

Так после болезни с постели
Не просто отправиться в путь.
Спасибо вам, те, кто сумели
В нас свежую силу вдохнуть.

Спасибо, что, бросив на чашу
Сомнений и поисков кладь,
Искали мы в опытах ваших
Возрожденной строки благодать.

Спасибо.
Чуждачества века
Нам веками были в пути.
Традиции пушкинской эхо
По-прежнему ждет впереди.



На грани сумрака и света,
как бы на острие ножа,
она живет —
душа поэта,
в слезах прозревшая душа.

Младенцу ль данная в забаву,
иль старцу — прихотью в жилье,
но чье веление и право
распространится на нее!

Скажи, в каком столетье вещем
был он среди земных рожден,
с каким огнем был перекрещен
тяжелый шелк каких знамен!

Но слог в нем жил и был певучим,
переживя любой престол.
И был цевницею озвучен
его блистательный глагол.

Лишь в полночь
лик луны белесой
печально таял в облаках.
Ах, в полночь
кто увидит слезы —
горячий пламень на щеках!

Когда ж зоря сияньем милым
свечу заменит у зрачка,
как вздох языческих кумирен,
взлетит стремительно над миром
душа дитя и старика.

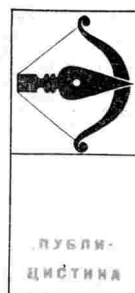
В кого ей заново вселиться,
кто будет нынче ей влеком,
по чьим неосвященным лицам
скользнуть ей алым огоньком!

Вот так же ласточка издревле,
касаясь крылышком высот,
над мягким очерком деревьев
свершает стрельчатый полет.



Фотография 1945 года.

П. Любомиров



ДОРОГИ ФРОНТОВЫЕ...

Рисунки Ефима Лехта.

Мне было семнадцать лет, когда я впервые получил в руки боевое оружие.

То была английская, кажется, типа «Ли-эн-филь», винтовка времен еще первой мировой войны.

Ни я, ни мои товарищи, никто из нас толком не знал, каким образом такие винтовки английского производства могли оказаться у нас в истребительном батальоне. Да мы над этим и не задумывались... Мы просто разобрали полагающееся нам оружие прямо из ящиков, в которых оно, покрытое толстым слоем масла, долгие годы хранилось.

Наш батальон создан был в самые первые дни войны из гражданского населения и предназначался для борьбы с немецкими парашютистами. Ходили слухи, что если местность нашу захватят немцы, батальон автоматически превратится в партизанский отряд. Мы, во всяком случае, к этому готовились.

Вместе с винтовкой я принес домой кожаный, шоколадного цвета новенький подсумок и полсотни патронов.

Я жил в то время в поселке химического завода, в Калининской области, на территории, некогда входившей в Карельский национальный округ. Калининская область включала тогда в себя еще и значительную часть нынешней Псковской, тянулась с запада на восток не очень широкой, но довольно длинной полосой, что начиналась от границ с Латвией и заканчивалась где-то под Ярославлем. Мы жили ближе к Ярославлю.

Пламя войны нас не коснулось. Оно ни разу не приблизилось к нашей лесной стороне даже на сотню километров.

Но мы жили войной.

Много часов пришлось мне тогда провести на пожарной вышке, на окраине районного центра: с нее вели наблюдение за воздухом.

Если говорить откровенно, пользы от такого стояния на вышке было, пожалуй, немного. Но дни и ночи на первом в моей жизни боевом посту не прошли даром. С вышки хорошо было видно на многие километры кругом (мне казалось, что я видел всю страну), и там в ожидании, когда по скрипучей деревянной лестнице поднимется наверх смена, у меня было достаточно времени, чтобы поразмыслить и о

самых первых, не очень-то утешительных, сводках Информбюро и о многом другом.

Там, на высоте, получал я свое первое военное образование.

А может, значительно раньше? Еще в школе и даже до школы — на детской спортивной площадке, которая в двадцатых годах была организована в нашем рабочем поселке и где мы, тогдашняя заводская ребятня, помимо всего прочего, учились еще и маршировке?

Маршировали мы, помню, много, чуть ли не каждый день.

— Кто там шагает правой? — «грозно» насунив брови, вопрошал наш «командир» — заводский комсомолец, в матерчатой, защитного цвета фуражке и гимнастерке, перепоясанной портупеей, — такая была в то время комсомольская форма, — и мы, сколько было у нас силы, в такт ноги скандировали:

— Левой!!!

— Левой!!!

— Левой!!!

Уже потом, спустя несколько лет, в школе, я прочитал стихотворение Маяковского «Левый марш», узнавая знакомые строки, и долго, помнится, ходил под впечатлением, будто сам Маяковский, а не кто-то другой и был тем самым нашим командиром — в комсомольской гимнастерке, перепоясанной портупеей...

Осенью сорок первого года нас провожали на фронт. На самый главный тогда фронт — на защиту Москвы.

Молодые и в то же время уже бывалые бойцы истребительного батальона, мы шли по улицам районного центра на вокзал грузиться в эшелон и громко пели песню, которая специально, казалось, для нас и была написана:

Наступил великий час расплаты,
Нам вручил оружие народ.
До свиданья, города и хаты, —
На заре уходим мы в поход.

Собственно, на фронт мы отправлялись лишь затем, чтобы сопроводить туда эшелон с мобилизованными в деревнях колхозными лошадьми. В нашу за-

дачу входило кормить и поить вверенный нам конский состав, производить соответствующую уборку. Сдав лошадей, мы должны были возвратиться обратно — так, во всяком случае, указывалось в выданном нам предписании. Но линия фронта все больше подступала к Москве, и мы не думали, что все обойдется без нашего участия...



Эшелон наш приближался к Москве. Мелькали станции: Кашин, Калязин, Савелово...

В Москве мы сделали остановку на несколько часов. Как космонавты за несколько часов до старта приходят теперь на Красную площадь, так и мы прямо с Савеловского вокзала направились к Кремлю.

Мавзолея уже не было видно... Москва камуфлировалась, опоясывалась сверху цепью стратостатов, жила жизнью по-военному сосредоточенной. По улицам маршировали ополченцы.

В одном из вагонов метро, едва мы туда вошли, на нас покосилось сразу несколько пассажиров. Мы по-хозяйски расселись на сиденьях, а москвичи переглянулись между собой, о чем-то пошептались. Потом один из них подошел к нам и строго произнес:

— Ваши документы, товарищи!

Внешний вид нашей команды (у меня — брезентовый через плечо плащ, полуразвалившиеся опорки на ногах) был, очевидно, таков, что не случайно к нам еще не раз подходили в тот день москвичи и спрашивали документы. А так как документов при себе у нас не было — общее на всех предписание находилось у начальника эшелона, а тот оставался на вокзале, — каждый раз нам приходилось давать устные объяснения: кто мы, куда, зачем едем, почему ушли от эшелона.

Москвичи осени сорок первого года были людьми столь же бдительными, сколь и благодушными. Нам они верили.

В том памятном сорок первом году мы многое видели, испытывали и переживали впервые. И на одной из ближайших после Москвы остановок мы встретили первую в своей жизни бомбежку.

Было это ночью. Одна из немецких осветительных ракет свалилась с неба на парашюте буквально на наши головы — упала на рельсы между вагонами. Но нам повезло: бомбы, которые предназначались для нас, прогрохотали позади эшелона...

Конечная наша остановка — Можайск.

Неподалеку от села Бородино мы выгрузились из вагонов и разыскали воинскую часть, которой должны были передать наших лошадей.

Теперь-то я знаю по документам, вернее, по литературным источникам, кто занимал там тогда оборону — тридцать вторая стрелковая дивизия полковника Полосухина. Одна из самых старейших во всей

Красной Армии, она только что прибыла с Дальнего Востока, чтобы вместе с тремя танковыми бригадами принять с немцами бой на самом опасном для Москвы направлении.

Перед тем, как ехать обратно, мы обошли из конца в конец знаменитое, известное всему миру Бородинское поле, на котором сто с лишним лет назад наполеоновская армия «расшиблась о русскую».

Шеварино... Семеновское... Молча шли мы знакомыми по школьным учебникам местами, где, кажется, сам воздух был пропитан историей. Мне врезались в память слова, выбитые на одном из обелисков, они звучали для меня торжественно и необычно: «39-му пехотному Томскому Его Императорского Высочества эрц-герцога Австрийского Людвига-Виктора полку».

Тогда, в сорок первом году, я еще не знал, не мог даже и предположить, что несколько лет спустя, оказавшись за пределами родной земли, я буду служить в воинской части, которая будет именоваться так: «141-й армейский гвардейский тяжелый танковый самоходный Полоцкий Ново-Бугский дважды Краснознаменный орденов Кутузова второй степени, Александра Невского и Красной Звезды полк».



Фронтные дороги...

Большие и малые, шоссейные и ухабистые... До невозможности изъезженные, избитые, изрытые воронками от тысячекilограммовых фугасок. Летом пыльные, весной и осенью утопающие в грязи, зимой занесенные снегами так, что и не видно, куда ногой ступить...

Вот еще поворот... И еще... Клубится за спиной пыль, поднятая солдатскими сапогами, а впереди...

Что впереди?

Над лесом, по направлению к которому движется наша колонна, полыхают зарницы; до нас доносятся приглушенные раскаты грома. Это не гроза. Там идет бой, гремит артиллерийская канонада.



Там война.

А здесь, где проходим мы, война уже прокатилась, огненным дыханием успела опалить землю. Сбоку от нас одиноко стоящая сосна — обгорелый ствол ее расщеплен, словно молнией, сверху донизу. На высоте пяти-шести метров дерево опоясано огромным рваным куском железа. Железо не перешло дерева, но цепко впилося в него, обвилось наподобие змеи вокруг вершины...

Как оно попало туда?

Неподалеку от дерева — подбитый немецкий «тигр». На раскаленной от солнца броне, как дома на печке, сидит, греется старый дед — костлявый, седой, борода по ветру. Завидев нас, он довольно проворно скатывается на землю.



Оказывается, колхозный пастух. На «тигре» сидит не просто так, а пасет стадо: с башни ведет наблюдение за четырьмя коровенками, чудом сохранившимися после оккупации.

Сам дед — инвалид с детства. В армии никогда не служил, в боях не участвовал. Однако к военной технике неравнодушен: успел, оказывается, уже облазить все подбитые танки и самоходки, какие только имелись в округе. С видом знатока похлопывает ладонью по борту развороченной снарядом немецкой машины.

— Сразу видно: прямой наводкой...

Мы прощаемся со стариком, идем дальше. Чудак!.. Откуда он знает, что это прямой наводкой?

Проходим Дудоровский завод.

Прежде, чем написать сейчас о нем, я заглянул сначала в географический атлас: есть ли такой населенный пункт на карте?

Есть! В Калужской области!

Когда подходили к нему, казалось издали, что перед нами большое озеро, поверхность которого сверкала всеми цветами радуги. А подошли — никакого озера: на солнце сверкало стекло, масса битого стекла, по нему прошла военная колесница. Завод был стекольным...

Сразу за рабочим поселком колонну догоняет мальчишка лет двенадцати. Бежит за нами вот уже, наверно, с полкилометра. Время от времени замедляет бег около какого-нибудь солдата и просит настойчиво, даже требовательно:

— Дяденька! Дай закурить!..

Добро бы хлеба просил! Солдаты идут молча. Глядят себе под ноги, будто и нет рядом с ними никакого мальчишки. А тот не отстает:

— Дядь, а дядь!.. Дай!

Дети войны. Разве забудешь вас когда-нибудь!..

Вот идут, ковыляя, двое — видно, братья. Младшему лет восемь. Голова в бинтах, забинтованы обе руки, которые мальчишка бережно несет, вытянув перед собой — точь-в-точь как раненый боец, возвращаясь с поля боя.

— Что, брат, не повезло? — обращаемся к нему.

Молчит.

— Больно?

Молчит.

Тот, что постарше, объясняет:

— Он не слышит, оглох... Это его запалом...

Пылит и пылит дорога.

За плечами кричат растревоженные птицы, над головами ртутной синевой переливается бездонное июльское небо. Нещадно палит солнце.

В поисках воды спускаемся в овраг, а там — люди. Бывшая деревня Веснины. Женщины, старики, дети — целое подземное население.

Война заставила их спуститься на самое дно оврага, вырыть там землянки еще год назад, когда немцы спалили у них хаты. Так с тех пор и живут — по несколько семей в каждой землянке. Работают. На весь колхоз две лошади...

Перед сумерками все собираются около костра. Молча варят в солдатских касках картошку, пекут картофельные лепешки, едят хлеб.

Мы знаем, что это за хлеб. Люди, как и тысячу лет назад, толкли рожь в ступе, а к полученной муке наполовину добавляли древесной коры.

Иссушенная годами семидесятидвухлетняя старуха рассказывает о трагедии, разыгравшейся в Веснинах в оккупацию.

Немцы сожгли всю деревню — за сотрудничество жителей с партизанами. Людей выводили группами к лесу и там расстреливали. Двести пятьдесят человек...

Двести пятидесятой оказалась семнадцатилетняя девушка. Раненная в ногу, она упала в яму и там вместе с трупами односельчан пролежала до наступления ночи. А ночью выбралась из могилы, пробралась в соседнюю деревню... Говорят, ее видели потом, седую, в одной воинской части, которая отправлялась на фронт.

Жива ли она сейчас?..

...Гудят натруженные солдатские ноги. Гудит и гудит земля, по которой печатает свой трудный шаг пехота...

Дороги...



...Свернув с обочины, спустился в кювет, завалился там поудобнее, ногами повыше, и только уже тогда, лежа, растегнул ворот гимнастерки, ослабил поясной ремень.

Привал!

Пятнадцать минут, целых четверть часа отдыха!

Мы пулеметчики. Наши «максимы» следовали за нами в повозках. Сами же мы шагали налегке, несли только то, что называлось полной солдатской выкладкой.

Полная выкладка...

Это боевая пятизарядная трехлинейная винтовка системы Мосина, образца тысяча восемьсот девяносто первого дробь тысяча девятьсот тридцатого года, противогаз, вернее, сумка с противогазом, скатка шинели. Тут же подсумок, малая саперная в брезентовом чехле лопата, алюминиевая или стеклянная, тоже в чехле, фляжка, несколько штук гранат.

Вместе с запалами гранаты выдавали солдатам на руки у самой передовой. Носили гранаты на поясе, а запалы — отдельно, в нагрудном кармане гимнастерки.

Кроме всей этой полной выкладки, каждый нес еще и вещевой мешок. «Сидор» или «сидорок» — так любовно-иронически называли солдаты этого неизменного своего во всех боях и походах спутника.

В «сидоре» у меня хранились котелок, ложка (на ложке перочинным ножом были выгравированы мои инициалы «П. А.» и указаны координаты — «Брянский фронт»), бритвенные принадлежности (без них невозможно стало обходиться начиная со второго года службы), запасной носовой платок, полотенце,

небольшой, а потому и ценный всегда на вес золотого обмылок.

Тут же хранились довоенные — из дому — фотокарточки, пачка старых писем. Солдат всегда берег старые письма и на тот случай, если полевая почта перестанет вдруг почему-либо доставлять новые.

На самом дне «сидорка» притаился «НЗ» — неприкосновенный запас: американская консервированная колбаса или свиная тушенка (одна банка на троих или четверых), крупяной, ячневый или пшеничный концентрат, несколько сухарей, аккуратно завернутых если не в полотенце, так в чистую, из запасных, портянку.

Важнейшей принадлежностью вещмешка была «катушка». Не та, гвардейская, а другая, тоже знаменитая на войне «адская машина» — кремня с железной да пенковый конец, продетый сквозь металлическую трубку, — лучшее приспособление, чтоб добывать огонь без помощи спичек.

Что еще?

Пожалуй, всего и не перечислишь, что вмещал в себя выгоревший на солнце, поседевший от пота и пыли фронтовой «сидорок», внешним видом своим весьма отдаленно напоминавший разрисованные, не с лямками, а со шнурками туристские рюкзаки, что продаются в магазинах «Спортторга».

Солдат не просто любил и берег, но и, можно сказать, лелеял содержимое своего вещмешка. Было в нем абсолютно все, что только могло солдату понадобиться. И хоть говорится, что в походе тяжела бывает даже иголка, тем не менее и иголка с ниткой у каждого солдата была своя, «персональная». Сколько было в армии миллионов солдат, столько же насчитывалось в ней и иголок.

«Сидорок» напоминал чем-то солдату семейный уют, навевал воспоминания о доме.

Помимо всего, что выдавалось старшинами и как казенное имущество фиксировалось в соответствующих графах красноармейской книжки или арматурной карточки, каждый солдат обладал еще и чем-то своим, заветным, таким, что не предусматривалось никакими интендантскими нормами.

Я знал солдата-пулеметчика, который нигде и никогда не расставался с «Анти-Дюрингом». Чуть привал, сразу же развязывал свой вещмешок, извлекал оттуда солидно поистрепавшийся том Энгельса и, куда-нибудь уединившись, начинал «штудировать».

На какие вопросы искал в нем ответы молодой солдат, бывший студент, добровольно ушедший на фронт со второго курса Московского университета, рассказывать он сам не любил, расспрашивать же его никто не расспрашивал. Но я замечал: все относилось к пулеметчику почтительно, звали его уважительно по отчеству — Алексенич, хотя и был он моложе многих по возрасту. И как-то легче шло рядом с таким.

Помню солдата-казаха, фамилия его была, кажется, Джураев. Больше всего на свете любил он рисовать: всю душу вкладывал в оформление «боевых листов», у него самыми заповедными в вещевом мешке были кишмиши (солдат хранил его как память о Казахстане: сам, кажется, не ел вовсе, а лишь угощал самых близких своих друзей, и то только по большим праздникам и только по изюминке), да еще несколько обмусоленных цветных карандашей, туго перевязанных бечевкой, огрызок к огрызку. Карандаши свои казах берег больше кишмиша.

Помню солдата-сибиряка, который по всем дорогам войны таскал с собой вещи куда более прозаические: кусок дратвы да щепотку мелких сапожных

гвоздей — бог весть где только все это удавалось ему раздобывать.

Молотка с собой он никогда не имел, ловко обходился при помощи первого подвернувшегося под руку придорожного камня, всегда готов был прийти на помощь любому, совершенно пусть незнакомому солдату: подбить каблук, подшить отвалившуюся подметку. И все бескорыстно, из одной только любви к сапожному искусству.

Истосковалась, видать, душа по настоящей, мирной работе...

Был в нашей роте и такой солдат, который увлекался делом, совсем уже, как казалось всем, трудно объяснимым — коллекционировал мины.

Коллекционеров в наше время хоть пруд пруди. Но коллекционер коллекционеру рознь.

Солдат, о котором пишу я, собирал на дорогах войны незнакомые ему противопехотные мины. Ему доставляло большое удовольствие копаться в них, обезвреживать их.

Сапером по специальности он не был. Но при первой же возможности — и при необходимости и чаще всего без всякой необходимости — добровольно брал на себя исполнение саперных обязанностей. Его вещевой мешок всегда был набит деревянными коробочками — корпусами от самых разнообразных мин, и наших и немецких, устройство которых он самым тщательнейшим образом изучал, а изучив, почему-то долго не хотел с ними расстаться.

Командир отделения сержант Василий Бертов рассказывал мне: до тысячи девятьсот сорок третьего года ему вместе с солдатом-«коллекционером» пришлось воевать в партизанском отряде на территории Калининской области. Однажды, когда партизаны напали на карателей, им вдвоем пришлось спасаться бегством от немецких танков. Бежать далеко: танки шли по чистому полю, а до ближнего леса, где можно было укрыться, расстояние не меньше двухсот метров. Мины в вещевом мешке нещадно молотили сапера-любителя по спине, но добро свое тот так и не бросил.



Кому хоть раз самому довелось бежать от танков, тот знает, какое это «веселое» дело, только тот по достоинству и сможет оценить, какой у нашего «коллекционера» был характер.

О многих страстях человеческих могли бы поведать обыкновенные солдатские вещмешки.

Но как ни любил, ни лелеял солдат их содержимое, были на фронте моменты, когда от всего этого приходилось безжалостно отказываться. Так случилось в жаркие часы атак, когда не хватало под руками автоматных дисков и коробок с пулеметными

лентами. И вещевые мешки выворачивались наизнанку, из них вытряхивалось все...

Письма, фотокарточки, сухари рассылались по карманам, ложка — незаменимое личное «оружие» бойца — упрятывалась за голенище сапога или за обмотки. Все остальное отдавалось старшине и очень часто назад к солдату уже не возвращалось.



На войне как на войне: не убьют, так ранят, попадешь в госпиталь, а там новая часть, новая солдатская эпопея.

...Вещевые мешки до отказа наполнялись патронами.



Год рождения — тысяча девятьсот двадцать четвертый.

Место рождения — Удмуртская АССР.

Национальность — мариец.

Партийность — член ВЛКСМ...

Я хочу рассказать о самом дорогом своем фронтовом друге, пулеметчике Владимире Юферове.

Мы встретились с ним в Ижевске, на призывном пункте. Потом попали в Арзамас, в военное пулеметно-минометное училище; отсюда, не проучившись и трех месяцев, отправлены были на фронт.

В стрелковом батальоне, куда весной тысяча девятьсот сорок третьего года прибыла наша курсантская рота, нас распределили. Одних назначили командирами стрелковых отделений, присвоив им звания младших сержантов, других — большинство — направили в пулроту. Мне запомнились слова комбата, руководившего распределением: «Курсанты — золотой фонд армии» и «Успех стрелкового батальона в бою решает пулеметная рота». И то и другое имело прямое отношение ко мне, — это я твердо усвоил.

Мы с Юферовым оказались в одном пулеметном расчете. Юферов — первым номером, я — вторым.

Кроме нас, к пулемету были приставлены еще четыре подносчика: штат у «максима» в войну был по-настоящему, чем у противотанковой «сорокапятки», доходил до шести, а то и до восьми человек. Но так уж получилось, что помощников своих мы растеряли сразу же, едва начались бои, и воевать нам, как, впрочем, и большинству других пулеметчиков, пришлось вдвоем. Сами таскали и пулемет и коробки с лентами.

Он был отчаянным, этот всегда спокойный, во всем рассудительный парень — «удмуртский черемис», как

иногда в шутку называл он себя сам. Оба мы были на фронте новичками: я чувствовал себя не очень уверенно; он с самых первых выстрелов держался так, словно всю жизнь только тем и занимался, что воевал.

Я был близорук, но постоянно носить очки стеснялся, надевал только тогда, когда ложился за пулемет. В бою окуляры у пулеметчика были уже не окулярами, а «оптическим приспособлением».

Когда сквозь свою оптику я различал немецких солдат, которые, поднявшись во весь рост, с истошным криком кидались на наши позиции (среди треска пулеметных и автоматных очередей, визга мин и снарядов в этом крике ничего нельзя было разобрать, кроме сплошного «ла-ла-ла-ла-ла!!!»), становилось не по себе.

Страхом это не было.

Страшно, когда бездействуешь. А мы работали.

Не до страха, если лежишь за пулеметом, держишься за его рукоятки: словно чувствуешь, как тело твое сливается с телом пулемета, и пулемет колотится в твоих руках, стучит, изрыгает огонь, хлещет и хлещет вокруг себя свинцовой струей — шутка ли: пять винтовочных пуль в секунду!

И все же я покривил бы душой, если бы не признался, что были такие моменты, когда мне действительно становилось не по себе, мурашки пробегали по коже...

Что чувствовал в такие минуты Юферов, этого я не знаю. Судить могу только о его поведении.

Стреляли поочередно, меняясь местами. Один — за гашеткой, другой — рядом, сбоку, все время должен был следить за лентой, подправлять ее, чтобы в решающий момент не произошло задержки.

Когда немцев шло очень много, я забывал иногда о том, что нужно постоянно, как можно чаще менять позицию; забывал, что при любых обстоятельствах огонь нужно вести как можно точнее. Уж какая точность, считал я, если все равно бой такой, что простреливается каждый сантиметр пространства: из тысяч пуль, которыми кишит воздух, одна, пусть даже слепая, случайная, обязательно достигнет цели...

Юферов спокойно отстранял меня от пулемета. Раздвинув высокую траву, которая мешала вести наблюдение, приподнимался на коленях. Так, на коленях, он стоял, казалось, вечно, внимательно, из-под руки всматриваясь в шеренги немцев, прикидывая, куда повернуть пулемет, какой поставить прицел.

Внешняя медлительность в движениях не мешала Юферову быть человеком одержимым и... неуждержимым в самом буквальном смысле этого слова.

Я был вторым, как уже об этом писал, номером. Как номер второй, я лишь повторял то, что делал мой друг, и, как, наверное, каждый второй номер, больше всего боялся отстать от первого, затеряться без него в круговороте боя.

Если говорить откровенно, в глубине души я даже подозревал, что мой друг очень уж прямолинейно, однобоко усвоил боевой устав пехоты, признавая вопреки уставу лишь один вид боя — наступление. Он рвался и рвался вперед, отказываясь прекратить преследование противника даже тогда, когда сам уже был тяжело ранен.

Я же, словно магнит, притягивал пули.

Первая попала мне в левую руку. Рана была легкая: пуля вошла и вышла, повредив лишь мягкие ткани и не задев кости.

Вторая пробила правую руку. Это было уже хуже.

Вдобавок ко всему нас с Юферовым обоих конту-

зило. Взрывной волной опрокинуло пулемет, а нас разбросало в разные стороны от пулемета.

— Ты жив?..

— Жив... А ты?

Это были первые слова, которыми мы обменялись, как только пришли в себя после взрыва.

Лежа на земле, мы уже истекали кровью, а впереди был еще самый главный, самый решающий бой, который нам предстояло выдержать.

Почувствовав, что пулемет замолчал, немцы пошли на нас. Сначала робко, ползком, перебежками поодиночке — по всем правилам военного искусства, потом все смелее и смелее.

Мы с Юферовым готовились сделать друг другу очередную перевязку, когда я, взглянув перед собой, увидел — совсем близко — немецкого солдата. Прижав к груди автомат, он огромными скачками приближался к небольшому окопчику, который всего несколько минут назад оставили немцы. Вот он впрыгнул в окопчик. Мелькнули в воздухе сапоги — темно-коричневые, с оттопыренными голенищами — и исчезли...

Я схватился за винтовку, а Юферов за рукоятки пулемета.

Красные бинты болтались на нас, наверное, как лохмотья, но нам теперь было уже не до них.

Мы защищались, мы не собирались расставаться с жизнью и тем более попадать в плен. И прежде, чем подоспели свои, успели отразить еще одну, пожалуй, самую тяжкую контратаку немцев, которые, обезумев, лезли и лезли на наш пулемет, как если бы от него одного зависел исход войны.

Помню, как выходили из боя — окровавленные, все в грязи, похожие, наверное, на чертей.

От потери крови темнело в глазах, силы ослабевали.

Я предлагал не тащить за собой пулемет, хотя и знал существующий порядок: покидая поле боя, раненый боец, если только он был в состоянии, обязан был вынести с собой личное оружие и прежде, чем отправиться в госпиталь, сдать его...

— Кому?.. Все равно никого своих уже не найдем, все перемешалось... — несколько раз принимался я уговаривать Юферова.

Но тот упорствовал.

— Дотащим... Хотя бы до лесу...

Даже тогда, когда слева от нас показались немецкие танки, даже тогда Юферов остался верен себе... Мы доволокли-таки пулемет до лесу.

Лес был уже н а ш и м.

...Мы расстались на сортировочной — промежуточном медицинском пункте, где раненых распределяли по госпиталю в зависимости от характера полученного ранения. Расстались легко, рассчитывая рано или поздно снова встретиться.

Уже на пути в эвакогоспиталь знакомые солдаты показали мне газету двести шестидесятой стрелковой дивизии «На разгром врага» за двадцать пятое июля. В ней была заметка Юферова.

Она называлась «Наш «максим»».

Не скрою, мне было интересно прочитать в ней про себя.

Я не без любопытства ознакомился с заметкой еще и потому, что узнал оттуда о некоторых тактических подробностях того нашего последнего боя, что мы вели вместе с Юферовым: сам я всегда трудно ориентировался на местности, полагаясь во всем на своего боевого друга.

«Выдвинувшись вперед, — писал Юферов, — мы обошли свой правый фланг. Гитлеровцы попытались воспользоваться нашим промахом, но не удалось.

Мы с Любимировым повернули свой пулемет против фрицев и прикрыли образовавшийся разрыв.

Гитлеровцы, как ошпаренные, кинулись обратно. В это время осколками мины ранило меня в голову и в ногу. И у пулемета было повреждение. Гитлеровцы поднялись в контратаку. Шло их много. И снова наш «Максим» заставил немцев отказаться от своей затеи».

К тому, что написал здесь Юферов, я мог бы добавить лишь то, что мы тогда не только выстояли и остановили наступавших немцев. Когда к нам подошли свои, вместе со всеми мы еще и продвинулись метров на двести вперед, заняли тот самый окопчик, в который на наших глазах впрыгивал немецкий солдат и который, как считал Юферов, представляла более удобную для нашего пулемета позицию. Однако продолжать наступление дальше мы уже не могли: нас отправили на поправку.

Представляю, каких трудов стоило фронтовому корреспонденту вынудить такого несловоохотливого, можно даже сказать, угрюм�� парня, каким был мой друг, написать заметку в газету. Никогда раньше Юферов и двух слов не написал в «Боевой листок», который издавался в нашей пултроте.

Газетная заметка была последней весточкой, которую я получил от него.

Война разбрасывала солдат по разным фронтам, путала адреса... Дороги... Фронтовые дороги...

Спустя два года после окончания войны, демобилизовавшись из армии, я написал письмо на родину Юферова.

Ответила его сестра: «Володя не вернулся... Вот уже несколько лет, как нет от него ни писем, ни похоронной. Совсем без вести...»

Сестра с надеждой спрашивала, где я служил с ее братом, что мне о нем известно, не знаю ли я адрес последнего его места службы.



...Я живу не так далеко от тех мест, из которых родом Владимир Юферов. Вот уже много лет, как я порываюсь туда съездить, но никак не могу решиться. Я уверен: каждый, кто живым вернулся с войны, испытывает что-то вроде вины перед родственниками своего погибшего друга. Ты-то вернулся, а он?..

Я боюсь этих вопросов:

«Где он?» «Что с ним?» «Как он там?»

А что я могу ответить?

...Мой вклад в Победу был невелик: я лишь пролил немного крови, пострадав от пуль немецких автоматчиков.

Владимир отдал жизнь...



М. Михайлов



ЧЕЛОВЕКУ — ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

Несколько лет назад по заданию редакции журнала «Наука и религия» я впервые пришел в баптистский молитвенный дом. Больше всего меня тогда поразило, что в здешних богослужебных собраниях рядом с пожилыми людьми сидела молодежь. Негусто, правда, было молодых, но уж процентов пять наверняка. «Чем же привлекательна для них сектантская церковь, лишенная в отличие от православной даже внешней обрядовой занимательности?» — подумал я тогда, не ведая, что касаюсь темы серьезной и актуальной. С тех пор я бывал не один десяток раз на баптистских богослужениях. И везде, буквально в каждой общине, встречал молодежь. (В городах ее было больше, чем в селах, — до 10—15 процентов.) Здесь были и совсем «зеленые» ребятишки — школьники, и повзрослей — молодые рабочие, уже имеющие за плечами порядочный трудовой стаж.

Большинство из них, как выяснилось, пришло в общину родительским старанием, еще малышами. Но что удерживает их в общине теперь, когда контроль верующих родителей наверняка ослаб? Только ли ставшие привычкой «братские» общения?

Думать так — значило бы объяснить сложную человеческую проблему лишь наполовину.

Однажды я вместе с группой баптистов возвращался на электричке в Сухуми из Очамчире, где был на баптистском празднике жатвы. Соседом моим по скамейке был молодой баптист З., печных дел мастер. Мы разговорились, и я привел ему, как это водится в атеистической практике, примеры явных бессмыслиц, содержащихся в проповедях, только что слышанных нами. Я ждал, что мой собеседник станет спорить, хитроумной «диалектикой» открывая «высокий смысл» бессмыслиц. Но ответ был неожиданно спокойным:

— Да, бессмыслиц много. Но мы, слушатели, снисходительны — поступаем в таких случаях, как при употреблении рыбы: годное съедаем, негодное оставляем на столе.

Интересным в этом ответе для меня было не столько согласие молодого печника, что действительно

бессмыслиц в проповедях много, сколько старательно подчеркнутое: в этих проповедях есть и «годное», то самое, что слушатель «употребляет», «воспринимает», удовлетворяя какие-то свои, не понятые нами потребности. И не задача ли для атеиста, подумалось мне, — познать суть этих потребностей, разобраться в их истоках, чтобы, разобравшись, сделать свою работу более целенаправленной и углубленной?

Вспоминаю Николая Р., молодого сектанта, электрика одного из закарпатских городских комбинатов бытового обслуживания. Всего третий год как женился, и уже два малыша народилось. Николай неразговорчив. Работает добросовестно, часто сверхурочно, но в работу не влюблен. Единственное, что, по его словам, побуждает трудиться, — «жить надо», «кормить и кормиться надо» (ведь не за горами то время, когда третий малыш появится).

Вместе с тем в его разговоре со мной звучал и иной мотив.

— Да, работать надо, — говорил Николай, — кормиться надо. Но когда забота о хлебе едином поглощает день за днем без просвета, я становлюсь противен, отвратителен сам себе, я чувствую: что-то во мне протестует и ищет выхода...

Удивляться этим словам не приходится. «Еще античные мыслители прекрасно понимали, как принижает человека поглощение всей его жизненной силы заботой о материальном существовании», — писал Плеханов. Постоянная забота о средствах к жизни делает человека «слабым, подобоострастным, тупым и жалким», превращает его, по словам Плеханова, «в создание, не способное ни любить, ни ненавидеть», в человека, «каждую минуту готового пожертвовать последним остатком своей свободной воли только для того, чтобы ему была облегчена эта забота».

Конечно же, любой из нас почувствовал бы себя нравственно опустошенным, если бы ему пришлось ограничить жизнь лишь поддержанием собственного биологического существования. Каждый знает, что это — всего лишь средство, которое позволяет человеку жить главным. Человек по природе своей — существо общественное, творец и хозяин общественной жизни. И только тот по-настоящему нравственно здоров, кто живет делами, интересами всего общест-

ва. А содержание такой жизни неизмеримо больше и выше, нежели заботы о собственном материальном благополучии. Тут и напряженное искание истины и самоотверженное претворение ее в жизнь. И нетерпимость к несправедливости. И все более глубокое самопознание человека. И властная, куда сильнее любого стремления к материальному благополучию, потребность в самовыражении.

Разумеется, что и для религиозного человека постоянные «заботы о насущном», как мы видим на примере Николая, нравственно невыносимы. Но в отличие от современного общественно развитого человека верующий воспринимает собственную жизнь как данную «из от мира сего», как проявление «пребывающего в нас бога». Не случайно до сих пор о справедливом, бескорыстном поступке говорят: «Поступил по-божески». Не по-человечески, а по-божески! Потому что считалось (а у сектантов и до сих пор считается), что человеку как существу «земному» бескорыстные побуждения не свойственны. Чтение «слова божьего» (библии, особенно Нового завета), «приобщение к богу» в минуты проповеди дают верующему иллюзию внутреннего выпрямления, иллюзорно его возвышают над собственной — униженной, по его мнению, для человеческого достоинства — жизнью «ради хлеба насущного».

Иными словами, все высокое, самоотверженное, все подлинно человеческое верующий переадресовывает богу, воспринимает как свойство бога, создавая «вторую реальность» из того, что является неотъемлемой человеческой сущностью. Здесь-то и коренится религия: здесь-то и слышится «вдох угнетенной твари» (Маркс).

Об этом «вдохе» — помните? — и говорил мне молодой закарпатский баптист Николай Р.: «Когда забота о хлебе едином поглощает день за днем без просвета, я становлюсь противен, отвратителен сам себе, я чувствую: что-то во мне протестует и ищет выхода...»

«Жизнь в боге... «Вдох...» Об этом слышишь, конечно, не часто, но слышишь и замечаешь.

Я не раз знакомился с книгами, которые в «ходу» у верующей молодежи, и, разумеется, интересовался, что же именно молодым верующим в этих книгах нравится.

Пятигорская баптистка Вера Ш. как-то подарила мне изданную в Тбилиси книгу «Мудрость Балавара». Вот некоторые места, подчеркнутые Вериной рукой. Осуждение автором царя Абенеса: «Всеми помыслами он был связан с благами мирскими и был рабом своих собственных страстей, и вовсе не в силах был противиться наслаждениям, растлевающим душу»; христиане «весьма дивились, что царь стал зависим от собственных страстей и делался рабом славословия». Вместе с тем выделены и те абзацы, где говорится о власти над собой человека, живущего подлинно высоким; о победе над физическими и эгоистическими пристрастиями.

Не только «Мудрость Балавара» пользуется симпатией баптистской молодежи. Они читают с карандашом и «Отверженных» Гюго, и романы Достоевского, и поздние работы Льва Толстого, и Чехова, и Гаршина. И старательно выписывают опять-таки все те места, где с уважением говорится о духовной, нравственной жизни, о могуществе и власти ее закономерностей. Вот, например, листок с выписками из Романа Роллана: «Всякое величие благостно, и высший предел скорби есть уже избавле-

ние от нее»; «Для душ близких разлука — самое большое благодеяние: она освобождает их от застенчивости»; «Вовсе не обязательно, чтобы кумир знал о моей любви, важно любить, чтобы сердцем не завладел мрак»; «Ложь развращает того, кто ею пользуется, гораздо раньше, чем губит того, против кого она направлена. Какой прок от того, что ложью вы быстро добьетесь успеха? Корни вашей души повиснут в пустоте, в почве, изъеденной ложью»; «Сердце помимо нашей воли привязывается, в какую бы среду ни попало; если бы не привязывалось, то не могло бы жить»; «В глазах женившегося человека мир уже не тот, каким он был раньше: на душу мужа наложилась печать душа жены».

Это выписки из тетради девушки-баптистки, студентки одного из медицинских училищ...

Был я в командировке в этом училище. Как-то студентка упрекнула свою однокурсницу-баптистку за то, что та ничего, кроме библии да учебников, не читает. Тогда девушка-баптистка дала нам прочесть свою тетрадь.

Произошел любопытный разговор.

— Это писал Ромен Роллан, верующий, христианин, — убежденно сказала юная баптистка, принимая от нас свою тетрадь.

— Сразу видно, в полном с тобой согласии, — ответила ей сокурсница.

— Это из чего же видно? — полюбопытствовал я, обратившись к атеистке.

— Все о душе да о душе. О душе как о крепости несокрушимой пишет.

Поразительнее же всего было то, что и верующая студентка доказательство религиозности французского писателя видела в том же:

— Да, он о душе пишет, о ее власти, преклоняется перед ее величием. Где же вы видели такое у атеиста?

Неверующая моя напарница обратила внимание баптистки на последнюю выписку из Роллана:

— «Душа одного накладывает свою печать на душу другого, и мир для него становится иным!» Это же сплошная мистика!

Хозяйка тетрадки пожала плечами:

— Называй как хочешь, это правда.

— Раз мистика — значит, неправда.

— Но то, о чем пишет Ромен Роллан, признает и сегодняшний советский писатель, — стояла на своем молодая баптистка. И, перевернув в тетрадке страницу, показала... выписку из Тендрякова. Оказывается, и Катя Зеленцова, героиня «Тугого узла», когда полюбила Мансурова, «на весь мир стала смотреть его глазами, глазами Павла».

— Я это проследила уже по многим книгам, — заторопилась девушка. — Душа одного человека действительно способна овладеть душой другого...

Разговор — не правда ли? — примечательный. Одна из девушек воспринимает нравственно-эмоциональную жизнь не примитивно, во всей ее сложности, но в религиозной форме. Воспринимает как созерцаемую «внутренним взором» неземную жизнь. Для другой же девушки «тонкости» духовной, нравственной жизни, сложные проявления ее — всего лишь «презренная мистика».

Чтобы рассеять предубежденность обеих девушек, я показал им книгу Ф. Дзержинского «Дневник заключенного. Письма», которую как раз тогда читал. Показал подчеркнутые мною: «Любовь — творец всего доброго, возвышенного, сильного и светлого»; «Где есть любовь, там нет страдания, которое могло бы

сломить человека; настоящее несчастье — это эгоизм. Если любить только себя, то с приходом тяжелых жизненных испытаний человек проклинает судьбу, переживает страшные муки. А где есть эта любовь и забота о других, там нет отчаяния; «если мыслью и чувством сумеешь понять жизнь и собственную душу, ее стремления и мечты, то само страдание может стать и становится источником веры в жизнь, указывает выход и смысл всей жизни. И в душу может возвратиться спокойствие — не кладбищенское спокойствие, спокойствие трупа, а уверенность и вера в радость жизни, несмотря на боль и вопреки ей»; «Быть светлым лучом для других, самому излучать свет — вот высшее счастье для человека, какого он только может достигнуть. Тогда человек не боится ни страданий, ни боли, ни горя, ни нужды. Тогда человек перестает бояться смерти, хотя только тогда он научится по-настоящему любить жизнь»; «Когда я думаю о всех тех несчастьях в жизни, которые подстерегают человека, о том, что человек так часто лишается всего того, к чему он был более всего привязан, снова моя мысль говорит мне, что в жизни надо полюбить всем сердцем и всей душой то, что непреходяще, что не может быть отнято у человека и благодаря чему становится возможна и привязанность его к отдельным людям и вещам».

Как же отреагировали девушки на прочитанное? Неверующая после некоторого замешательства: «Дзержинский, конечно, был хороший коммунист, и мы должны отдавать ему в этом отношении должное. Но он получил воспитание при старом строе, в католической Польше, мы не должны перенимать от него то, что ему досталось от царского строя».

Ответ баптистки: «Я, конечно, не сомневаюсь, что Дзержинский считал себя неверующим... Что он действительно был неверующим. Но это безверие было заблуждением его ума. А душа — далеко не только ум. И она вопреки заблуждениям ума по природе своей христианка. Вот душа-то во всем, что мы сейчас прочли из писем Дзержинского, и сказала свое слово».

Таким образом, обе девушки сочли, что прочитанные ими цитаты исходили от Дзержинского-«христианина»...

Одинаковая оценка при этих крайне противоположных миропониманиях — отчего бы это?

У каждого человека в известном возрасте просыпается интерес к закономерностям нравственной жизни. От полудетского вопроса «что такое хорошо и что такое плохо», от житейского толкования этого вопроса до марксистского понимания и практической реализации категорий добра и справедливости — таков путь духовного взросления. И на этом пути молодого человека подстерегают разного рода опасности. Бывает ведь так: юноша поставлен перед недвусмысленным выбором. В какие-то минуты жизни явно в ущерб себе он должен, допустим, разоблачить невежество и ложь. Или, например, отказаться от собственной выгоды, собственного удовольствия, потому что этому претит смутно ощущаемое нравственное чувство. И тут какой-нибудь «бывалый» предлагает наплевать на «благие порывы» и «душевные муки». Толку от них не было и нет! Все это «мистика». Да и в конце концов судья тебе в данном случае ты сам!

Не без колебаний, должно быть, молодой уступает «опыту».

И лиха беда — начало!

Это одна серьезная опасность на пути духовного возмужания, вызревающая, очевидно, в ту самую

крайность, при которой все сложное и противоречивое в нравственной жизни человека оптом заносится в «пережитки» и «презренную мистику».

Но есть и другая опасность. Она проявляется там, где в наставниках у молодежи оказываются церковники и религиозные сектанты. Проповедник редко морализирует, почти ничего не навязывает юным слушателям: неотразимая сила его речей прежде всего в обращении к духовному опыту молодежи. Вот образчик:

«Братья и сестры, заметили ли вы, что если сделаешь другому человеку благо, доставишь другому радость, то и сам счастлив?.. А почему это? Потому что душа человека, верит ли он в бога или не верит, по природе своей христианка, и делать благо, доставлять радость ближнему для нее самая большая, самая сильная потребность».

Но вздь в этой проповеди, по сути дела, разъясняется то же самое, что и у атеиста Герцена! «Для человека нет блаженства в безнравственности: в нравственности и добродетели только и постигает он высшее блаженство; поэтому-то человеку и совершенно естественно любить добродетель, любить нравственность». «Какая же здесь опасность?» — может спросить читатель.

И я не побоюсь повторить: опасность в том, что подлинно человеческое — устами проповедника — присваивается богом, нравственно разоружая верующего, обрекая его в конкретных жизненных ситуациях на бездействие.

Вспомним Маркса, который неоднократно говорил про «учение материализма о врожденной склонности человека к добру». Эту склонность марксизм объясняет общественным характером человеческой природы. Ведь человек — это «не какое-то вне мира ютящееся существо». «Человек — это мир человека», и посему основные законы нравственности не что иное, как преобразовавшиеся в самом человеке основные законы бытия. В марксизме находим мы самое реалистическое, но от этого не менее привлекательное, высокое объяснение Добра, Совести, Идеала.

В наших школьных программах, в наших публичных лекциях и в научно-популярной литературе — за редким исключением — ничего не говорится о закономерностях нравственной жизни с точки зрения марксистского понимания проблемы. Не поэтому ли у слушателей баптистского пресвитера создается впечатление, что эти закономерности — действительно прерогатива бога? И не по той же ли причине (как же, о закономерностях нравственной жизни только церковники и говорят!) и неверующая молодежь воспринимает как пропаганду поповщины каждое уважительное слово о нравственности, от кого бы оно ни исходило — от Герцена или Ромена Роллана, Дзержинского или Горького?

И это вдвойне досадно!

Во-первых, просвещение всех членов общества в вопросах нравственной жизни необходимо не только для борьбы с соответствующими религиозными взглядами. Просвещение прежде всего необходимо как таковое: без знания человеком самого себя, без уважения к культуре чувств не может быть подлинно свободного человека.

Второе. Не проводя своей («светской») работы, удовлетворяющей уважительный интерес людей — и прежде всего молодежи — к правилам нравственной гигиены, к закономерностям нравственной жизни, мы, думается, упускаем значительную возможность для разоружения церкви. Известно, что церковь издавна привлекала в свое «лоно» музыкой и живописью, будучи на определенных этапах истории по-

чти единственным средоточием искусств. Но как только эти виды искусства получили право гражданства в «светской» жизни, церковники лишились основного козыря. Но все-таки живопись и музыка не самое главное и не самое сильное, чем веками привлекала церковь. В религии, вспомним слова Маркса, претворена в фантастическую действительность человеческая сущность — общественная природа человека. Вот эта-то «сущность» и являлась тем сильнейшим магнитом, заложенным в религии (и особенно в христианском сектантстве). Он тянул и продолжает еще притягивать к себе людей, которые не получили удовлетворения для своих здоровых, естественнейших духовных потребностей в жизни «светской», «мирской».

Вопрос не из легких: как же выбить из рук церкви ее последний и самый сильный козырь?

Когда эта статья была написана вчерне, мои друзья, прочитавшие ее, посоветовали мне все-таки разъяснить, как, каким образом наша школа и наша внешкольная пропаганда научных знаний должны «брать на себя» удовлетворение потребности молодежи в нравственном самопознании и в чем я конкретно усматриваю недостатки нравственного воспитания.

Для краткости отвечу примером. Не так давно в «Правде» была опубликована статья народной артистки СССР С. В. Гиацинтовой. Там были такие строки: «Если не сдержался, по ничтожному поводу задел обидным словом человека — значит унизил не только его, но прежде всего самого себя, что-то потерял в себе, стал беднее». Слова эти понравились многим читателям, и в том числе верующим. В частности, молодые баптисты из Бреста подкрепили и разъяснили их текстом из «священного писания»: «Скорбь и тесноту испытывает душа всякого человека, делающего злое». Ну, а вот научного объяснения этой закономерности, как выяснилось, в Бресте ни разу не пытались дать ни учителя средних школ, ни брестские лекторы. Не любопытно ли?

Или вот юная баптистка в Брянском медучилище — помните! — выписала у Роллана (несколько перефразировав): «В глазах женившегося человека мир уже не тот, каким он был раньше: на душу мужа наложила печать душа жены». Явление, замечаемое всеми писателями, сколько-нибудь серьезно занимающимися проблемой человека. Но Роллан — художник, и научное объяснение этого явления нравственной

жизни совсем необязательно в художественном произведении. В устах же пропагандиста научных знаний, в устах пропагандиста этики оно необходимо как разъяснение одного из закономернейших проявлений общественной природы человека.

«Религия возникла... из самых невежественных, темных, первобытных представлений людей о своей собственной и об окружающей их внешней природе» (Энгельс), в религии, по словам Маркса, мы имеем человеческую сущность, претворенную в фантастическую действительность, «христианский бог — это лишь фантастическое отражение человека» (Энгельс), «высшие существа, созданные нашей религиозной фантазией, это — лишь фантастические отражения нашей собственной сущности» (Энгельс). На эту «сущность» (на проявления общественной природы человека) обращают внимание молодежи пресвитеры, священники и по-своему объясняют ее. Объясняют едва ли не во всех городах и селах страны. Гораздо реже обращаются к этой теме наши писатели, еще реже — школьные учителя, лекторы, при этом никак не объясняя ее. Увы, учитель, как это ни парадоксально, недостаточно вооружен знаниями об общественной природе человека, о нравственном чувстве как о проявлении этой природы. А потребность в этом знании возрастает. В прошлом году я был в командировке в горном закавказском селе Березники. Учитель истории местной школы В. Дукай обратился ко мне с просьбой разобрать «конфликтную ситуацию». Он рассказывал ученикам о происхождении человека, а те спросили его, как и откуда у человека появилась совесть. И учитель не знал, что ответить. «Нам в вузе об этом не говорили, да и вообще этот вопрос не предусмотрен программой». Учитель не знал, но в этом же селе действуют православная церковь и баптистская община, где каждый день по-своему «объясняется» происхождение совести...

Такой пробел в нашей работе с молодежью тем более досаден, что никто так не силен в последовательно научном освещении вопросов нравственной жизни и ее закономерностей, как мы, материалисты. И здесь, в этическом просвещении, в этическом образовании молодежи, почти без употребления остается богатейшая сокровищница трудов классиков марксизма и их последователей (вплоть до сегодняшней плеяды философов-марксистов) и даже трудов философов — предшественников марксизма, если их читать глазами материалиста.

Целые этические миры, открытые до нас, пока еще — увы! — не открыты нами.



ЕКАТЕРИНА ГРАДОВА: «ПРИЙТИ В РОЛЬ ИЗ СЕГОДНЯШНЕЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ»



Мы научились требовать мысли от актера-мужчины, но до сих пор бываем склонны простить женщине-актрисе отсутствие индивидуального и неповторимого мышления. Особенно если актриса молода и обаятельна. И так, однажды похвалив выразительную пластику Екатерины Градовой, которая недавно дебютировала на сцене Московского академического театра имени Маяковского в спектакле «Таланты и поклонники», я получил от нее решительную отповедь:

— В мхатовской школе еще на первых курсах меня научили ненавидеть понятие о «милоте» актерской. И вот вы сейчас говорите о том, что я обаятельна, пластична в роли Негинной, а мне тревожно: значит, к образу еще не пришла, если данные «вылезают» на первый план, если они виднее, чем существо характера моей Негинной...

И в самом деле, не было бы спектакля и серьезного зрительского интереса к нему, если бы на сцене не было истинной Негинной. Поскольку события развиваются вокруг нее, тональность спектакля определяет исполнительница этой роли. Актрису Негинну любят. Она притягивает на сцене и в жизни. И очень важно, чтобы мы сразу же поверили, что эту молодую женщину, талантливую актрису есть за что любить.

Иные спорили, не получив ожидаемой пищи — открытого всплеска, метаний души, изодранной раздвоением: ведь молодая женщина, по существу, продает себя богатому покровителю, оставляет любимого человека, калечит свою жизнь. У Градовой — дру-

гое: поступок ее Негинной — трудный подвиг актрисы, у которой нет иного пути сосредоточить себя на главном деле жизни — искусстве. Страдания ее не гасят искры счастья, которая горит в ее сознании, потому что, похоронив личную жизнь, она приобретает возможность целиком отдать себя творчеству — нести нерастрченную любовь многим людям. И так, на мой взгляд, крупнее и страшнее звучит тема Негинной — тема спектакля. У Градовой Негина возвышается. И в этом, своем решении образа — удача актрисы.

Что ж, мы чувствуем, как, закованная в монументальные платья, живет, пульсирует в спектакле театра имени Маяковского не провинциальная премьерша госпожа Негина, которую обычно играют уже опытные «первые героини», а именно Сашенька Негина — скромная, чуть угловатая, по-девичьи ломкая, вся, без остатка в актерском своем призвании.

Я спросил Градову, не мешают ли ей туалеты, которые она носит в спектакле?

— Честно говоря, я предпочла бы увидеть свою героиню в свободном и простеньком платье в горошек. Мне хочется приходить в роль из сегодняшней своей жизни, и ничто этому не должно мешать... Но ведь уже ничего нельзя изменить: я вошла в готовый спектакль. Стремительно, с нескольких репетиций. Пожалуй, лишь сейчас, на последних спектаклях, я стала по-настоящему приближаться к образу той Негинной, которую хотела бы сыграть... Я понимаю: мой ввод в «Таланты и поклонники» — явление необычное. Выпускница театральной школы в го-

рячую пору госэкзаменов и дипломных спектаклей за какую-нибудь неделю готовят роль в одной из лучших пьес русского классического репертуара! Но ведь это вовсе не чудо, и если уж говорить всерьез, то главным образом — достижение школы, воспитания, которое я там получила. В течение года я работала в школе с семи часов утра до часу ночи. За год сыграла пять ролей. Негина была шестой. Суровый трудовой режим, предложенный всем нам школой-студией, руководителем курса Василием Петровичем Марковым, воспитанный личным примером наших педагогов, — вот путь к Негинной.

Помню, после просмотра, на который пришли мои учителя Василий Петрович Марков и ректор школы-студии имени Немировича-Данченко Вениамин Захарович Радомысленский, чтобы уберечь меня от провала, не допустить неосмотрительного выхода в премьер, ко мне подошел главный режиссер театра Андрей Александрович Гончаров. Он сказал: «Будем солдатами, Катя. Сыграем премьеру сейчас. Все помогут: партнеры, режиссура, техника». Он так лихо это сказал, что я решилась. И педагоги поддержали эту решимость. Но дело-то было именно в них, а не во мне. Вы же помните, какой я пришла в студию...

Я помню. Катя читала на конкурсе главы из пушкинского «Евгения Онегина», и мы уже тогда ясно различали ее незаурядную творческую индивидуальность. Казалось, что это будущая актриса лирическо-бытовой темы.

— А ведь все пошло по-другому, — убеждает меня сегодня молодая актриса Градова. — Я полагаю, что универсальный актер — легенда. Так не бывает. И со временем Василий Петрович сказал мне: «Тебе противопоставлены бытовые героини. Шолоховская Лушка, скажем, это не для тебя». И бережно, неторопливо, чутко он вел меня к моим героиням, к моей теме. Со второго курса мы стали вырывать друг у друга книги, спорили вокруг них, читали запоем и запоем вглядывались в живопись — самый близкий к театру вид искусства. Всем этим мы обязаны прежде всего Маркову. Честно говоря, я совсем не сразу, только недавно поняла подлинную цену тому, что казалось мне на его уроках мучительным, педантичным даже. Он-то и будил и воспитывал в нас художников. И приучил к настоящему, нелегкому труду в искусстве.

А когда становилось уже невмоготу, когда уставала и готова была сдать, я представляла себе другого нашего педагога, Евгению Николаевну Морес. Она способна работать по шестнадцать часов, не разгибаясь. Хрупкая, худенькая женщина. Образец творческого мужества. На память приходили слова Флобера: «Литературу делают волю». Глядя на Маркова и Морес, поняла: искусство — тоже... Студия — это прекрасный период в моей жизни. Полноценный творчески, заполненный поиском, благородным трудовым режимом. Если я хоть что-то успела сделать за последние годы, смело переадресую любое достижение только им, нашим педагогам. Все четыре года я не испытывала ощущения ученичества — с первых же шагов в студии нас незаметно сорени-

тировали на активную инициативу, на самостоятельные отрывки и спектакли...

Весной минувшего года на сцене филиала МХАТ шел дипломный спектакль школы-студии — инсценировка романа А. Н. Толстого «Хожение по мукам». Все здесь было по лучшим нормам мхатовской технологии: подробно, непрерывно жили в образах молодые актеры, даже тогда, когда «одежда» образа оказывалась не по возрасту великоватой для кого-то из них и из-под наклеек и костюмов начала века выглядывали лица и повадки молодых людей шестидесятих годов. Издержки инсценировки понятны: пьеса, как правило, получается мозаичной. Но подкупали в спектакле и искренность молодости и обаяние трепетного, свежего творчества.

Градова с первого же выхода на сцену заявляла свою Катю, не повторив чужих красок в образе этой героини романа Толстого. Было в ней и мужество и все преодолевающая устремленность вопреки обстоятельствам, которые сплошь и рядом звали ее уйти из жизни.

— Кто-то сказал, что эта роль «написана для меня», — рассказывает Градова. — И сразу же не захотелось ее играть. Хорошо читать роль, как белый лист, а здесь все было предопределено романом: и портрет, и мысли, и мир чувств. Эта заданность меня смущала больше всего. Долго, мучительно искала не себя в роли — другую Катю в себе. И больше всего помогло решение не переделывать роман в драматургию. В роли много монологов. Партнер в них единственный — зритель. И я прежде всего работала над словом, над литературой... Сейчас не жалею, что играла эту роль. Рядом с другими — Еленой Андреевной из «Дяди Вани» Чехова, сложным характером Кристоаль из «Балаганчика дон Кристоаля» Гарсиа Лорки, графиней Розиной из «Женитьбы Фигаро» Бомарше — толстовская Катя была очень важным эскизом для будущих работ и очень многому меня научила.

На смотре дипломных спектаклей высших театральных учебных заведений страны спектакль мхатовской студии «Хожение по мукам» был признан одним из лучших, и в нем жюри конкурса отметило исполнение Градовой роли Кати.

Прошло пять лет с того дня, как я увидел ее впервые на конкурсе в школу-студию. Сегодня о ней говорят, спорят, от нее ждут больших и серьезных работ на сцене. Приглашают в кино. И, кажется, над ней нависла угроза ранней популярности, совладать с которой дано далеко не всем. Хочется верить: Градова не поддастся головокружению от успехов.

— Люблю Джульетту Мазина именно за то, что процесс ее работы над ролью не просто «поиски в себе», но большой и разносторонний труд исследователя жизни. Так бы научиться работать! Так овладеть бы профессией!

Самый строгий критик своего творчества — сама актриса. Это — качество редкое. Оно-то и позволяет нам говорить о рождении нового художника.

Беседу вел
Александр КРАВЦОВ.



НА КАПРИ-ТАМ, ГДЕ ЖИЛ ИЛЬИЧ

Недavno вместе с группой советских журналистов я побывал на острове Капри, куда Владимир Ильич Ленин дважды — в 1908 и 1910 годах — приезжал к Алексею Максимовичу Горькому.

На рейсовом пароходе, курсирующем между Неаполем, Сорренто и Капри, мы приближались к острову. Ясный, солнечный день. Вдали видны две обрывистые горы. И вот уже между ними, в ложбине среди зелени, можно различить белые и серые домики, а также узкий причал, изогнуто вдавшийся в море. Обогнув мол, пароход вошел в гавань Марина Гранде и стал у причала.

Когда-то на этой пристани Горький встречал Ленина.

С тех пор на острове появилось много новых домов, гостиниц, пансионатов, автомагистралей. За прошедшие полвека население почти утроилось, и сейчас на Капри живет около пятнадцати тысяч человек. Основной источник их доходов — обслуживание туристов, число которых здесь достигает ста пятидесяти тысяч в год.

Едва пассажиры сошли на берег, как их обступили маклеры гостиниц и пансионатов, наперебой расхваливавшие сервис и кухню своих заведений, а также шоферы такси и автобусов, местные экскурсоводы. Отбив эти атаки, наша Адриана — маленькая черно-волосая переводчица из «Италтуриста», кстати, изучавшая русский язык в Советском Союзе, обратила наше внимание на темно-красного цвета дом, напоминающий средневековый замок.

— Это отель «Эрколано», — сказала она. — Здесь когда-то довольно долго жил Горький. Затем он переехал в виллу, находившуюся на другом берегу острова. Говорят, что на этой вилле гости и Ленин. В отель нас не пустят. Сейчас эта старинная гости-

ница очень популярна, и хозяин боится, что экскурсанты побеспокоят его богатых клиентов. А к вилле мы пройдем.

Вагончик фуникулера медленно поднимает нас в гору, на склонах которой раскинулись виноградники, апельсиновые и лимонные сады, цветники. На конечной остановке выходим на террасу, откуда открывается вид на море. От этой

террасы рукой подать до «Эрколано».

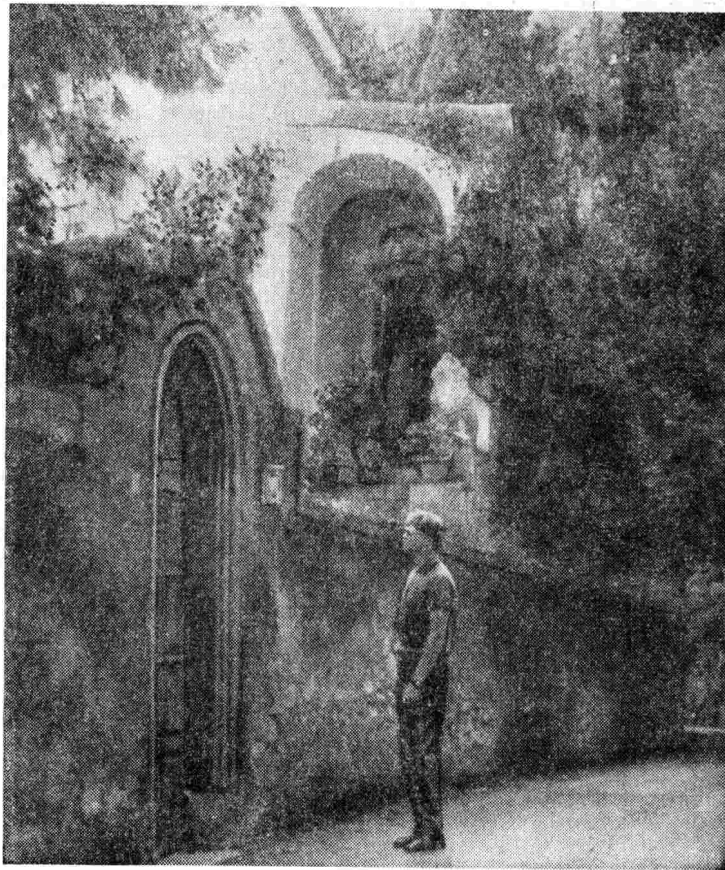
— Эх, была не была! — решаем мы с моим другом Володи Родиченко и направляемся к гостинице.

Пока я, выбрав удачное место, делаю снимки здания, он пытается расспросить о Горьком древнюю старуху, продающую цветы у входа в отель. Этот разговор привлекает внимание случайного прохожего — он небольшого роста, немолод.

— Синьор! Я знал русского писателя, — сказал он, назвавшись Антонио Скоппа. — Горький жил у нас многие годы и в разных местах. Я даже подарил ему двух попугаев.

На вопрос, не видел ли он Ленина, Скоппа ответил, что тогда к писателю из России приезжало много гостей. Но одного из них он узнал через много лет, увидев его на снимке играющим в шахматы на веранде у Горького.

— Мне сказали, что это был знаменитый Ленин.



По свидетельству старожилов, здесь жил Горький, когда у него гостил Ленин.

Фото автора.

Спешим догнать наших товарищей, возглавляемых неутомимой Адрианой. Она привела нашу группу к старому каменному забору, за которым виднелось белое двухэтажное здание, облепленное зеленым плющом. Ступеньки из красного кирпича вели на крыльцо. По бокам стояли кадки с цветами, а у дверей — две белые мраморные собаки. Хозяев не было видно.

По свидетельству старожилов, здесь жил Горький, когда у него гостил Ленин. Правда, нынешние хозяева реконструировали дом.

— Может быть, все-таки попробуем войти?

— Нельзя, частная собственность, — ответила Адриана и повела группу обратно на пристань. Уже близилось возвращение в Неаполь.

Так закончилось наше короткое свидание с Капри.

...В Москве я зашел в музей-квартиру А. М. Горького и рассказал о поездке на Капри Марфе Максимовне Пешковой, показал ей сделанные там снимки. Внучка великого писателя была на Капри вместе с сестрой Дарьей в 1958 году. Она сказала мне, что хозяин отеля «Эрколано» показал им комнату, где жил Горький, и небольшой столик, стоявший тогда у окна.

— А когда после осмотра гостиницы мы спустились на пристань, к нам подвели пожилого мужчину в рабочей одежде, вылезшего из лодки. Он оказался сыном Джованни Спадаро — того самого рыбака, который был дружен с Горьким и ездил на рыбалку с Лениным.

Помните? В очерке «В. И. Ленин» Горький приводит слова Спадаро об Ильиче: «Так смеяться может только честный человек».

Марфа Максимовна показала мне несколько старых снимков. На одном — Ильич играет на Капри в шахматы. За игрой наблюдают Горький и его гости. На другом — Горький с попугаем на плече. Может быть, одним из тех, которых подарил ему Антонио Скоппа?..

Сотрудники советского посольства в Риме рассказали мне, что муниципалитет острова Капри принял решение соорудить в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ильича монументальный обелиск. Проект его выполнен известным итальянским скульптором Джакомо Манну — лауреатом международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Обелиск будет открыт в апреле 1970 года.

Г. ХАЧКОВАНЯН

МОСТ ЧЕРЕЗ БЕРЕЗИНУ

Летом сорок четвертого года, преследуя отступающего врага, наша армия стремительно продвигалась на запад. Шли так быстро, что мы, летчики, едва успевали менять аэродромы. В день по несколько раз приходилось собирать экипажи, заставляя наносить на карты новые линии переднего края, чтобы по ошибке не ударить по своей же пехоте.

В один из дней, под вечер, меня вызвал к аппарату командующий воздушной армией генерал Руденко.

— Фашисты уходят за Березину, спешат. — Руденко помолчал немного, потом сказал с расстановкой: — Надо отрезать им путь. Тебе, Федоров, поручаем нанести удар по мосту. Не скрою — орешек крепкий. Фашисты понатыкали вокруг него уйму зениток. А в небе висят истребители. Удар надо нанести точно.

— Мы сделаем все, товарищ командующий, — заверил я генерала. — Задание выполним.

Вылет назначили с рассветом. Выруливали еще затемно. Первый удар наносила эскадрилья капитана Дельцова. Ей ставилась задача не только нанести удар по мосту, но и одновременно вскрыть всю вражескую оборону вокруг него. Только после этого должны были подняться в воздух остальные группы дивизии. С бомбардировщиками взаимодействовали истребители 1-й гвардейской авиационной истребительной дивизии, которой командовал в то время полковник Сухорябов.

Восьмерка «Лавочкиных» пристроилась к группе Дельцова на маршруте. Так было заранее условлено. Погода стояла для нас совсем неподходящая. На небе ни облачка. Куда ни бросишь взгляд — густая, еще не остывшая от вчерашнего зноя синь. Видимость казалась беспредельной, что давало возможность противнику обнаружить наши самолеты задолго до их подхода к реке и переправе.

Так оно в действительности и произошло. Едва группа Дельцова приблизилась к цели, как по ней открыли ураганный огонь зенитные батареи. Земля вся светилась вспышками, а вокруг и над головой росло число черных шапок — следов разрыва снарядов. Выйти на прицельное бомбометание нет никакой возможности. Небо становится черным от разрывов.

С борта самолета Дельцова на КП поступает радиогамма: предлагаю позскадрильно атаковать первое кольцо зенитной защиты моста по всему периметру. Через сорок минут мы были над Березиной. Район моста весь в дымах от разрывов бомб. Первый пояс противовоздушной обороны противника замолчал! Но два других ведут ураганный огонь.

За светлое время суток мы произвели более двухсот самолетов-вылетов. Но мост продолжал стоять.

Еще прошли сутки, вторые в безуспешных наших атаках. Всякий раз, как «петляковы» ложились на боевой курс, на их пути возникала сплошная огненная стена, самолеты бросало вверх, штурвалы вырывало из рук. За зенитным заслоном ни прицелиться, ни спикировать!..

На третий день утром — совещание командиров эскадрилий, звеньев и экипажей. Все угрюмы, усталы.

Командир полка обращается к Дельцову:

— А что, Паша, если повторить маневр, который ты произвел на Курской дуге?.. Помнишь, когда, прижатый к земле облачностью, ты все же удержал машину на боевом курсе. Тогда ты бомбил с двухсот метров, кажется?

— Чуть пониже, — отзывается Дельцов. — Но и самолет весь в пробоинах был от осколков собственных бомб!..

— Бывает, бывает, — растягивая слова, говорит командир полка. — Иного выхода тогда не было. Вот и сейчас такой же случай.

Он молча обводит взглядом сидящих перед ним летчиков.

— Что ж, друзья, повторим опыт Дельцова? А?

Дельцов встает.

— Разрешите, товарищ подполковник, первому сделать это...

— Разрешаю, — отвечает командир полка.

Через двадцать минут дельцовская девятка набрала высоту две тысячи метров. Сверху и с флангов подстроились истребители прикрытия. Скоро обозначилась линия фронта. К четкому строю бомбардировщиков немедленно потянулись трассы зенитного огня. Черные шапки разрывов снарядов видны всюду. Но пилоты выдерживают заданные высоту, скорость и курс. По мере приближения к Березине заградительный огонь становится все плотнее. Штурманский глаз отметил злосчастную ниточку моста. Огонь превращается в шквальный.

Не дрогнув, «петляковы» и сопровождающие их истребители нырнули в сплошную черноту дыма. Ведущий выпускает тормозные решетки, и первое звено входит в пики. Отчетливо видны скопления мотопехоты и боевой техники врага, устремляющихся в одном направлении, к мосту.

Самолет Дельцова быстро теряет высоту: 1 800... 1 500... 1 200... 900... 600... 400...

Пальцы на кнопке бомбосбрасывателя — и... рывок! Экипаж, прижатый к креслам подъемной силой, видит: вблизи моста взметнулся столб земли. Набор высоты. Стремительный разворот... И Дельцов вновь обрушивает на мост серию 250-килограммовых бомб. Потанув штурвал на себя, командир в рассеивающемся дыме отчетливо увидел, как сквозь мостовое покрытие проступила вода: ферма второго пролета обрушилась!

— Радист! — закричал командир старшине В. Попруге. — Передай на землю: мост взорван, идем на колонну мотопехоты!

Вдруг кабину ослепило. Самолет бросило в сторону, и штурвал вырвался из рук. Павел поймал его, потянул на себя со всей силой, но рули не слушались. Машина стремительно проваливалась.

— Экипаж, прыгать! —скомандовал Дельцов.

Когда он повис на стропах, то увидел охваченный пламенем свой самолет, а дальше — друзей своих, повисших, как и он, на стропах парашютов. Ветер относил их, как ему показалось, в сторону своих войск. Это обрадовало. Но вскоре Дельцов с ужасом обнаружил: ошибся... От шоссе к тому месту, где он должен был приземлиться,

бежали солдаты в мышиного цвета мундирах.

«Плен? Никогда!» — И рука летчика нащупала вороненую сталь пистолета. Парашют задерживает его над головами врагов и мягко приземляет позади них, метрах в шестидесяти... И когда из-за гаснущего купола появляется фашистский автоматчик, Павел стреляет в него. Еще два выстрела настигают двух фашистов. Дельцов бросается бежать. Преследователи не стреляют. Двое бросаются наперерез. Павел прицелился. Спуск... Сухой щелчок бойка — кончились патроны. И в этот момент фашист бросается к нему под ноги.

Над ним куча разгоряченных тел. Резкий удар кованого каблука валит Павла навзничь. Он обхватывает голову руками и, сжавшись в комок, ждет новых ударов... Но их почему-то нет. Наступает вдруг тишина!..

Превозмогая боль, в полубессознательном состоянии Дельцов с трудом приоткрывает глаза и видит удирающих преследователей. В недоумении оглядывается кругом, переводит взгляд вверх.

— Родные мои!..

Над самой землей, ожесточенно поливая врагов пушечно-пулеметным огнем, проносятся штурмовики «Ильюшины».

Павел приподнимается. На глазах слезы. Сначала он побрел медленно, затем бегом. Вот и опушка леса... Но... силы изменяют: он валится на землю, лежит, раскинув руки, тяжело дыша. Он слышит топот ног, но нет сил посмотреть, свои это или чужие.

Земля вздрагивает. Летчик открывает глаза. В небе мчатся родные «пешки». Он вспоминал: недалеко мост. Значит, однополчане продолжают его обрабатывать. Пошатываясь, Дельцов с трудом побрел в глубь леса. Достигнув противоположной опушки, увидел, как орудийный расчет прилаживает пушку. И вдруг услышал русскую речь:

— Хлопцы, приказано снимать! Обед — на новой позиции.

Дельцов от счастья заплакал. Он готовился к переходу линии фронта, а фронт, оказывается, сам пришел к нему на эту опушку. Летчик поднялся во весь рост, вытер пот с лица и пошел к своим.

Через двое суток он вернулся в полк. Его боевые товарищи-комсомольцы старший лейтенант Анатолий Тимофеев и старшина Виталий Попруга навечно остались в сырой земле у моста через реку Березину: фашисты пулеметной очере-

дью варварски расстреляли отважных советских летчиков, когда они спускались на парашютах.

Много лет спустя гитлеровский генерал Гудериан в своих мемуарах, анализируя причины столь сокрушительного разгрома фашистских войск, искал всякие причины неудач. То брался за бухгалтерию и начинал подсчитывать соотношение сил на фронтах, то обвинял фюрера и верховное командование в допущенных ими грехах. Но он никак не хотел признать, что главная причина сокрушения фашистской Германии, ее вооруженных сил — беспримерные стойкость и героизм советских солдат, офицеров, всего нашего народа.

Герой Советского Союза Павел Андреевич Дельцов — один из тех, кто приблизил День Победы. Он был на фронте до последнего дня войны. Совершил 289 боевых вылетов. На фронте стал коммунистом. А когда отгремела война, еще долго учил летному мастерству, мужеству и благородству молодых авиаторов. Дельцов одним из первых освоил реактивный скоростной бомбардировщик. Он совершенно свободно летал в темную ночь, в ярких лучах прожекторов, в облаках, над морем, на всех высотах и режимах.

Выйдя в отставку, Павел Андреевич осел с женой и детьми в поселке Нерль, Ивановской области. Но не мог он без работы и вот пошел на хлебозавод слесарем-электриком. Мой старый фронтовой друг был самым уважаемым человеком в Нерли. Он возглавлял родительский комитет школы, был председателем поселкового Совета.

В прошлом году в канун Дня Победы я получил от него письмо с поздравлениями, а той же ночью — телеграмму от его дочери Веры: «Папа умер, похороны десятигого»...

Прощай, друг!

Но имена героев живут в памяти потомков. Так будет вечно жить имя и Павла Андреевича Дельцова. Ивановский городской Совет депутатов трудящихся присвоил его имя железнодорожному училищу, которое в свое время окончил Дельцов. Одна из улиц поселка Нерль также носит теперь имя Павла Дельцова.

А. ФЕДОРОВ,

бывший командир 241-й бомбардировочной авиационной Речицкой ордена Кутузова дивизии, доцент, кандидат исторических наук.

БАБОЧКА ДАРВИНА ПРИЛЕТЕЛА В УХТУ

Кирилл Седых мечтал быть ученым и путешественником. Но учиться пришлось заочно. Потом он стал школьным учителем — преподает сейчас биологию в школе № 3 города Ухты, Коми АССР.

И он все же стал путешественником: исходил весь Полярный Урал, Тянь-Шань, Памир. На Урале открыл новый подвид бабочек — парнассиус мнемозине тиманикус, в Тянь-Шане обнаружил новую горную форму — парнассиус аполло талгарика. Один из подвидов ангарской перламутровки он не считал открытием и послал коллеге-энтомологу в Чехословакию. Тот обнаружил, что этот подвид также ранее не был известен, и назвал его ангарской перламутровкой Седых. Под таким названием бабочка и вошла в научную литературу. Он стал и ученым — уже сдан в печать том «Беспозвоночные Коми АССР» и по предложению казахских коллег написана работа «Дневные бабочки Казахстана». А позапрошлым летом Кирилл Седых был делегатом Международного конгресса в Москве.

При всем этом Кирилл Федорович Седых — отличный педагог. Свою коллекцию он передал школе (его убеждение: «Время частных коллекций проходит»), она легла в основу школьного зоологического музея. Вокруг музея — постоянный круг ребят, для которых биология стала самым любимым предметом. Музей в школе огромный, есть в нем и звери, и птицы, и рыбы, а коллекцию морских моллюсков ребята собрали, не выезжая из своей сухопутной Ухты. Они извлекли их из желудков рыб, купленных в магазине. В одной рыбине даже маленький кальмар попался, хорошей сохранности.

Сейчас в музее (а эмблема его — трудолюбивый муравей) появился лев: чучело подарил ребятам Ленинградский зоологический музей. Староват, правда, царь зверей, тронут молю, но в северном городе ему обеспечено почетное место.

Но самая впечатляющая коллекция школьного музея, конечно же, коллекция дневных бабочек. Взамен тех бабочек, которых Седых

послал в Британский музей, ему прислали из Лондона много редких и красивых экземпляров и среди них бабочку, пойманную Чарльзом Дарвином, и еще одну, пойманную знаменитым биологом Альфредом Уоллесом. Коллекция бабочек насчитывает около четырех тысяч экземпляров! А всего в отделе насекомых музея около восьмидесяти тысяч экспонатов! Собирая музей, ребята совершают со своим учителем увлекательные путешествия, побывали, например, в Уссурийской тайге.

Несколько лет назад в Ухте открылась «Малая академия наук», на десяти факультетах которой сейчас занимаются около пятисот школьников. А биогеографический факультет работает при школьном музее, которым руководит Седых.

Одним из инициаторов создания «Малой академии» в Ухте, кроме Кирилла Федоровича Седых и за-

служенного врача РСФСР Евгения Ивановича Харечко, был доктор геолого-минералогических наук Андрей Яковлевич Кремс. И званий и должностей у него достаточно, но когда ему предложили стать президентом «Малой академии», согласился сразу же:

— Школа дает детям свод установившихся знаний и недостаточно развивает у них стремление к творчеству, недостаточно знакомит с проблемами нерешенными, спорными, — говорит А. Я. Кремс. — Так вот, наша «академия» пусть временный, домодельный, но, я считаю, эффективный способ исправить этот недостаток. И вы знаете, может, это и вызовет улыбку, но я горжусь званием президента детской академии.

После разговора с Кремсом я шел по улицам молодого города, и думал, что хотя и нет здесь пока мемориальных досок, но они обязательно появятся. Кирилл Федорович Седых, во всяком случае, в этом твердо уверен. В школе среди портретов великих биологов он повесил пустую раму с надписью: «Здесь будет помещен портрет великого биолога, который выйдет из нашей школы». Это поступок оригинала, но молодой город Ухта — за оригиналов!

Б. ХОЛОПОВ



Кирилл Седых среди экспонатов своей коллекции, которую он передал в школьный музей.

Фото В. Лагранжа.



Василий Чичков

КАК ДОБЫВАЮТ ЗОЛОТО...

Моя работа над сценарием фильма «Трудные старты Мехико» уже позади. Фильм вышел на экраны, и теперь его судьба зависит от воли зрителя.

Но, наверное, как и у многих писателей, сотрудничавших в документальном кино, у меня осталось чувство неудовлетворенности. В документальном кинематографе не всегда удается высказаться сполна, раскрыть психологию героя, его внутренний мир, да и просто пофилософствовать о том, что происходит с героем за кадром.

Это и заставило меня взяться за перо. Я предлагаю читателю рассказы о Леониде Жаботинском и Борисе Лагутине.

ЛЕОНИД ЖАБОТИНСКИЙ

Жаботинский в олимпийской деревне — получив золотую медаль, он в благодушном настроении.

Кадр из фильма «Трудные старты Мехико».



С Жаботинским я познакомился в Дубне, где тяжелоатлеты готовились к Олимпийским играм. Я приехал в Дубну вместе с операторами, чтобы приглядеться к будущим героям Олимпиады.

Жаботинский стоял передо мной как гора, хитро смотрел на меня и жал руку. У него рука большая и мягкая.

— Значит, кино снимать будете, — уточнил Жаботинский. — И мы должны быть артистами?

— Выходит, так.

Лицо Жаботинского вдруг стало серьезным.

— Василий Михайлович, у тебя что-то в глазу, — сказал он.

Я протер глаз.

Жаботинский сделал огромную фигу и показал мне.

— Видишь? Вот какие из нас артисты.

Он был доволен своей шуткой и смеялся, вздрагивая мягким животом до тех пор, пока слезы не появились у него на глазах.

Потом мы гуляли по берегу Волги. С нами шли Куренцов, тренер и доктор. Жаботинский жаловался доктору, что у него болит бок, что ему не дают есть, на одном кефире держат. Все это не вязалось с обликом самого сильного человека в мире — разве может у него что-нибудь болеть? И может ли такой гигант питаться кефиром? Но, оказывается, может и должен. У него задача — потерять шесть килограммов.

— Расскажи нам, как там в Мексике? — попросил Жаботинский.

Мы присели на траве. Я рассказывал о Мексике, где прожил несколько лет, будучи корреспондентом «Правды». Жаботинский сидел, слушал, и на его лице отражались десятки чувств: то мелькнет грусть, то радость, то опять появится недоверчивый, с хитринкой взгляд: «Может, все это и не так, привираешь. Но у тебя складно получается. Давай дальше».

— В Мексику на Олимпиаду приедут сильные ребята, — сказал я. — Как, победишь?

— Приходи на мою тренировку — увидишь.

Тренировка тяжелоатлетов — зрелище очень внушительное. Масса металла и человек. Конечно, в наш век есть подъемные краны, которые поднимают сколько хочешь килограммов, и вроде бы зачем этим делом заниматься человеку...

Стоит Жаботинский, и перед ним железная штанга в сто с лишним килограммов. Он берет ее в руки и делает с ней, что хочет. У него это выходит легко и просто. Он ее поднимает лежа, сидя, стоя. Он поднимает ее столько раз, что в общей сложности набираются тонны.

И вот уже пот льется струйками с его лица. Он тяжело дышит. Он просто изнемогает под тяжестью металла. Он ведет борьбу с этим металлом, борьбу молчаливую, упорную. И никто не знает, как Жаботинский относится к этому металлу. То ли он его друг, то ли он видит в этих толстых железных дисках своего лютого врага.

Жаботинский делает несколько глотков воды и снова неторопливо натирает руки магниезией, чтобы вцепиться в штангу. Тренер Фима Айзенштадт дает советы. И снова и снова взлетает штанга вверх и с грохотом падает на помост.

Когда я появился в олимпийской деревне в Мехико, первым, кого я увидел, был Жаботинский. Он стоял, облокотившись на крыло автомобиля, и занимался «ченчем» — менял значки, монеты, всякие безделушки.

Вместо приветствия Жаботинский вынул из кармана горсть значков и спросил:

— Видишь?

Этот большой человек любил «ченч», отдавал ему все свободное от тренировок время. К Жаботинскому обратились французские кинооператоры с просьбой поднять на одной руке рулевого с лодки-восьмерки, который весил всего 40 килограммов.

— Ну, зачем я буду силу тратить? — ответил Жаботинский.

Тогда один француз вынул из кармана красивый значок и сказал:

— Ченч. Вы поднимите, а я вам значок.

— Ченч годится. Я подниму один раз, а ты два значка. Идет?

Француз отдал два значка, и вскоре рулевой с восьмерки стоял на вытянутой руке Жаботинского, как на крепком уступе скалы...

Американец Пиккет заявил в канун Олимпиады, что он обязательно побьет Жаботинского в Мехико и затем покинет помост.

Когда журналисты сказали об этом Жаботинско-

му, он неторопливо и старательно сложил три пальца...

И вот настала минута испытания. Первым на помосте появился Пиккет, бурей оваций встречает его зал. «Ну как же, он обещал побить самого Жаботинского!» Высокий сильный американец подходит к снаряду. Жим. Не получился у Пиккета жим. Поднимая штангу, он на мгновение оторвал пятки от пола.

Пиккет подходит к снаряду второй раз. Сейчас он поднимет штангу — ведь это его «коронный номер» — жим. И опять неудача. Очевидно, произошел психологический надлом. Пиккет разуверился в себе. Он не мог по всем правилам выполнить жим. А третий раз случилось непоправимое. Пиккет выбыл из игры.

В тяжелой атлетике, наверное, тактика занимает не меньшее место, чем, скажем, в беге или боксе. Жаботинский еще не вышел на помост, а уже играет. Чем дольше не выходит на помост Жаботинский, тем больше волнуются соперники. Жаботинский пропускает вес, над которым они бьются, взятие которого тратят силы. В какой он форме, Жаботинский, никто не знает. А может, он тоже провалится с первого же выхода. Вес на штанге все увеличивается.

Наконец объявляют: «Жаботинский, Советский Союз». Неторопливо, вразвалочку выходит наш чемпион.

Он подходит к штанге, смотрит на нее. По всему чувствуется, что в этом зале, где так много людей, Жаботинский видит и ощущает только ее — штангу. Он расслабил тело, стоит и смотрит в зал, смотрит невидящими глазами.

На штанге 200 килограммов. Это больше олимпийского рекорда, принадлежащего Юрию Власову.

Жаботинский решительно затягивает пояс, приседает и, по-прежнему глядя в зал, ощупывает железный гриф штанги. Вот руки его вцепляются в металл, на лице решимость.

Штанга взлетела на грудь. И теперь в могучих руках Жаботинского она плывет вверх. Новый олимпийский рекорд.

Жаботинский под аплодисменты зала покинул помост и сидит в раздевалке, на скамейке, и опять у него глаза с хитринкой: посмотрим, дескать, что дальше предпримут соперники.

Американец Джон Дьюб радостно прыгает на помосте — он тоже выжал 200 килограммов.

Борьба обострилась. Во втором движении Дьюб успешно справляется с весом в 145 килограммов. Наконец, на штанге 150 килограммов. Дьюб оказывается слаб... Штанга падает.

И опять появляется Жаботинский. Он просит поставить 170 килограммов.

Зал сначала затих. Потом послышался скрип стульев. В тишине зрители усаживались поудобнее.

Жаботинский глубоко вздыхает несколько раз и отчаянно тянет штангу. Металлические диски взлетают вверх, будто подброшенные стальной пружиной.

Теперь нужно удержать громадину над головой. Она тянет нашего богатыря влево, вперед.

— Оп, оп, оп! — громко произносит Жаботинский, и штанга замирает над его головой.

Теперь Жаботинский может спокойно сидеть в своей раздевалке в ожидании очереди. Он оторвался от Дьюба на 25 килограммов.

Дьюб понял, что ему не догнать Жаботинского, но он уверен в своей серебряной победе. И тут Дьюб допускает второй просчет. Он не замечает, как медленно, но верно к серебряной медали движется бель-

гнец Рединг. В третьем движении вес штанги доходит до 202,5 килограмма.

— Жаботинский, Советский Союз,— объявляет судья.

Он опять медленно трет руки магниезией и отрешенно смотрит в зал. И это его состояние заставляет зрителей верить в его успех. Заставляет верить в то, что этот человек властен над своим могучим телом. Жаботинский легко берет 202,5 килограмма. Он держит штангу над головой и улыбается. Судья хлопает в ладоши. Жаботинский бросает штангу. Расстегивает ремень и снимает его на ходу. Никто не в силах дognать его.

Но азарт Рединга нарастает. Он не хочет отдавать Дьюбу серебро. Дьюб доводит вес штанги до 210 килограммов и успешно толкает этот огромный вес. А Рединг просит поставить вес в 212,5 килограмма. Неподалеку от меня сидят мать, жена, отец Рединга — они волнуются за своего «малыша». А «малыш» подходит к снаряду и толкает 212,5 килограмма. Бросив снаряд, он прыгал на помосте, действительно как малыш.

Казалось бы, все ясно. Жаботинский — первое место, Рединг — второе и Дьюб — третье. Но публика ждет. Уж если Жаботинский завоевал первое место, то он должен выйти и попытаться поднять тот вес, который взяли Дьюб и Рединг. Олимпийскому чемпиону остановиться на 202,5 килограмма?

Все ждут. Но Жаботинский не выходил на помост. Судья объявил: «Леонид Жаботинский, Советский Союз, выступать не будет».

В зале поднялся свист, зрители топают ногами. Мне обидно за Жаботинского. В Токио он поднял 217,5 килограмма. А этот вес на помосте много легче и есть еще две попытки!

Публика неистовствует. А Жаботинский сидит в своей раздевалке вместе с тренером Фимой Айзенштадтом и, наверное, хитро улыбается, а может, из трех пальцев фигуру делает, приговаривая: «Штангу поднять — это не кавун съесть. Золотая медаль-то у меня в кармане, чего это я буду лишний раз корчиться».

Может, это называется «тактикой сбережения сил»? Но мне в эти минуты ярого свиста зрителей в адрес Жаботинского виделась добрая улыбка Юрия Власова, который никогда не действовал на помосте по голому расчету. Он всегда был движим спортивным азартом и вдохновением.

Пресс-конференция, которая началась вскоре после вручения медалей, была очень внушительной. За столом сидели три богатыря: Жаботинский, Рединг и Дьюб. Казалось, эти трое занимают весь зал. Шутка ли сказать, общий вес «этих троих» больше четырехсот килограммов.

Первые вопросы журналистов Жаботинскому:

— Почему вы не использовали две последние попытки?

— Я приехал бороться за первое место,— ответил Жаботинский.— Ставить рекорды я могу и дома.

— Победят ли вас на следующих играх?

— Просто так не сдамся,— говорит Жаботинский.

Олимпиада уже заканчивалась, когда я предложил операторам Дмитрию Гасюку и Борису Головне поехать с Жаботинским и, скажем, Кучинской на площадь Гарибальди. Там всегда полно народа, там собираются мексиканские музыканты марьячис. Встреча на Гарибальди могла быть очень впечатляющей.

Я приехал в олимпийскую деревню и увидел Жа-

ботинского на его любимом месте напротив входа в дом советской делегации. Он стоял, как всегда, облокотившись о крыло автомобиля, и делал свой любимый «ченч». Очевидно, после того, как он получил золотую медаль, число желающих обменяться с ним сувенирами увеличилось. Ленья был в благодушном настроении.

— «Ченченем» что-нибудь? — спросил он.

И, оглядев меня с ног до головы и увидев на моей груди значок со словом «Пресса», взялся за него своей большой рукой.

— Ничего вещича. Давай махнем.— Ленья вынул из кармана разные сувениры.

— Не могу,— ответил я.— Без значка меня никому не пустят.

Ленья еще зачем-то потрогал значок. Посмотрел, как он крепится на пиджаке, и сказал: «Ладно».

Я высказал Жаботинскому замысел нового эпизода фильма, думая, что он обрадуется.

— Неохота,— сказал Ленья,— устал я.

— Так тебе же на Гарибальди не штангу поднимать,— возразил я.— Отдыхать будешь.

Он промолчал.

— Кучинскую пригласим,— не унимался я.— Ты и рядом Наташа. Здорово.

— Если Кучинская поедет, то я тоже поеду,— наконец сказал Жаботинский.

Я помчался искать Наташу. Девушки жили в отдельном доме, который называли «женский монастырь». Этот дом был обнесен высоким забором из металлической сетки, и пробраться туда мужчине было просто невозможно. У ворот стояла женская охрана с винтовками. Даже муж и жена Воронины должны были расставаться у ворот. Конечно, никакие мои мольбы не имели успеха. Но тут я случайно увидел Наташу на улице.

Она смотрела на меня голубыми глазами, внимательно слушала и просто сказала:

— Я согласна. Но надо спросить разрешения у Латыниной.

Мы нашли Ларису Латынину, и через две минуты все было решено. Мы весело шагали с Наташей к Жаботинскому. Он стоял по-прежнему на том же месте, опираясь о крыло автомобиля.

— Быстро все это ты сделал,— сказал мне Жаботинский.— Ну ладно. Пойду переоденусь.

И медленно, вразвалку ушел.

Прошло десять минут. А Жаботинского все не было. Пятнадцать. Он не появлялся. Я поднялся в его комнату. Жаботинский лежал на кровати.

— Ленья. Мы ждем тебя. Наташа ждет, я, операторы.

— Не могу,— ответил он, не поднимаясь с постели.— Вот сейчас стал ботинки надевать, наклонился. Голова закружилась. Я подумал: зачем мне ехать?

Я ушел. Мне было неловко перед Наташей.

И все-таки я не бросил идею создать задуманный эпизод. Попросил руководство делегации о помощи.

Через день вечером я снова приехал в олимпийскую деревню и увидел Жаботинского на своем «ченчевом» посту напротив входа в корпус 8.

— Как здоровье, Ленья? — спросил я прежде всего.

— Болит,— ответил Жаботинский и как-то неопределенно показал на грудь.— А ты на меня руководству жалуешься?

— Прошу, а не жалуюсь. Ленья, ты сам пойми — на экране тебя увидят миллионы людей. Поедем.

— А Кучинской сейчас в деревне нет!

— А я уже пригласил композитора Александру Пахмутову и поэта Добронравова. Видишь, они идут.

Аля Пахмутова со свойственным ей ребячьим задором сказала:

— Леня, как тебе не стыдно! Иди скорее, одевайся.

— Ну, если композитор едет, я согласен.

Леня ушел неторопливо, как прежде. Не прошло и пятнадцати минут, как он вышел из подъезда в парадном костюме.

Жаботинский сидел со мной в первой машине. Остальные следовали за нами. По широкой улице Инсургентес машины мчатся в восемь рядов. Мы же ехали не торопясь. Машины обгоняли нас. Но вот одна из них вдруг сбавила скорость и поравнялась. Водитель оторвал от руля руки и сделал движение, будто он поднимает штангу. «Вива Русия!» — крикнул водитель.

Впереди зажегся красный свет, и как только замерло движение, из соседней машины выскочила девушка, подбежала к Жаботинскому, поцеловала его и оставила ему на память свой батистовый платочек. Жаботинский был явно смущен столь искренним проявлением чувств.

Машины рванулись вперед. Кто-то из шоферов назвал на класк: та-та! И все машины стали сигналить: та-та! В такт этому звуку мексиканцы стучали ладонями по кузовам своих автомобилей, по крышам.

Этот звук, как волна, катился впереди нас, и это означало по-мексикански, что в какой-то машине едет знаменитый человек. С соседних улиц сбегались люди, чтобы взглянуть на этого человека. У светофора мексиканцы окружали нашу машину — они хотели получить автограф у Жаботинского. Они подавали в окошко записные книжки, коробки сигарет, обрывки газет, а какая-то девушка умоляла Жаботинского расписаться на ее белой туфле.

А звук «та-та» катился впереди нас. Он уже достиг площади Гарибальди. И когда Жаботинский вышел из машины, его увидели все. Он был намного выше всех и походил на монумент.

Кто-то крикнул: «Вива Жаботинский!» И вся площадь скандировала: «Вива Жаботинский!»

С разных сторон бежали люди. Все хотели дотронуться до Жаботинского, а наиболее ретивые пытались залезть на него. Леня смахивал людей с плеч и медленно, как линкор, двигался к группе марьячис.

Операторы включили юпитеры, и волнение на площади еще больше усилилось. Мексиканцы рванулись на свет. Какая-то девица пробралась к Жаботинскому и закричала: «Бесаме!» — «Целуй меня!»

Вся площадь подхватила: «Бе-са-ме!»

— Чего они хотят? — зычно спросил меня Жаботинский.

— Целуй ее! — крикнул я.

Леня поцеловал девушку.

Теперь толпа скандировала:

«Бе-са-ле!» — «Целуй его!»

Девушка не заставила долго упрашивать себя. Она приподнялась на носки, поцеловала Жаботинского и громко, счастливо засмеялась.

Я с трудом отыскал в толпе Александру Пахмутову и пробился с ней к Жаботинскому.

Заиграли марьячис, затрещала кинокамера. Однако мексиканским юношам, как видно, не было дела до марьячис и до кинокамеры. Они во что бы то ни стало хотели приблизиться к Жаботинскому. Приятели подняли на руках какого-то парня. Он взъерошил чемпиону волосы. Другой парень снял со своей головы огромное мексиканское сомбреро и надел на Жаботинского. Леня терпел, но по

лицу его было видно, что терпению приходит конец.

Вдруг среди грома труб послышался девичий голос. Отталкивая марьячис, девушка устремилась к Жаботинскому, распахнула на груди платье и потребовала:

— Автограф.

Леня смотрел, не понимая, а потом, так же не понимая, вынул шариковую ручку и написал ей на груди букву «Ж».

Девушка подпрыгнула от радости и исчезла в толпе.

Толпа напирала все больше. У какого-то марьячис хрустнула гитара, и он жалобно застонал, будто хрустнули его собственные кости.

— А ну, посторонись! — кричал я, потому что операторам не было видно Жаботинского и Пахмутову.

В этот момент на моих глазах Жаботинский поднялся над толпой. Парни, стоящие вокруг, решили покачать штангиста, вес которого — полтора центнера. Они подняли чемпиона на руках.

— Кончай это дело! — испуганно закричал Жаботинский. — Гаси свет!

Операторы погасили юпитеры. Над площадью сомкнулась темнота. Жаботинский пробирался к машине.

Он тяжело опустился на сиденье, захлопнул дверь и стал держать ее изнутри, чтобы никто не открыл.

Я сел за руль, включил скорость, но машина не двигалась. Толпа приподняла автомобиль, и задние колеса беспомощно крутились. Два парня забрались на крышу автомобиля и под крик «Мехико ра-ра-ра!» отплясывали там какой-то танец. Я высунулся из окна и крепко выругался по-испански. Это охладило энтузиазм собравшихся, и колеса автомобиля наконец соединились с асфальтом.

Я неистово сигналил, пробивая дорогу. А кругом по-прежнему слышались крики, свист и скандирование: «Вива Жаботинский!» Наконец машина вырвалась из плена. Проехав несколько кварталов, я остановил машину. Следом за мной встала вторая машина. Все вышли и свободно вздохнули.

— Да, Леня, — сказала Пахмутова. — Любят тебя мексиканцы!

Жаботинский молчал. Он долго причесывался, неторопливо застегивал пиджак и вдруг стал шарить по карманам. Потом он посмотрел на нас каким-то мрачным взглядом и сказал:

— А бумажника-то нет!

— Вот это да! А что в бумажнике было?

— Шоферские права, ну и там разная мелочь. — Жаботинский гневно посмотрел на меня. — Это ты виноват. Художественный эпизод придумал.

Он решительно направился ко второй машине и приказал шоферу ехать в олимпийскую деревню.

Я вернулся на площадь и нашел полицейского.

— Сейчас здесь был Жаботинский, — сказал я. — Как-то нехорошо получилось. У него бумажник пропал.

— У Жаботинского? У самого сильного человека в мире? — переспросил полицейский.

— Бумажник пропал.

— Вот это да! — вдруг радостно воскликнул полицейский. — Вот это сувенир — бумажник Жаботинского! Цены ему нет, сеньор!

Спортивное счастье не вечно...

Прошедшей осенью на чемпионате мира в Варшаве корреспондент французской спортивной газеты «Экип» увидел самого сильного на земле человека

совсем в ином свете: «Перед нами качающаяся фигура мощного Жаботинского...»

А тот самый американец Дьюб, который в Мехико отставал от Жаботинского почти на двадцать килограммов, превысил в Варшаве свои прежние результаты и стал чемпионом мира.

Мне стало обидно. Пусть бы Жаботинский был вторым, третьим... Спорт есть спорт. Но он вообще не завершил борьбу. Оказывается, Жаботинский «к

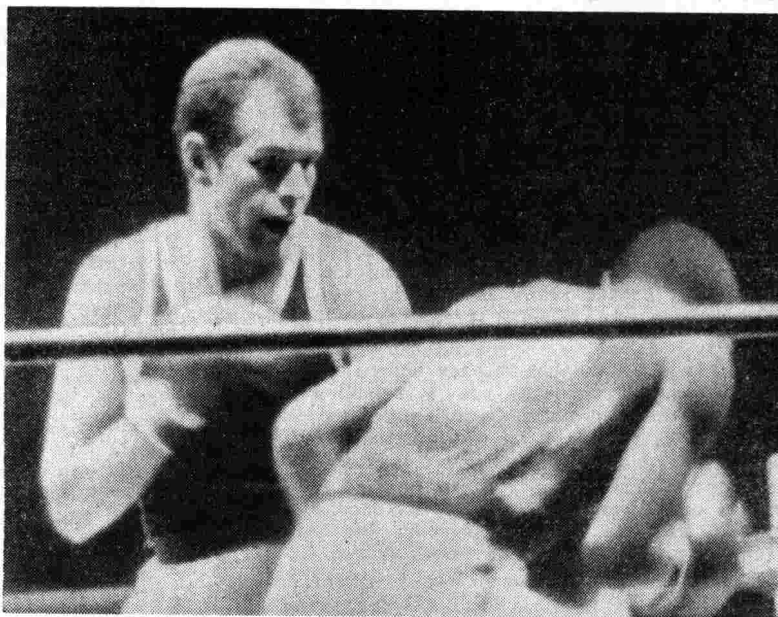
выступлению на Варшавском чемпионате не сумел подготовиться ни физически, ни морально» — так писал в «Советском спорте» заслуженный мастер спорта Д. Иванов.

Вернет ли Жаботинский звание чемпиона мира? Иванов полагает, что «вернет, если в нем заговорит честолюбие». Лично я верю, что если речь идет о честолюбии, то Леонид Жаботинский сможет и впредь добывать золото.

БОРИС ЛАГУТИН

Лагутин ведет финальный бой с Гарбеом.

Кадр из фильма «Трудные старты Мехико».



Как-то в Цахкадзоре, на предолимпийском сборе, я зашел в бильярдную. Там играли двое. Один был высок, широк в плечах, в нем я сразу признал толкателя ядра Гущина. Другой был худощав, голова чуть наклонена вперед...

— Вы меня узнали? — спросил он. — Я Борис Лагутин. Мы же с вами в одном доме жили. Вы в третьем подъезде, я во втором — на Пресне, Волков переулок.

Только теперь в этом знаменитом боксере, лицо которого я не раз видел на экране телевизора и кино, я распознал того самого мальчишку Борьку, худенького, с длинными руками, который вместе с другими ребятами жался в подъезде с тайной папирской в руке... Весной, как только появлялась талая земля, он играл вместе со всеми в расшибалку под окнами нашей свирепой общественницы Авдеевой и часто получал подзатыльники от ребят.

— Боря, — сказал я, глядя на него. — Ведь ты не отлыничал силой, Боря.

— Точно, — ответил Борис. — Но когда мне давали подзатыльники, мне хотелось быть сильным.

Чем дальше я всматривался в лицо Лагутина, тем ярче вырисовывался подросток Борька, а за ним вставал наш родной дом на Пресне, из которого я переехал уже много лет назад, когда Борька еще не был Борисом Лагутиным.

— Мне было, наверное, лет тринадцать, когда я особенно обиделся на Хрюню, — говорил Борис. —

Помните, такой здоровый лоб, из первого подъезда. Дал он мне подзатыльник и пошел как ни в чем не бывало. Утром закрылся я на кухне, взял два утюга, свой и соседский, и стал упражняться. Подниму раз сорок, потрогаю мышцы, кажется, крепче становятся. Может, этого и не было на самом деле. Но уверенность появлялась. Как-то Хрюня дал мне по шее, а я ему ответил. Он побил меня здорово, но больше не приставал.

Я прикинул в уме, насколько я старше Бориса — на тринадцать лет. Значит, когда ему было тринадцать, мне двадцать шесть. Конечно, мальчишки лучше знают биографии «стариков» из своего дома, чем «старики» биографии мальчишек.

Я теперь только узнал, что Борис кончил семь классов и, так как ему учиться «надоело», пошел в ФЗУ. И опять новые ребята вокруг. Нет, положительно плохо быть хилым парнем. Всякий норовит тебя задеть. И всем надо доказать, что ты только с виду хилый, а так вообще-то ничего. И когда однажды Борис увидел на стене в проходной ФЗУ объявление «Записываем в секцию бокса», то решил не то что стать боксером, но чтобы ребята хотя бы знали, что он занимается боксом.

— Пришел к тренеру. Тренер обвел взглядом и говорит: «Хиловат ты, парень. Для бокса не подходишь!» — а я ему слезно: «Попробуйте, может быть, что-нибудь выйдет. Я только с виду такой...»

Смешно, конечно, теперь слышать из уст олимпийского чемпиона такие слова. Борис перехватил мою улыбку и тоже улыбнулся.

Я подумал, что, наверное, у каждого от рождения есть свой комплекс неполноценности. У одного трусость, у другого медлительность, третий слаб здоровьем... Трудно перечислить все, от чего страдают юноши и что они хотят преодолеть. А преодолеть это необходимо для того, чтобы чувствовать себя уверенно в жизни, среди товарищей и чтобы нравиться девушкам в конце концов.

Однако не всем удается выбрать правильный путь для самоутверждения. Не у всех хватает мужества для того, чтобы выполнить намеченное. Но некоторые добиваются чудесного превращения, как в сказке: из хилого подростка в чудо-богатыря, из трусоватого мальчика в храброго парня. Это превращение всегда вызывает восторг у окружающих, и хочется протереть глаза и еще раз спросить себя: тот ли это парень, неужели он мог так измениться? Так и я смотрел сейчас на Бориса Лагутина.

— Ведь ты не отличался силой, Боря,— повторил я.— Как же ты стал знаменитым боксером?

— Был такой чемпион страны, Громов,— сказал он,— может, слышали. Жестко бил. Люди через канат вылетали. Я тогда был просто разрядник — юнец. Зачесались у меня руки. Вскоре вышел я на ринг против него. Первый бросился в бой. Громов, видимо, не ожидал такой дерзости. Я победил. Потом еще много всяких боев было. Двести шестьдесят боев позади.

Борис готовился в эти дни к третьей своей Олимпиаде. Вскоре после Токио он было расстался с боксом. Поступил на биофак МГУ, пытался думать только о биологии. Но все-таки он заходил в университетский спортивный зал. Летом шестьдесят седьмого года Лагутин вновь появился на чемпионате страны, а в следующий, олимпийский, год вернул себе звание чемпиона. Но еще было много всяческих злоключений, прежде чем ветерана Лагутина решили послать в Мехико.

В эти счастливые дни я и разговорился с Борисом. И так, бронза в Риме, золото в Токио и — неизвестность в Мехико.

Мне было в Мексике нелегко: операторы не знали ни одного слова по-испански. Приходилось работать над сценарием и в то же время быть переводчиком, шофером, организатором съемок и т. д.

Поэтому, приехав в Мехико, я сначала никак не мог встретиться с Борисом Лагутиным, хотя жили-то мы неподалеку: я в пресс-центре, он в олимпийской деревне.

Наконец, я увидел Бориса на экране телевизора. Телевизор стоял в холле гостиницы; пробегаю мимо, я увидел знакомого фигуру на экране и остановился. Лагутин вел напряженный бой с испанским боксером Фахардо. Кажется, испанец побеждает. Он наступает на Бориса, прижимает его к канату. Вдруг неожиданно Борис наносит испанцу удар, и тот опускается на колени...

Когда через несколько дней я зашел к Борису, он лежал на кровати. Отдыхал. Напротив сидел Валерий Попенченко.

Борис улыбнулся мне. Не встречал я ни у одного боксера такой мягкой, застенчивой улыбки. И говорит Борис тихо, будто боится потревожить собеседника.

— Трудно, конечно, здесь работать. Воздуха не хватает. Но ничего, пока все в порядке,— сказал он.

Лицо у Бориса было усталое — битое. Небольшие синяки на скулах, припухшие от ударов губы.

— Дрался сегодня с арабом Сандом эль Нахасом,— по-прежнему застенчиво улыбаясь, сказал Борис.— Лучше бы он не попадал со мной в пару. Перед этим мы с ним подружились. Ведь его тренировал Щербаков. Когда-то он был моим тренером. Сами понимаете, неудобно! Араб простился со мной холодно.

— Щербакова спросили журналисты, за кого он болеет,— сказал Попенченко.— Он ответил: болеет за Лагутина, помогал эль Нахасу.

— Везет мне на приключения,— сказал Борис.— На днях кончил бой, все честь по чести, победа. Подходит ко мне судья и говорит: «Будем проверять вас на допинг». Я-то точно знаю, что никаких допингов не принимал, а сам боюсь — вдруг какую-нибудь гадость найдут в организме и признают победу недействительной.

— Ты же биолог,— сказал Попенченко,— как это могли что-нибудь найти, если ничего не принимал.

— Бывает. Может, какая-нибудь еда реакцию даст,— ответил Борис.— Организм — сложная штука. Но ничего не нашли, слава богу.

Борис помолчал, потом повторил:

— Организм — сложная штука. Мы опыты с собаками на биофаке делаем. В череп вставляем электроды. Они раздражают центры удовольствия. Я нажимаю замыкающий контакт, собака смотрит, запоминает и сама лапой начинает жать на этот контакт. Поставишь миску с едой. Она от нее отворачивается, ищет контакт удовольствия, чтобы замкнуть... Хитрая штука — живой организм.

— Со мной занимаются молодые ребята,— снова заговорил Борис.— Головы у них светлые. Я у них многому учусь. А они меня просят: потренируй, открой секрет, чтобы чемпионом стать. А я говорю: не обязательно быть чемпионом. Уметь драться и постоять за себя нужно. Спорт должен быть в жизни дополнением, а не главным. Спорт радость должен приносить...

— Что-то ты разговорился,— сказал Попенченко, поднимаясь.— Завтра бой ответственный. Нужно выиграть у Гарбея. А черные ребята стойкие. Ты должен замкнуть завтра свой контакт раздражения,— Валерий похлопал Бориса по плечу.— А сейчас спать, спать, спать...

Когда под сводами «Арены-Мехико» прозвучало: «Лагутин, СССР — Гарбей, Куба», — я пробрался вместе с оператором Дмитрием Гасюком к самому рингу. И к неудовольствию журналистов, сидящих рядом, Гасюк широко расставил треногу и укрепил на ней аппарат.

Первым появился молодой, крепко сложенный негр Гарбей. Он вышел резко, порывисто и уже в самом его выходе была видна неумная сила.

На ринг вышел Борис. Движения его кажутся вялыми. Он не бросает огненные взгляды по сторонам. Он посмотрел на Гарбея внимательно и чуточку устало, сбросил халат.

«Ну как же он побьет Гарбея?» — подумал я.

Я никак не могу отделаться от смущения, что у Лагутина нет силы. У Гарбея силу видно: крупные бицепсы, бычья шея, при каждом шаге на ногах «играют» мышцы. У Лагутина не видно таких мышц.

Прозвучал гонг. Здесь не тот гонг, к которому привыкло ухо. Это электрический сигнал — нервный, короткий, будоражащий кровь. Он тут же затихает, по залу разливается тишина.

Первый удар наносит Гарбей. Он идет в атаку, не идет, а просто прет. А Борис прикрывается и как бы танцует перед ним. И шквал ударов кубинца не достигает цели. Но зрители подогревают энтузиазм

Гарбея. Болельщики кричат по-испански, и Гарбей понимает их.

А Лагутин, кажется, уже нащупал слабое место Гарбея. Он делает обманное движение и бьет с правой. Удар достигает цели. Гарбею самое время подумать и оценить положение, а он идет напролом. Может, он рассчитывает запутать Лагутина, шквалом атак сломить его волю?

Публика ревет от восторга. Ну как же! Гарбей бьет Лагутина, во всяком случае, так кажется со стороны. Борис отходит к канату. Он-то знает, почему отходит, но зрители думают, что он отступает. Гроссмейстер отступает... Крик болельщиков Гарбея потрясает своды зала.

В этот момент мне стало страшно. Мне показалось, что у Бориса не хватит силы остановить этот могучий, силовой натиск. У оператора тоже было печальное настроение. Он тихо сидел и смотрел на ринг, камера его молчала.

И вдруг... Очевидно, у мастеров высшего класса всегда есть это вдруг, неожиданное для публики. Борис нанес Гарбею такой удар справа, что Гарбей, этот могучий боксер, опустился перед Лагутиным на колени. Гроссмейстер остается гроссмейстером.

Судья вскидывает пальцы вверх. Двадцать тысяч людей опять затаили дыхание. Только голос судьи разносится по залу.

Борис глубоко дышит. Ох, как нужна ему эта минута отдыха.

Гарбей поднимается и продолжает бой. У этого черного кубинца силы на двоих. Но нет у него уже той бойкости.

Борис атакует. Один удар, второй достигает цели. Удары идут точно. Разумность есть в этих ударах. Гонг спасает Гарбея.

Как тяжело дышит Борис! Что-то шепчет ему тренер, обмахивая полотенцем.

Сколько было у Бориса таких минут? Позади остались 260 боев. Из них проигранных только шесть.

Гонг. И опять Гарбей был, как взбешенная пантера. Он напирал на Бориса. Казалось, у него не было нокдауна. Как будто он только что вышел на ринг и как будто дерется он не в Мехико на высоте 2 400 метров над уровнем моря...

Борис уходит от ударов Гарбея, и я вспоминаю его слова:

— Когда я начинал боксировать, я лез напролом. Морда в крови, а лезу. Не жалея кулаков, бил, и, конечно, меня били. Вскоре я понял, что если меня будут так бить, то я не смогу долго продержаться на ринге. Тогда я решил перенести центр тяжести на ноги. «Боксировать ногами», — если можно так выразиться. Главное, поменьше получать ударов. И вот видишь, до сих пор, а мне уже тридцать, могу продолжать бой.

Да, Борису тридцать, а Гарбею двадцать. Десять лет разницы. Поединок необузданной «юности» с «мудростью». Гарбей по-прежнему наступает, Лагутин обороняется. Но публика уже не так восторженно принимает атаки Гарбея. Публика напряженно следит за Лагутиным, боясь пропустить молниеносный удар гроссмейстера.

Вот он, этот удар. Гарбей напоролся на кулак Лагутина и качнулся, но устоял.

Нервы мои не выдержали, и я заорал:

— Бей его, Боря!

Журналисты вскакивают со своих мест, мешая Гасюку снимать этот решающий момент боя. И тут я вступаю в бой: хватаю людей за плечи и сажаю их.

Борис наносит еще удар Гарбею. Кубинец здоров. В нем неиссякаемый запас энергии. Он опять ринулся на Бориса. Борис уходит в защиту. Он рассчитывает свои силы.

Я вспомнил любимые слова Бориса: «жестко бил». Если он рассказывал о каком-то противнике и говорил «жестко бил» — это высшая похвала противнику. Так он говорил о французе, с которым дрался в Токио. Впоследствии француз пригласил Лагутина в Марсель. В день приезда Бориса по городу мчались машины с огромными репродукторами: Лагутин, Лагутин, Лагутин! На первых страницах газет было крупно набрано его имя.

— Вечером мы вышли с французом на ринг, — рассказывал мне Борис. — Обнялись. Друзья. А потом начали драться. С первых ударов я понял, что он слабее меня, а желание выиграть огромное. Я старался сделать бой поинтереснее, напряженнее. В конце концов я победил. Но французы были довольны своим соотечественником. Вечером меня привезли в ресторан. Все кричат: «Вив Лагутина!» Ну, выпил там. На следующий день тоже обед, выпивка. Хорошо было. Отдохнул. Прилетели в Париж. Переводчик Иван Иванович говорит: «Предлагают тут выступить». Я отказался. Скандал: шумели все. Но разве я имел право драться, если уже вышел из спортивного режима? Надо уметь рассчитывать свои силы.

...Я увидел, как Борис качнулся. Удар Гарбея был слабый. Но Борис качнулся. Ведь может же наступить такой момент, особенно здесь на высоте, когда почувствуешь усталость и тебе все равно...

Гонг остановил бой. Борис устало дошел до своего места и сел. Я видел, как вздымалась его грудь. Он закрывал глаза. Он, наверное, хотел забыться хоть на мгновение от ударов негра, от разъяренной публики, от высоты, на которой не хватает кислорода. Но впереди еще раунд. Последний, решительный. И хоть в первом раунде Гарбей пропустил сильный удар, во втором раунде он был активнее и, возможно, получил больше очков, чем Борис. Тренер что-то советует Борису. А публика ревет. Она ждет решающей минуты. Кто же выстоит в этом поединке?

И опять гонг. И опять кубинец бросается в атаку. Но атака тут же отбита. Борис уже сам наступает. Он проводит один удар, второй.

Борис решил выиграть бой. Я это ощущаю очень ясно. И уже ничто не остановит Бориса.

Борис продолжает наступать. Гарбей пытается уйти от ударов, но это ему не удастся. У него уже нет прежней резвости.

Но и удары Бориса слабеют. Наступает такой момент, когда мне показалось, что оба боксера отдали все, что могли. И они сейчас лягут на ринге друг около друга. И катитесь вы, зрители, подальше. Не хотим мы больше драться...

Но Борис будет драться до конца, я знаю. Гарбей устало отступает в угол. Он уже не сопротивляется, он закрыл лицо руками, у него нет сил. А Борис, словно заведенная машина, бьет его, бьет. И я верю, что, если не будет гонга еще полчас, наш пресненский парень не упадет от бессилия, он будет бить.

И тут прозвучал гонг, и только тогда Борис прекратил удары. Борис похлопал Гарбея по плечу и пошел в свой угол.

Стоит на пьедестале почета прославленный боксер Борис Лагутин — Борька из второго подъезда дома 7/9 по Волкову переулку, который — и я могу это засвидетельствовать точно — не отличался силой среди ребят из нашего двора.



Андрей Кучаев,

участник V Всесоюзного совещания молодых писателей



БОРЬКА ГУНЯЕВ И ДРУГИЕ

(Из дневника сына
своих родителей)

1. ДЕТСКИЙ УГОЛОК

27 мая. Позавчера в нашем парке открыли детский уголок. Там есть один аттракцион. Говорят, очень смешной. Думаю посетить его в ближайшее время, хотя вряд ли он смешнее колеса смеха. Смешнее колеса смеха, по-моему, еще ничего не придумали. Вовка снова показал себя, как последний негодяй. Вчера он... Звонок в дверь. Это Вовка. Запись прекращаю. Не понимаю, зачем я с ним дружу?..

29 мая. Вчера ездили с ребятами купаться. У Лильки Куличевой фигура — лучше не надо. Выглядит, несмотря на свои тринадцать лет, как кинозвезда. Кстати, она уже снялась в двух картинах. Около нее, конечно же, Олег Шкалов. Так и вертится. Чего она в нем нашла? Утром вызывали к доске. Урока я не знал. Учитель сказал: «К чему вы себя готовите, Гуняев?» Отвечать ему я не стал. Эта дылда Петрищева, как всегда, пилилась на меня на уроке и на перемене. Чего она вяжется? Надо ей дать как-нибудь хорошего леща. Вовка определенно скотина. Зачем я с ним дружу? Сказал, что я в детстве болел рахитом. При Лильке. Сам он рахит в таком случае! От родителей получил за двойку втык. Мать развела сырость, а отец сказал: «Ну что ж, Борька, расти балбесом, раз тебе хочется». Где у него логика? Слышал новое слово: дебил. Не знаю, что оно значит, но думаю, что Вовка как раз дебил. Звонок в дверь. Это он. Запись прекращаю...

30 мая. А сегодня мне приснился сон. Будто пошел я в детский уголок и увидел наконец новый аттракцион. Называется он «Двадцать минут в шкуре взрослого». Значит, было так. Входишь, бросаешь в автомат пятиалтынный и попадаешь в кабинку. Темно. Горят четыре кнопки: 20, 40, 60, 80. Это возраст, куда хочешь попасть. Если хочешь, можешь побывать во всех четырех возрастах, нужно только уложиться в двадцать минут. Нажал первую кнопку с цифрой 20. Комната. Стоит стол. За столом какой-то тип, очень смахивает на нашего учителя. «На что вы надеетесь, Гуняев?» — спрашивает. Я молчу. Кругом стоят чертежные доски. Из-за одной Вовка выглядывает, ухмыляется. Так и есть — дебил. Звонок. Все повскакали из-за досок и к выходу. Я иду с Вовкой. Чего я с ним все дружу? Пошли в кино. На экране Лилька, только в титрах она уже не Куличева, а Шкалова — значит, Олег продолжает вертеться около нее. Раньше она выглядела лучше. И в кино и в жизни. Я ушел с картины, а Вовка остался. Под часами стоит Петрищева. Меня дожидается. И чего она ко мне вяжется? Пошел от скуки к ней... Пришел домой поздно. Мать сырость развела. Отец на кухне с газетой. Посмотрел на

меня и говорит: «Ну что ж, расти балбесом, раз тебе хочется». Логика — ничего не скажешь. Я и не сказал. Скучно. Остановил аттракцион и нажал другую кнопку с цифрой 40. Доски стоят чертежные. Кто-то мне говорит: «Тебя шеф зовет». Иду. Открываю дверь, за столом Вовка сидит. Чисто дебил. «О чем вы думаете, Гуняев?» — спрашивает. Ну уж ему-то я и недавно отвечать не стал. А тут звонок. Я вышел. Вовка за мной. Позвал к себе. Чего я еще с ним дружу? От скуки пошел. У него Лилька сидит. Сказала, что Олег «сошел с круга». Не знаю, что это значит. Сошел так сошел. Домой пришел поздно. Матери нет. За столом на кухне сидит отец в черных очках. Петрищева ему газету читает. Увидела меня — сырость развела, а отец говорит: «Если ты решил расти балбесом, то тебе виднее». Действительно, мне виднее. Хотя какая-то логика у него появилась. Я пошел спать. Скучно. Остановил аттракцион. Время еще есть. Нажал кнопку 60. Стол. На нем фибровый лист прибит. На листе — домино. Напротив меня



Рисунки Г. Саевича.

сидит Вовка. «О чем ты думаешь, Борька?» — спрашивает. Положительно дебил. Чего я с ним до сих пор возжаюсь? Плюнул, пошел домой. На стене висит фотография: я и Петрищева. И тут она от меня не отстает. Родителей нет — подевались куда-то. Включил радио. По радио Лилькин голос. Ломаться перестала. Честно работает на свои тринадцать лет. Однако сколько можно! Вошел парень. Очень похож на меня. Со мной не поздоровался. Я посмотрел на него без радости. Подумал, подумал и сказал: «Ну что ж, расти балбесом, раз тебе хочется». Парень не ответил... Времени у меня совсем мало осталось: лампочка в кабинке загорелась. Я скорее нажал последнюю кнопку: 80. Темно. Заело. Потом голос: «Ваше время истекло, аттракцион закончен!» Вышел из кабинки. Из других вышли Вовка, Лилька, Олег и Петрищева. Поделились впечатлениями. Всем понравилось, кроме меня. Вовка сказал: «Ну и балбес ты, Гуняев». И зачем я с ним только связался? Звонок в дверь. Это он. Запись прекращаю...

2. ТАБАК ДЕЛО

Сегодня у нас в доме будет скандал. Лежу на животе и дожидаюсь скандала. Табак мое дело.

Все началось с того, что отец обнаружил в кармане моего плаща пачку сигарет «Сьерра». Вовка дал для форса поносить. Потеряв бдительность, я не успел спрятать их в надежное место. Сейчас мои на работе. И отец и мать, — работают они вместе. На телевидении. Редактора какие-то или что-то в этом роде. По их словам, «зарабатывают они неплохо — я одет, обут, и у меня хватает денег на развлечения». Верно. Сейчас я одет, но не обут: валяюсь на полу перед телевизором и смотрю какую-то муру. Может быть, к этой муре мои родители имеют даже какое-то отношение. Бог с ними. Я без телевизора все равно не могу. Мне все равно, что показывают. Смотрю все подряд. Очень успокаивает нервы. И сейчас лежу, смотрю и жду расправы.

Нет! Бить они меня не будут. Непедагогично. Будут пилить. Вот как все будет. Придет отец, молча повесит плащ, потрет ру-

ки и встанет в дверях. Поглядит на меня некоторое время, повернется и крикнет в сторону кухни, где моя мать будет разгужать авоську: «Ирина Петровна, извольте посмотреть, как ваш сын проводит свои вечерние досуги!» Войдет Ирина Петровна, сдирая с головы шапку, похожую на волосы, и скажет: «Это и твой сын, между прочим».

— Да, но телевизор позволяешь смотреть до одури ему ты!

— Не понимаю, при чем тут телевизор! — скажет мать, глядя мимо меня на экран.

— Да при том, что он распустился до последней степени! Все это звенья одной цепи: телевизор, двойки, грубость, «молнии» на клешах и сигареты, наконец!

— Какие сигареты?

— Он же курит! Ты знаешь, что твой сын курит?!

— Наш сын курит, — скажет мать.

А отец курить бросил. Из воспитательных соображений. Так он говорит. А по-моему, не из воспитательных, а потому, что курить вредно. Отец очень хлопотел о своем здоровье. Делает гимнастику. Пьет боржом. Ест витамины. Стоит ему посмотреть на еду, как он тут же изрекает: «Этот продукт, кстати сказать, очень богат витамином П». Я и не знал, что такие есть. Скоро все буквы в алфавите, к радости моего отца, уйдут на витамины. Витамин Э, витамин Ю, витамин Я!

А ведь я со временем, наверное, буду по-настоящему курить, и тогда уже не отвыкнешь. А потом стану заядлым курильщиком. Буду отравлять свой организм ежеминутно. Заработаю, может быть, рак легких. Или отравлюсь никотином. Умру на несколько лет раньше. «Мог бы жить и жить, — скажут про меня. — А вот он курил и умер прежде времени...» Скверная привычка. От рук воняет. Деньги идут зря. А можно их на что-нибудь полезное истратить. За десять лет можно накопить на мотоцикл «Ява». Роскошная вещь. А я курю! Во! Мотоцикл превращаю в дым. Жизнь свою молодую гублю. Других отравляю. Почему? Потому что я испорченный ребенок — вот почему. Школа меня просмотрела, родители избаловали. Хороших товарищей рядом не оказалось. Улица сделала свое дело... Да... Мне не позавидуешь. Ого! Идут.

Сейчас начнется кино. Внимание: отец!

— Ирина Петровна, извольте посмотреть, как ваш взрослый сын проводит свои вечерние досуги!

Мать:

— Это и твой сын, между прочим...

— Да, но телевизор до одури...

Ду-ду-ду-ду... Ух! Жалко их. Устали. Попробую им помочь. Пойду навстречу.

— Слушайте! Отец! Ирина Петровна!

Оцепенели. Стоят, разинув рты.

— Слушайте, я знаю все дальше: «Я распустился до последней степени, все это звенья одной цепи: телевизор, двойки, грубости, «молнии» на клешах и, наконец, сигареты. Твой сын, папа, курит. Ваш сын курит».

Сникли. Переглянулись.

— Я больше не буду, извините, простите, я исправлюсь, честное слово... Все? Все довольны? Вопросов больше нет?

Молчат. Гуськом вышли из комнаты и пошли на кухню. Иду подслушивать, зная, что это скверно.

— Ты слышал, как он заговорил с нами?

— Слышал.

— Что же делать? Что ты скажешь?

— Ничего. Дай сигарету. Они на шкафу, в коробке из-под кофе... Спасибо.

— Я тоже закурю. Разволновалась.

Тишина. Сидят и дымят. Оба. Чего-то мне их жалко стало. Они ребята ничего. Брошу курить. Я ведь еще, собственно, и не начал. Могу начать курить, а могу и нет.

3. ТАБУ

Сегодня мы с ребятами из нашего класса были в кафе-мороженом. В городе жара, и так хорошо поест холодного разноцветного мороженого. Ничего такого тут, по-моему, нет, — все любят мороженое, хотя не все в этом признаются. Подошла официантка, и, когда мы себе заказали кто чего хотел, Персиянинов вдруг сказал: «А мне еще сто граммов «Айгешата». Мы все уставились на него: чего-то он? А он добавил, глядя на нас: «Для поднятия тонуса». Мы переглянулись. Вино

мы никогда еще в общественных местах не пили, да и дома на праздники дают всегда наперсток с большими разговорами. А тут на тебе: сто граммов «Айгешата»! Но делать нечего, и мы тоже сказали: «И нам по сто граммов «Айгешата». «Значит, бутылку на всех», — сказала официантка и ушла. Мы сидели и молчали. Каждый думал про себя: «И на кой черт он себе заказал этот самый «Айгешат»?» Персиянинов сидел задумчивый и важный.

— «Айгешат» ничего себе портвейн, — сказал он. — Натуральный.

Мы закивали. Развалились в стульях и стали ждать... Скоро официантка принесла мороженое и вино. Скажу честно: мороженое вкуснее.

Когда я шел домой, в голове у меня потихоньку рассеивался теплый туман, и, наконец, когда он совсем рассеялся, я решил: «Не дело. Не надо было брать. Во-первых, невкусно, а во-вторых, станешь еще алкоголиком. Станешь валяться по канавам и умрешь, как наш дядя Вася. Моя мать говорила моему отцу, что наш дядя Вася умер именно при таких обстоятельствах, а моя мать все знает».

Пришел домой, сели ужинать. Мать посмотрела на меня, потом на отца, потом опять на меня.

— Послушай-ка, — сказала она отцу. — По-моему, от него пахнет.

— А ну, Борис, дыхни! — сказал отец.

Я дыхнул.

— Пил, — сказал отец. — Портвейн. Подумал и добавил: — «Айгешат».

— Ну вот тебе и результаты! — сказала мать. — Любуйся! — И она вышла из комнаты.

Отец хмуро уставился на меня. Я на него.

— Ты зачем пил? — спросил отец.

— Кто его знает, — ответил я. — Персиянинов заказал себе сто граммов «Айгешата», ну и мы за ним. В общем-то без всякой цели выпил.

— А ты знаешь, что это плохо — пить вино?

— Знаю, — ответил я.

— А почему плохо, знаешь?

— Знаю.

— Почему?

— Потому что можно стать алкоголиком и умереть под забором, как наш дядя Вася, — сказал я, считая, что разговор на этом закончится.

— Чепуха! — сказал отец. — Вовсе не потому. Я же не думаю, что ты пристрастишься к вину настолько, чтобы стать алкоголиком.

— Я тоже так не думаю, — согласился я. — Граммов сто, не больше.

— Ну, можно и больше, — оживился отец. — Это, знаешь, зависит от конституции организма, нервов и прочего. И потом, смотря что пить.

— Водку я не пробовал, — сказал я. — Наверное, там сто граммов уже много.

— Ну это как сказать! — Отец молодецки улыбнулся. — Я могу под хорошую закуску и шестьсот уговорить. И хоть бы что. В метро даже пустят.

Я промолчал.

— А портвейна хорошего, так его можно сколько хочешь выпить, были бы деньги, — продолжал с азартом отец. — Про сухое вино я не говорю. Сухого вина я могу бочку выхлестать. Пока не лопну — и хоть бы что. Сухое вино — это чистый витамин. Виноград.

— Все равно алкоголь счи-

тается, — вспомнил я статью из «Науки и жизни».

— Они там напишут! Сами, небось, знаешь, как поддают, а нам нельзя. Яд!

— Выходит, можно? — спросил я, не понимая, куда клонит отец.

— Кто тебе сказал?

— Ты. Только что.

— Ты меня неправильно понял.

— Так ведь витамины!

— С одной стороны, так, но с другой стороны — ох как тяжело! Особенно утром. Голова трещит. Во рту эскадрон ночевал. В пищеводе сухость, будто тебе кол осиновый вколотили. Колени дрожат. Пот прошибает. Круги перед глазами... Весь свет не мил... Да... — Отец вздохнул. — И вот тут-то твоего «Айгешата» граммов сто в самый раз! — вдохновенно закончил он вдруг.

— Так я себя хорошо чувствовал, — начал я.

— При чем тут ты?

— Ты же мне объясняешь, что пить вино нельзя.

— Да. И это верно, брат. Когда человек пьет, столько с ним всякой чепухи приключается... Жена пилит, на работе косятся. В милицию можно угодить, — потом неприятностей не оберешься. Да и здоровье...

— Подорвешь, — подхватил я, — и помрешь под забором, как наш дядя Вася.

— Да что ты прицепился со своим дядей Васей! Нельзя пить, и точка!

— Почему?

— Потому что молод ты еще рассуждать. Еще раз унохую — пеняй на себя!

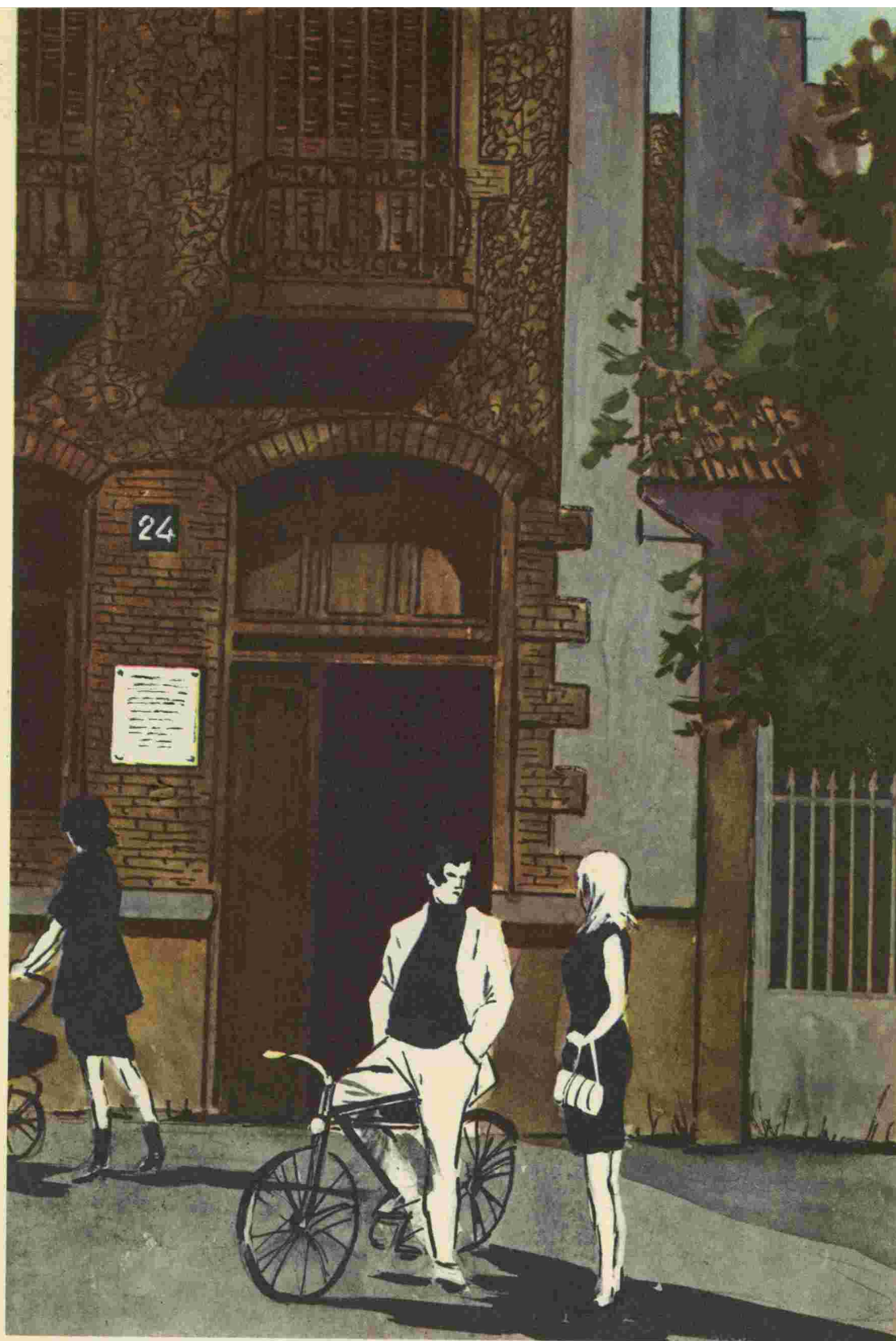
— Понятно, — сказал я.

— Между прочим, чтобы не пахло, сен-сен надо пожевать. Или мускатный орех. Тогда отшибает запах к черту, — ни с того, ни с сего заключил отец. — Чай, на худой конец, или кофе можно пожевать. Также помогает.

— Понятно, — согласился я.

— То-то и оно. И чему вас только в школе учат, если ты такие идиотские вопросы задаешь: «Почему, почему?» Мать сейчас придет, ты скажи, что я за газетой, на минутку... Разволновал ты меня, честное слово. Вот и воспитывай тут. Пусть она сама тебя воспитывает, объясняет, почему пить нельзя, про дядю Васю и все такое. А моих сил больше нет. — Отец шмякнул на голову кепку, и дверь за ним захлопнулась.





Н. ДОЛГОРУКОВ.

По ленинским местам в Париже.
Дом № 24 по улице Бонье, где жил В. И. Ленин
с декабря 1908 г. по июль 1909 г.



Цена 40 коп.

Индекс
71120